



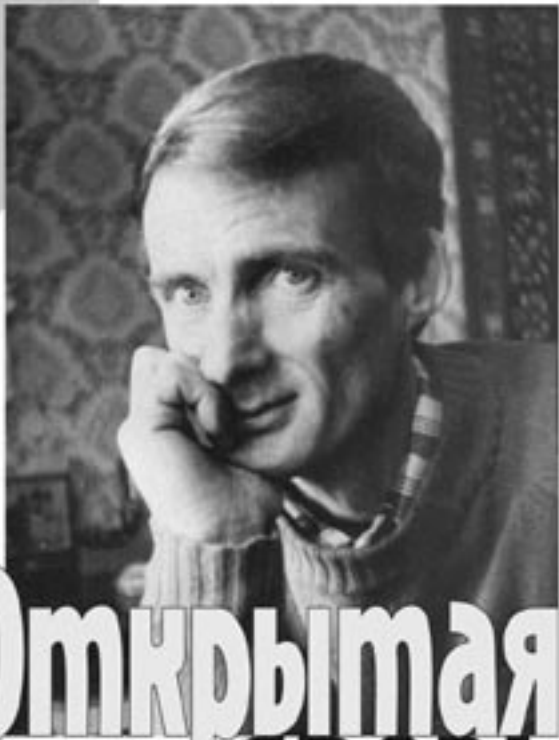
«...Сколько героев я вывел на свет –
столько и жизнью прожил.
И за каждого сердце болит».

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Добрыня', written in a stylized, cursive script.





БОРИС КРАВЧЕНКО



Открытая дверь

VERSO 2007

УДК 821.161.1-3

К 78

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Поддержка проекта
ЗАО «Карелстроймеханизация»**

Кравченко, Борис.

К 78 Открытая дверь / Борис Кравченко. – Петрозаводск: Verso, 2007. – 295 с.: портр.

ISBN 978-5-85039-194-2

Эта книга кондопожского писателя Бориса Кравченко, как и две предыдущие – «Письмо» (1995) и «Жил в Кондопоге писатель» (2005), изданные посмертно, – дань уважения и признания автору, долг не только перед памятью талантливого земляка, но и перед читателями, которые несомненно будут у него в каждом новом поколении.

Сборник «Открытая дверь» подготовлен к печати творческой группой на общественных началах. Издана книга при финансовой поддержке ЗАО «Карелстроймеханизация». В кондопожском подразделении этой строительной организации Борис Кравченко почти полтора десятка лет работал бульдозеристом.

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-85039-194-2

© Б. Е. Кравченко, 2007

© Н. В. Трухин, художник, 2007

ПОДДЕРЖАТЬ ТАЛАНТ

Благотворительный проект поддержки литературы и искусства Карелии, который мы некоторое время назад начали с вручения почетного диплома и премии выдающемуся карельскому композитору Геннадию Вавилову в номинации «За вклад в искусство», продолжает издание книги рассказов Бориса Кравченко «Открытая дверь» в номинации «Забытое имя».

Книги этого талантливого писателя давно не публиковались, хотя его новеллы привлекли внимание не только очень многих читателей в России и за рубежом, но и получили высокую оценку ряда выдающихся писателей нашей страны, таких, как Юрий Нагибин, Владимир Крупин, Сергей Воронин. Не скрою, этот автор нам дорог не только своим талантом — мы помним, что писал он свои рассказы, работая бульдозеристом в кондопожском управлении треста «Строймеханизация», и находил образы своих героев, черпал впечатления в окружении тех, кто трудился рядом с ним.

Издавая его книгу, мы даем возможность его поклонникам перечитать простые, но очень емкие по чувству и жизненному содержанию истории. А также познакомиться с воспоминаниями о нем, с рассказами, не входившими прежде в его книги, узнать мнение мастеров литературы о его творчестве, открыть для себя много нового о личности и особенностях писательского облика талантливого новеллиста, который так рано ушел из жизни.

*Генеральный директор
ЗАО «Карелстроймеханизация»
Н. И. МАКАРОВ*

О БОРИСЕ КРАВЧЕНКО

Борис Кравченко появился в литературе неожиданно, во время, когда создавались большие военные полотна, звучала героическая тема, главенствовала эпическая широта. А тут небольшие рассказы, мирные люди, будничные интонации, простые истории. Но в этой бесхитростности таилась сложность самой жизни, в малом жанре – большие возможности, житейское переходило в житийное и подчас звучало, как притча. В своей обычности они были очень необычны. У будничного появлялись черты магического и придавали слову оттенок таинственности.

Из гулкой кабины бульдозера автор видел мир человека во всей его незащищенности, в непоказной сути, в тихой терпеливости. И чтобы писать так, нужно, казалось бы, немного: сочувствие к тем, о ком пишешь. Но, оказывается, именно это и дается труднее всего. У него же эта нота сочувствия шла из глубины, согревала его талант. Хотя, по-моему, он немного стеснялся ее, скрывал за внешней ершистостью, хотел выглядеть более непреклонно.

Он пришел в литературу не так, как в советские двадцатые годы шли по призыву от сохи и станка, а по внутреннему зову: чтобы о тех, кто жил в нем, рассказать всем. И при душевной непосредственности и простоте его рассказы, как одежда, шиты на вырост – каждый по мере духовного взросления будет открывать для себя в них больше, чем сейчас.

Правда, такая литература и теперь не на виду. Побеждают на престижных конкурсах вещи, где эпохи тасуются, как игральные карты, сознание оборачивается подсознанием, фантазия сменяется реальностью, далекой от действительности. Кажется, что подчас и сами авторы блуждают в них, как в лабиринте.

Но это и хорошо, когда спорят меж собой книги. А еще лучше, если начнут спорить читатели, приняв близко к сердцу судьбы героев. Пусть бы чаще книги становились не только принадлежностью книжной полки, а жизненными событиями.

Мария ТАРАСОВ



Время

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

ЗАКОН СТРОЙКИ

Отцу и матери посвящаяю

Бульдозер стоял рядом с бытовкой. Димка подошел к нему, сунул руки в карманы. Хорошего настроения, с которым он шел на свою первую самостоятельную работу после окончания ГПТУ, как не бывало. Там, в гараже, Димка думал, что механик даст ему если не новый, то хоть мало-мальски сносный бульдозер, а тут развалюха какая-то. Не вытаскивая рук из карманов, он медленно обошел его, вздохнул, залез в кабину, огляделся. В кабине было грязно. Полик в разводах масла, сиденья обшарпаны, в углу, над помятым ведром, на торчавшем болту висела веревка. На одном конце ее был узел, а на другом коротенькая палочка.

«Ручной стартер», – подумал Димка, вспомнив, что именно так называли старые механизаторы эту штуковину, с помощью которой ему надо будет заводить пускач. Под сиденьем, кроме согнутой в дугу монтировки да ржавого ключа, ничего не было.

«Может, не заведется? – с надеждой подумал он, с ведром в руке вылезая из кабины и подходя к стоявшей неподалеку железной бочке, доверху наполненной водой. В бочку был опущен конец шланга, протянутого от бытовки. Из него в бочку цедился пар. – Тогда можно будет вернуться в гараж, и механик даст другой».

Димка потрогал воду – она была горячее. Набрав воды, он открыл капот, закрыл краник в радиаторе, в блоке и стал заливать воду. Горловина в радиаторе была маленькой, дул ветер, смахивая струю на сторону, и ему вместо положенных пяти ведер пришлось залить семь.

Бензин в бачке был, уровень масла в поддоне на отметке. Димка выключил декомпрессор, включил бендикс, намотал веревку на маховик пускача, рванул. Пускач разразился безудержным тарахтением. Дождавшись, когда вентилятор хорошо раскрутится, Димка включил декомпрессор. Двигатель, выплюнув из нутра густую черную порцию дыма, довольно зарокотал, подрагивая от нетерпения.

Странное дело, но вместе с утробным рокотом двигателя к Димке пришло хорошее настроение. Он уже веселее смотрел на лежавшую перед ним огромную стройку.

В кабине потеплело. Запахло соляркой. Из бытовки высыпали рабочие. Один из них, пожилой, в брезентовой робе, подошел, посмотрел на Димку, на бульдозер, снова на Димку, недоуменно спросил:

– Ты машинист, что ли?

– Я! – Димка с вызовом посмотрел на него. – А что?

– Да так, ничего, – пожилой пожал плечами. – Работать-то на нем умеешь?

– Учили.

– Учили, говоришь, – рабочий усмехнулся. – Ну-ну, посмотрим, чему там тебя научили. Ладно, поехали.

Димка выжал сцепление, включил скорость, медленно отпустил сцепление. Бульдозер, приминая грязь, охотно двинулся с места. Димка поерзал на сиденье и, не в силах сдержаться, улыбнулся.

– Значит, так, – уронил пожилой рабочий, потирая подбородок. – Сначала перетащить компрессор, затем... В общем, без работы не останешься. Давай двигай.

Стройка оживала. Где-то в глубине ее, словно примериваясь, ударила сваебойка. Ударила, помолчала, словно прикидывая, ладно ли получилось, и зачастила с придыханием. Где-то сурово и надежно зарокотал сильный двигатель, частой скороговоркой ему вторил отбойный молоток, и кто-то, заглушая шум машин, заорал во все горло: «Поше-ел!»

– Да ты, паря, не волнуйся, не спеши, – посоветовал Димке один из рабочих, когда он несколько раз пытался и не смог подать задним ходом компрессор в небольшой проем. – Спешка, она только при ловле блох нужна. Ты понемногу, понемногу... Во-о!.. Теперь чуть влево. Та-ак. Теперь прямо. Хорошо! – рабочий подмигнул, отцепил компрессор, махнул рукой. – Научишься. Первый блин, он всегда комом. Вот, к примеру, моя старуха за всю жизнь столько блинов переpekла – пропасть, а все равно первый блин всегда комом. Я ей и говорю: начинай сразу со второго – так не может! – рабочий рассмеялся, сдвинув на затылок кепку. Невольно рассмеялся и Димка. Облегченно.

Он перетащил сварочный аппарат, потом стал засыпать траншею. Стемнело. Зажгли прожекторы. Они вытаращили удивленные глаза на стройку, словно силясь понять, что здесь происходит. Голубые огни сварок стали еще голубей. Они перемигивались, словно сообщая друг другу о чем-то недосказанном, им лишь понятном.

Димка вдруг почувствовал, что устал. Особенно плечи и запястья рук. Радостное чувство сменилось раздражением. Ему хотелось хоть минутку отдохнуть, но стройка как набрала нужный ритм, так уже не сбавляла. Бульдозер рокотал успокоенно.

– Устал? – опросил пожилой рабочий.

– Устал, – честно признался Димка.

– Я тоже устал как черт. Ну ничего, скоро обед. Отдохнем. А пока съезди к сваебойке, подтащи пару свай.

– Ладно.

На обед в бытовку Димка шел самым последним. Стройка стихала. И лишь где-то в глубине ее, словно толчки сердца, раздавались глухие размеренные удары.

В бытовке было тепло. По-домашнему уютно потрескивали дрова в разожженной буржуйке. Рабочие сидели за столом, обедали и как ни в чем не бывало говорили о разной разности, смеясь и подшучивая друг над другом.

«Двужилые они, что ли?» – подумал Димка, с удивлением глядя на тех, кто еще совсем недавно на краю траншеи, вытирая со лба желтые при свете прожекторов капли пота, в мать и перемать ругал какую-то трубу, которая куда-то не лезла.

– А ты чего? «Тормозок» с собой не взял? – спросил кто-то, когда он плюхнулся на скамейку.

Димка дернул плечами. Ему сейчас не только есть, шевелиться не хотелось. К тому же от тепла клонило в сон.

– А ну садись, – тоном рассерженного отца сказал пожилой рабочий, наполняя кружку кефиром и пододвигая бутерброд. – Ешь.

– Не хочу, – Димка вяло отмахнулся.

– Он талию соблюсти хочет, – хохотнул кто-то.

– Давай, давай, не стесняйся, – рабочие отвернулись и заговорили о чем-то своем.

Обед кончился быстро. Когда Димка вышел из бытовки, небо

было усыпано звездами и пахло легким морозцем. Он забрался в кабину и только было хотел развалиться, как подошел рабочий:

– Зарой траншею. Только осторожней зарывай, под углом, там у нас труба положена, можешь свернуть. Сделаешь – езжай в котлован...

– Да вы что? Из моего бульдозера вертолет хотите сделать?! – закричал Димка. – Вы что, только и ждали, когда я работать приду?!

– Ждали, – спокойно ответил рабочий и ушел.

Конец работы пришел как избавление. Димка погнал бульдозер к бочке. Ехать через всю стройку было далеко, и он поехал в объезд по разбитой за день десятками машин дороге. До бочки оставалось рукой подать, когда бульдозер, словно упершись во что-то непреодолимое, остановился, двигатель стал глохнуть. Димка, холодея, выключил скорость, спрыгнул в жадно чавкнувшую грязь, посмотрел и замер. Правая гусеница сошла со всех катков внутрь. Самое наихреновое дело, говорили старые механизаторы. Чуть не плача от усталости, злости и еще от чего-то, Димка залез в кабину, попробовал подать назад, но двигатель глох. Развернуться левой гусеницей Димка побоялся – было темно.

Стройка стихала. Ухнув, словно поставив точку рабочему дню, замолчала сваебойка, затих компрессор.

Димка вылез из бульдозера, кое-как нашел в грязи булыжник и чуть не плача принялся садить им по вылезшему из гусеницы пальцу. Но гусеница была натянута по самую завязку, и палец торчал, словно приваренный.

– Ну, что тут у тебя случилось?

– Что-что? – яростно выкрикнул Димка. – Не видишь, что ли? Иди, раз идешь...

– Ну-ну, – буркнул рабочий и ушел.

Булыжник был холодный, от грязи скользил в руке. Вдруг яркий свет залил бульдозер и Димку. Он обернулся. Еще один прожектор повернул свой светящийся глаз. Затихшую стройку распорол густой рев, раздалось тяжелое шлепанье гусениц, торопливые шаги, и не успел Димка толком разобраться что к чему, как невесть откуда взявшиеся люди подцепили его бульдозер за одну сторону поперечной балки опущенным крюком тяжелого крана, приподняли, выволокли ломами гусеницу, и бульдозер встал на место.

– Ну вот и порядок... Давай гони на место и сливай воду.

Слив воду, Димка увидел, что в отдалении, негромко переговариваясь, стоят рабочие.

«Кого это они ждут?» – подумал он.

– Эй! Димка! Долго ты там барахтаться будешь? – послышались приглушенные голоса. – Или, думаешь, сам холостяк, так и остальным торопиться некуда?..

МИРОН

Когда я вышел из избы, хозяин ее Мирон Навалыга глыбой сидел на крыльце – курил. Я присел рядом.

Стояла тишина. Солнце, обещая на завтра хороший день, присело за горизонт. На поле, что лежало неподалеку, памятниками уходящему лету высились стога. Пахло сеном, пылью.

Сидели молча. Говорить нам было не о чем. Знали мы друг друга совсем мало: я – его имя, фамилию и что работает бригадиром, он обо мне – не больше.

– Устроился? – сухо спросил Мирон, нарушая затянувшееся молчание.

– Да, – отозвался я, взглянув на него. На вид ему было лет сорок. Круглая и большая, как футбольный мяч, голова была тщательно выбрита.

– Глянь, – насмешливо уронил Мирон, кивнув в сторону калитки, мимо которой, прижимая к груди маленькую лохматую собачонку, шел высокий ухоженный мужчина. Тело он держал неестественно прямо и шагал так, словно мерил длину дороги.

– Тьфу! – презрительно сказал Мирон. – Мужик называется. Каждый вечер носит. Детей своих на руках так не носил, – он выплюнул окурок. – Да ладно б собака была, а то шмакодявка какая-то, гавкать и то по-настоящему не умеет. А ведь ее кормить надо. А за что, спрашивается? За то, что маленькая да лохматая, что ли?!

– У каждого свои странности, – я пожал плечами.

– Странности, – передразнил он, выпячивая толстые губы. –

Какие, к черту, странности – мода! Вон, – он мотнул подбородком в сторону стоящей напротив избы. – За сиамскую кошку четвертной отдала. Да лучше бы она на эти деньги детишкам своим что-нибудь купила, а то... – Он снова сплюнул: – Она ее каждое утро на улицу выносит, и пока та свои кошачьи надобности справляет, она, ЧЕЛЮ-ВЕК, стоит и терпеливо ждет. Странности! Дурь самая настоящая. Одно дело, когда человек от одиночества животное себе заводит. От тоски и крокодила заведешь, а тут... – он горько усмехнулся.

Замолчали. Мирон сидел, обхватив колени руками, втянув голову в плечи.

– А ты хорошо живешь, – заметил я, помолчав. – Парники, крыжовник, огород.

Он искоса посмотрел на меня, хмыкнул:

– Заметил. И что за народ пошел? Кто хорошо живет, ну обязательно увидят, а кто плохо – стараются не замечать. И все сравнивают, сравнивают. – И зло: – Работать надо. Ра-бо-тать!

Я опешил, растерянно протянул:

– Ты чего?

– А ничего, – все так же резко и раздраженно отозвался он, сунув в рот очередную папиросину. – И не мною сказано, что, не испытав горького, сладкого не попробуешь.

Я достал сигареты, закурил.

– Извини, – неожиданно мягко сказал он немного погодя. – Погорячился я. Устал за день, да и на работе не все клеится. Нервы того, сдали.

– Чего уж там, бывает, – пробормотал я.

– Тебе завтра куда? – спросил он.

– Сначала в гараж, а там... – я развел руками.

– Как платить будут?

– Семьдесят пять от среднего, а здесь – сколько заработаю.

– На тракторе давно?

– Порядком.

– Ко мне в бригаду пойдешь?

– Как начальство...

– С начальством я договарюсь. Ну так как?

– Можно и к тебе.

– Порядок! – он хлопнул своей лапищей по моему колену, улыбнулся.

Замолчали.

По полю стелился туман. Тишина стояла плотная и прохладная. Где-то невдалеке торопливо простучали каблучки, боязливо скрипнула калитка, дверь, и снова все стихло.

– Хорошо у вас, – вздохнул я. – Так хорошо, что слов нет.

– Еще бы не хорошо, – охотно согласился он. – У нас поля. Много их у нас, родинок-то.

– Родинок? – удивился я.

– Я поля родинками зову, – улыбнулся он. – А по приметам ведь как: чем больше родинок у человека, тем он счастливей. Так и совхоз наш.

Я покачал головой, улыбнулся:

– А ты поэт.

– Какой там, к черту, поэт, – отмахнулся он. – Просто я что думаю, то и говорю. Ладно, пошли в избу. Чайку попьем – и на бокую. Завтра рано вставать, – и тяжело поднялся.

Мы пили чай, сидя друг против друга. Изба неслышно наполнялась ночью. Осторожно тикали часы. Невнятно бормотал висящий на стене приемник.

– Слушай, – заговорил я. – Ты...

– Тише, – оборвал Мирон, увеличивая громкость в приемнике.

*Речка быстрая, серебристая
В нашей местности протекает...*

Он слушал, не отводя глаз от окна, не шевелясь, подперев щеку ладонью. Когда певица замолчала, выдохнул:

– Хорошая песня. И голос чисто женский, не то что у некоторых. Чтоб такую песню сочинить, людей любить надо. Ну, так что ты хотел спросить?

– Супруга твоя где?

– К матери уехала. С сынишкой.

– А-а...

– А ты женат? – он вопросительно посмотрел на меня.

– Женат.

– Это хорошо. Ну, – он хлопнул ладонью по столу, – пошли спать.

Окно моей комнаты смотрело на озеро. Светила луна. Свет ее, бледный, синевато-молочный, точно паутиной заткал дали, небо и землю. Где-то рядом шуршало листвою невидимое дерево. Я лег на приятно холодящую тело простыню и незаметно заснул.

Меня разбудило осторожное прикосновение к плечу. Над головой высился Мирон.

– В городе дежурная аптека есть? – отрывисто спросил он.

– Какая аптека? – не понял я спросонья.

– Обыкновенная. Аптеки не знаешь, что ли?!

– Есть.

– Ночью работает?

– Конечно.

– Где находится?

Я назвал улицу.

– А поточней?

Я принялся объяснять. Он слушал внимательно, но неожиданно перебил:

– Все эти улицы и переулки для меня темный лес. Одевайся. Вместе поедem.

– Никуда я не поеду, – огрызнулся я, натягивая одеяло на голову. – Спать охота, а до города, знаешь...

Я не договорил. Он схватил меня за майку, рывком приподнял и звенящим шепотом, глядя прямо в глаза, процедил:

– Человеку плохо.

– Так бы сразу и сказал, – пробормотал я. – А то сразу за грудки.

– По-твоему, в аптеку за водкой ездят? – остывая, сказал он. – Одевайся быстрее, – и вышел.

Мирон ждал меня за калиткой на мотоцикле. Рядом с ним стояла пожилая женщина в наспех накинута халате, в шлепанцах. Она всхлипывала, прижимая ладонь ко рту.

– Ты, Тамара, не волнуйся, – услышал я ласковый голос Мирона. – Успеem. Фельдшерица у тебя?

Женщина кивнула.

– Вот и хорошо. А мы за час обернемся. Дорога пустая. Да и това-

рищ, – он посмотрел на меня, – город как свои пять пальцев знает. Ну, беги, беги... Скажи ему, пускай держится. – И ко мне: – Садись. Ну, дай нам Бог удачи!

Мотоцикл взревел, и мы рванули к городу.

Мне много раз приходилось ездить на этом виде транспорта в качестве пассажира. Но чтоб с такой скоростью... Я обхватил Мирона руками, прижался лицом к его спине и закрыл глаза, моля Бога только об одном – чтоб не грохнуться, и мы не грохнулись.

Дверь аптеки была закрыта, но окна светились. Мирон громко постучал.

– Кто там? – спросил заспанный женский голос.

– Лекарство надо.

– Какое?

– А я откуда знаю! – раздраженно отозвался Мирон. – Здесь не по-русски написано.

– Минуточку.

Дверь открылась. В лицо густо пахнуло запахом лекарств.

– Рецепт? – спросила женщина, с трудом сдерживая зевок и оглядывая нас с ног до головы. – Минуточку, – снова сказала она и зарылась в одном из стеклянных шкафов, щедро уставленных склянками. – Вот, – она протянула коробочку. – С вас три рубля сорок четыре копейки.

Мирон положил на прилавок скомканную пятерку, толкнул меня плечом:

– Пошли.

– А сдачу? – растерянно спросила женщина.

Мирон отмахнулся. Садясь на мотоцикл, буркнул:

– Рупь туда, рупь сюда – ерунда на постном масле. Погнали!

И мы погнали. Я смотрел на дорогу поверх его плеча. Свет фар уверенно вспарывал темноту.

– Как настроение? – громко спросил Мирон полуобернувшись.

– Нормальное! – прокричал я. – Выше среднего!

– Значит, порядок! – и он до предела увеличил газ.

Мы остановились у щитового дома, в котором ярко светились два крайних окна. На шум мотоцикла выскочила та самая женщина и, придерживая рукой полы халата, подбежала к нам.

– Вот возьми, – Мирон протянул ей коробочку и спросил: – Ну, как он там?

– Худо, – женщина прижала лекарство к груди, всхлипнула, – все в атаку идет... Господи! Когда же она, проклятая, для него кончится? – и заторопилась к дому.

Мирон скрипнул зубами.

– А чем он болен? – спросил я, когда мы вернулись в избу.

– Степан-то? – он тяжело сел за стол. – Не знаю. Знаю, что очень болен. На фронте они познакомились. Там и поженились. Она санитаркой была, он – рядовым. Ранило его. Она его с поля боя вынесла и вот все несет, сорок лет почти... С ума сойти можно, – он покачал головой. – Ведь он двигаться не может. За ним убрать надо. Моя бы власть, я ей такой бы памятник поставил...

Меня разбудил Мирон.

– Ну ты и поспать, – проговорил он, улыбаясь. – И где только научился!

Я пробормотал что-то маловразумительное и стал вяло одеваться. Он хохотнул, хлопнул меня по плечу и вышел.

– Садись чай пить, – сказал Мирон, когда я, умывшись, вернулся из сеней в избу.

Чай пили не разговаривая. Неожиданно в тишину впился тонкий, свербящий уши звук. Я вопросительно посмотрел на Мирона.

– Вакуумный насос, – пояснил он. – Дойка началась. Давай шевелись.

Мы вышли из избы.

Солнце только начало продирать глаза. На поле лежал плотный туман, и было до озноба прохладно. Я передернул плечами, чертыхнулся.

– Ничего, скоро жарко будет, – усмехнулся Мирон. – Так, что сам о прохладе попросишь.

Он шагал, плотно ставя обутые в кирзовые сапоги ноги на влажный от росы асфальт, сунув руки в карманы пиджака, чуть горбясь. Впереди и позади нас шли люди. Поравнявшись со щитовым домом, он придержал шаг, потер подбородок и зашагал дальше.

Гараж находился на окраине села, у озера.

– И какой умник догадался здесь гараж построить? – процедил Мирон. – Ведь портим озеро.

– Постройте очистные, – заметил я.

– А на какие шиши? Ты, что ли, деньги дашь?

– Государство.

– Государство! – вспыхнул он. Шедшие впереди нас люди оглянулись. – Надо, чтоб не государство, а этот умник деньги выложил. Глядишь, головой бы стал думать!

В гараже терпко и густо пахло дизельным маслом, соляркой. Вразброд стояли измазанные навозом и землей трактора. Возле них копошились машинисты.

Пока мы шли к конторе, стоящей в дальнем углу гаража, взревел один трактор, затем другой. Кто-то, громко чертыхаясь, пробежал мимо нас, размахивая зажатой в руке бумагой.

Небольшой кабинет механика был полон людей и табачного дыма. Сам механик, в котором я узнал вчерашнего мужчину с собачкой, сидел за столом у окна. Рядом с ним стоял маленький мужичок, комкая в руке кепку.

Мирон переступил порог, громко поздоровался. Ему ответили охотно. Механик приподнял голову, кивнул и, продолжая прерванный разговор, повернулся к мужичку.

– Значит, так, Бурячок, – он постучал кончиками пальцев по столу. – С трактора я тебя снимаю. Прогул – само собой и на товарищеский суд! Понянулись мы с тобой и хватит! Надоело, – и он провел ребром ладони по шее.

– За что он его? – негромко спросил Мирон у одного из мужиков.

– Вчера на работу выпимши пришел, – неохотно ответил тот. – Ладно, если б пьяный был, а то самую малость...

– Не хрен на работу выпимши приходите! – громко и резко проговорил Мирон. – Гнать таких и надо.

– Так уж сразу и гнать, – усмехнулся мужчина.

– Гнать! – жестко подтвердил Мирон. – Ему не пять лет и даже не двадцать. Он что, не соображает? Все он понимает, да только думает, что проскочит. Говорили с ним по-хорошему? – Мирон оглядел мужиков. – Говорили. Выходит, что он делает это нарочно, мягко

говоря, плюет на добрые слова. Семью вот только жалко... – Мирон выругался и к механику: – К нам помощь из города. Беру к себе. У меня тракторист заболел. Какой ему механизм взять?

Механик привстал, повел пальцем вдоль окна, ткнул:

– Этот.

– Ясно. Пошли, – кивнул мне Мирон.

Когда мы вышли на территорию гаража, там рычало уже не меньше тысячи сил.

– Этот? На этот я не сяду, – раздраженно сказал я, когда Мирон показал мне на «Алтайца». – Это же не бульдозер, а вибратор! На ровном месте так трясет, что за полчаса из сметаны масло собьет. Пускай кто другой трясется.

– А ты чем лучше того, другого? – ядовито спросил Мирон. – Глаза красивой, что ли?

– Я же сказал – не сяду! – перебил я.

– Не сядешь? – спокойно переспросил он.

– Нет.

– Тогда собирай свои манатки и дуй обратно в город.

Я опешил. Возвращение в город мне не сулило ничего хорошего. К тому же из-за того, что отказался работать.

– Как говорится, или – или, – спокойно продолжал он, глядя в сторону. – У нас здесь не детская. У нас здесь работают. Понял? – и ушел.

Я потоптался. Завел, прибавил к рычанию тысячи и свои сто тридцать. Попробовал проехать вперед, назад; повороты, отвал – все было нормально.

Я вылез из кабины, закурил. Трактора один за другим уезжали. Вскоре подошел Мирон, кивая на бульдозер, спросил:

– Работает?

– А разве не слышно? – хмуро отозвался я.

– Тогда поехали.

И мы поехали. Бульдозер трясло как в лихорадке. Я без надобности увеличил скорость, искоса посмотрел на Мирона. Он, перехватив мой взгляд, улыбнулся, но ничего не сказал.

Мы выехали из гаража, повернули к озеру и берегом покатали в сторону леса. Ехали недолго.

– Работа у тебя будет такая, – сказал он, когда мы остановились и прыгнули на землю. – Это силосная яма. – Передо мной параллельно друг другу тянулись две бетонные стены, а между ними – бетонный пол, и все отдаленно напоминало корыто. – Сейчас начнут возить траву. Ты стащишь ее с тракторной тележки, разровняешь – и знай катайся вперед-назад, вперед-назад. Трамбуй. Чем плотней будет, тем лучше. Понял?

– Понял.

– Сколько весит? – он кивнул на «Алтайца».

– Одиннадцать тонн.

– Нормально. Ну давай, – он хлопнул меня по плечу и направился к стоящим невдалеке весам, возле которых на бревне сидела наша ночная знакомая. Лицо ее было усталым, но спокойным.

– Ну, как у нас дела? – спросил Мирон.

– Все хорошо. Спасибо вам. Если б не вы... – губы ее задрожали.

– Ну-ну, – с неловкой шутливостью он бережно потряс женщину за плечо. – Слезы-то к чему? Радоваться надо, а ты... – Женщина улыбнулась. – Так-то лучше.

Вскоре со стороны убегающей в лес узкой дороги послышался рокот трактора, и через некоторое время появился «Беларусь» с тележкой, до предела нагруженной травой. Взвесив тележку, тракторист подал ее задом поближе к силосной яме, зацепил обвивающий траву трос за мой бульдозер – и поехало!

– Ну, пошла работа – дня мало, – сказал невесть откуда подошедший Мирон. – Лишь бы дождя не было. – Он посмотрел на небо, по которому из-за горизонта плыла белоснежная размашистая тучка.

– Не будет, – сказал я.

– Твои бы слова да Богу в уши.

Работа оказалась легкой, но муторной из-за своего однообразия: стащить с тележки, разровнять и – туда-сюда, туда-сюда.

Вскоре трава стала наматываться на поддерживающие катки, и настолько, что гусеницы начали бить по подножке кабины, грозя выломать ее, и мне то и дело приходилось останавливать бульдозер и выдирать спрессовавшуюся горячую, парившую траву, проклиная всех и вся. Мирон изредка помогал мне. Он появлялся неожиданно,

подходил, вытирая пот с запыленного, в разводах грязи лица, черт знает чему улыбался и добросовестно выдирали траву. Когда катки освобождались – исчезал.

– Слушай, – предложил он, когда мы в очередной раз выцарапывали траву, – давай натянем гусеницы под самую завязку.

– А толку-то? – раздраженно сказал я.

– Гусеницы траву резать будут, что им делать останется.

– Давай, – неохотно согласился я.

– погоди минутку, я сейчас. – Его звали.

Я выехал из ямы и стал натягивать гусеницу.

– Ты что делаешь?! – прозвучал за спиной злой голос Мирона. – Башка не варит?

– Гусеницы натягиваю! Не видишь, что ли?! – огрызнулся я. – И у кого башка варит, а у кого нет – еще посмотреть надо!

– Ты какого дьявола на песок выехал? Ты что, в яме их натянуть не мог?

– Не один ли черт?

– А если я тебе в кашу этого песка насыплю, ты ее жрать будешь?

– Откуда я знал, – проямлил я, глядя под ноги. – Сказать надо было.

– А башка у тебя на что? Шапку носить?

– Отстань, – вяло огрызнулся я, – и так тошно.

– Ладно, – мягко сказал он, – давай натягивать.

Силенок у него было предостаточно. С натянутыми гусеницами трава не набивалась, отваливалась спрессованными комьями на сторону.

Солнце висело над головой – маленькое и злое. В кабине, несмотря на распахнутые дверцы, было как в духовке, к тому же крепко пахло соляжкой, маслом и немного бензином. Откуда-то налетевшие оводы носились по кабине, бились в стекла, норовили укусить. Воевать с ними было бесполезно, на место одного убитого залетал десяток, и я бросил это занятие. Страшно хотелось пить. Вода в бидоне, зарытом в песок по самую крышку, была теплой и противной на вкус. А трактора подъезжали и подъезжали... Обед пришел как избавление.

Я поковырялся в тарелке с супом, ткнул пару раз вилкой во второе, выпил три стакана прохладного компота и завалился в тень от бульдозера.

Было тихо, жарко до одури. Хотелось лежать не двигаясь, хоть до самого светопреставления.

«И дернуло же меня согласиться ехать в эту командировку, – вяло думал я. – Леший с ними – пускай бы увольняли. Работы, слава Богу, везде хватает. Устроился бы где-нибудь».

– Эй! Бульдозерист! – окликнули меня. У маленькой, отсвечивающей желтизной бытовки, где мы обедали, стоял Бурячок и махал мне рукой.

– Чего тебе? – неохотно отозвался я.

– Компот пить будешь?

– А есть?

– Есть! – весело крикнул он. – Все уже набурзались. Не выливать же!

Я лениво поднялся.

– Дуй сколько влезет, – он поставил передо мной кастрюльку с компотом, сел напротив.

– Механик отменил наказание? – спросил я, напившись.

– Нет, – неохотно отозвался он и, вздохнув: – И зачем только меня вчера на работу выпимши понесло? Теперь вот... – он не договорил, махнул рукой. – Сам виноват. Чего там. Жалко только, что до меня как до жирафа доходит.

– Мирон где?

– Сенокосилку ремонтировать помогает.

– Он давно бригадиром?

– Порядком. Как после армии вернулся, так все и бригадирит, – охотно отозвался Бурячок. – Он технику лучше этого механика знает. Да и вообще с ним жить можно. С ним просто. Правда, справедлив слишком. Ну да ладно, чего там. Будь я на его месте, то, пожалуй... – Шмыгнул носом, спросил: – Еще налить?

– Я не лошадь – мне ведра хватит, – пошутил я, похлопывая себя по животу.

Мы вышли из бытовки, подсели к мужикам, курившим в тени. На меня искоса посмотрели.

– Еще день такой работы, и яму закроем, – видимо, продолжая начатый разговор, негромко сказал сидящий в стороне мужчина, длинный и какой-то нескладный.

– Не говори гоп, пока не перескочишь, – лениво отозвался другой, полный. – Мало ли...

– Да ладно тебе, – с ноткой раздражения в голосе сказал высокий. – «Мало ли, мало ли»! Тебя послушать, так хоть из дому не выходи.

Полный искоса посмотрел на него, промолчал. Лицо его, рыхлое, мучное, было в капельках пота, и дышал он тяжело, часто.

Подошел Мирон. Вытирая платком лицо, блестевшую от пота большую голову, выдохнул:

– Жара, чтоб ей...

– Компот пить будешь? – спросил Бурячок.

– Мужики пили? – Мирон обвел взглядом мужиков.

– Пили.

– Тогда тащи все, что осталось.

– Сенокосилку отремонтировали? – спросил толстый.

– Сделали. – Мирон прильнул к кастрюле. Пил долго, но не жадно. – Решетников даже спасибо сказал.

– Да ну-у?! – удивился высокий. – От него благодарности дожидаться, что от козла молока.

– По мне лучше маленький полтинник, чем большое спасибо, – усмехнулся толстый. – За спасибо и полбуханки хлеба не купишь.

– Дурак ты, – спокойно протянул Мирон, поднося кастрюльку с компотом ко рту. – Полтинник ему, – он сделал несколько глотков и бережно опустил кастрюльку на землю. – Мотал бы ты отсюда за своим полтинником куда Макар телят не гонял.

– Деньги, они тоже не мешают, – заметил я.

– А я разве против? – несколько удивленно сказал Мирон. – Деньги – они никому еще не мешали, но деньги деньгам рознь. Может, ты и с этой женщины деньги бы взял?

– Да ладно тебе, – помолчав, пробормотал толстый. – Это я так просто.

– Ну, если просто, – Мирон широко улыбнулся, развел руками и, оглядев мужиков, рассмеялся. Те удивленно посмотрели на

него. – Вчера Клопикова видел, – заговорил Мирон. – Знает его кто? В соседней деревне живет. Плотник. Ну так вот, историю он мне рассказал. Слушайте. Значит, так... – Мирон потер подбородок. – Говорит, что еще с окончания войны он с каждой получки от жены пятерку в заглашник прятал. Она узнала как-то и к нему: «Где деньги?» А он ей – военкомат за подбитый во время войны танк высчитывает. Она поверила и через несколько дней соседке рассказала, а та и говорит: «А что ж тогда с моего Михаила за подбитый самолет не высчитывают? Самолет-то, он, поди, подороже танка стоит?» Ну, жена Клопикова в военкомат. О чем она там с военкомом говорила – неизвестно, но на следующий день Клопикова в военкомат вызывают. Надел ордена, поехал. Встречает его военком, говорит улыбаясь: «Я, Афанасий Николаевич, тебя как мужик мужика понимаю, но надо совесть иметь. По пятерке много, сказал бы уж, что по тройку». Возвращается Афанасий домой – и к жене: «В военкомат ездила?» Той куда деться – ездила, говорит. А он ей: «Радуйся! Раньше по пятерке высчитывали, а теперь по десятке будут».

Мужики грохнули смехом.

Со стороны совхоза послышался нарастающий шум мотора. Вскоре, в клубах пыли, появился газик.

– Начальник катит, – заметил Бурячок. – Главный, видать, – и скрылся в бытовке.

– Пускай катит, – равнодушно отозвался Мирон, доставая папиросы. – Работа у них такая. Да и беспокойный человек – главный.

– Это верно, – согласился один из мужиков. – И слово свое всегда держит.

Газик остановился напротив. Из кабины вылез плотный мужчина в ковбойке, спортивных брюках, плетенках.

– Привет всей честной компании, – весело сказал он, подымая руку. – Не сварились еще? Кваску бы сейчас сюда холодненького. А? – И присел на корточки рядом с Мироном: – Ну, как у нас дела?

– Нормально, – Мирон пожал плечами, – работаем. Если дальше так дело пойдет, то завтра закроем.

– Спасибо, мужики, – главный улыбнулся. – Сегодня же напишу приказ относительно оплаты за опережение графика. Ну и жара!

– Да. Включите в приказ бульдозериста, – сказал Мирон. – Бульдозер его односменный, а придется во вторую остаться.

– Сделаю. Как фамилия?

Я сказал.

– Двадцать рублей премии устроит?

– Можно и чуток побольше, – заметил Мирон.

– Там видно будет, – главный посмотрел на выглянувшего из бытовки Бурячка, погрозил пальцем: – Гляди, допрыгаешься до увольнения... До свидания, мужики!

– До свидания, – вразнобой, но охотно ответили все.

Газик, таща за собой шлейф пыли, скрылся за поворотом.

– Ну, пошли, что ли, – сказал Мирон. – Кому что делать – знаете.

Я заводил бульдозер, когда подошел Мирон.

– Ты извини, что я без твоего согласия. Но, понимаешь, – надо. Вдруг дождь? А во вторую легче: тракторов меньше, да и жара спадет.

– Ладно, – буркнул я не оборачиваясь.

– Спасибо тебе.

Его «спасибо» прозвучало по-мужски тепло и грубовато.

Во вторую смену работать было и на самом деле легче: трактора подходили с большими интервалами, было прохладней. Оводы уже не так настырно лезли в кабину, да и пить почти не хотелось.

– Устал? – участливо спросил Мирон, когда мы с Бурячком сидели на траве, перекуривали.

– Устал, – честно признался я. – Особенно кисти рук и плечи.

– Я тоже, – шумно выдохнул он, опускаясь рядом с нами. – Спать бы сейчас завалиться, к женушке под бочок.

– К женушке, – хохотнул Бурячок. – До женушки ли тебе сейчас?

– И то верно, – улыбнулся Мирон. – Не до нее. Ну, давайте еще маленько подналяжем.

Работать мы закончили в двенадцатом часу ночи. Домой добирались пешком – не потому, что не было транспорта. Просто хотелось пройтись по тишине, отдохнуть от осточертевшей жары, бульдозерного грохота.

Шли молча. Тело налилось усталостью до самого края, и теперь казалось, что она стекает, растворяясь в запахе леса, травы.

– Завтра закроем, – медленно сказал Мирон, когда мы подходили к поселку.

– Ясное дело, – отозвался я. – Раз решили...

Совхоз засыпал, когда мы зашагали по улице. Только со стороны клуба слышалась приглушенная музыка, где-то далеко-далеко рокотал трактор да крупно хрустел под нашими усталыми ногами теплый зернистый песок.

СТАЖЕР

*Юрию Марковичу Нагибину
с благодарностью посвящается*

– «Заведу-у», – передразнил Гуров, вытаскивая папиросу. – Мороз под сорок, а он – заведу... Петушок!

– Заведу, – упрямо повторил парень.

Он пришел полчасика назад с запиской от механика, в которой говорилось, что такой-то учащийся ГПТУ направляется стажером на бульдозер №233, то есть к Гурову.

Гуров чертыхнулся. Парень, не вытаскивая рук из карманов, привалился спиной к стене бытовки, вытянул ноги по направлению к жарко натопленной буржуйке.

– Слушай! – встрял я, раздраженный его самоуверенностью. – Ты не ершишь. Завести бульдозер в такую холодрыгу – это тебе...

– Я же сказал – заведу, – лениво перебил он, даже не пошевелившись.

– Что ты как попугай заладил: заведу да заведу! – разозлился Гуров. – Иди да заводи!

Парень усмехнулся, встал и молча пошел к выходу.

– Но учти, – процедил Гуров, – если ты мне радиатор или двигатель разморозишь, я не посмотрю, что дылда и что у тебя папа с мамой имеются...

Тот, не обернувшись, дернул плечами и толкнул дверь. Клубы морозного пара ринулись в бытовку. Дверь хлопнула.

– Зря ты, – я покачал головой. – Только работы себе наделаешь... Как пить дать – разморозит. От механика нагоняй схлопочешь, да и премиальные тую-тую.

– Хрен с ними, с премиальными, – раздраженно уронил Гуров. – А этих, – он показал на дверь, – учить надо. А то я не я. Все-то они знают, все-то они умеют. А сами ни черта, кроме транзисторного приемника, включить не умеют. Пусть повертится. Может, спесь сойдет.

Гуров помолчал.

– Помнишь того... Тоже: я, я, все умею, все знаю, а сам бензина вместо топливного бачка в выхлопную пускача целых полведра залил...

– Скажи спасибо, – заметил я, – что дешево отделался. Чуть бы в сторону пускач полетел, и не сидел бы ты сейчас здесь.

– А-а, – он махнул рукой, подошел к окну, попросил: – Свет выключи.

– Зачем?

– Видно плохо.

Я выключил свет. В бытовке стало темно, лишь бока буржуйки оранжево светились. Я встал и тоже подошел к окну.

Далекie огни города были яркие и чисты. Дым из труб поднимался строго вертикально и там, наверху, словно наткнувшись на что-то, расплзался. Стройка молчала. Светили прожекторы, роняя на снег глубокие тени ферм, стрел, кранов, блоков. Свет одного из них был направлен в сторону котельной, рядом с которой стоял бульдозер. Капот у бульдозера был уже снят, и был хорошо виден заиндевший двигатель.

– Замерзнет, – заметил я.

– Кто?

– Парень.

– А и черт с ним, – Гуров сунул в рот папиросу. – Дай спичек. «Заведу»... Вот и пускай заводит. Петушок...

Из котельной с двумя ведрами воды, над которыми клубился густой пар, вышел парень.

– Вода горячая, – удовлетворенно и, как мне показалось, с облегчением уронил Гуров, чиркая спичкой.

Парень взобрался на гусеницу и стал заливать воду в радиатор.

Из-за пара горловина радиатора, наверное, была видна плохо, и половина ведра вылилась мимо.

– Воронку возьми, дурья башка! – сердито сказал Гуров.

– Пускач-то у тебя как, тянет? – спросил я, когда парень, громы-хая ведрами, побежал к котельной.

– Волокет, – кивнул он, не отрывая глаз от окна.

Парень снова принес два ведра, залил, оглянулся на бытовку, топтался и снова побежал к котельной.

– Это ему не за девками бегать, – съехидничал Гуров. – Тут попотеть надо, даже в такой мороз. «Заведу»... Вот и заводи...

Изморозь с двигателя сошла. Теперь надо было пропустить воду, иначе – хана.

– Да на краник в блоке плесни... На краник... Чтоб тебе! – закричал Гуров, будто парень мог услышать. – Э-э, догадался, – облегченно вздохнул он, когда парень плеснул горячей воды на краник и из него полилась тонюсенькая струйка.

– А пожалуй, и заведет, – протянул я. – Полдела сделано.

– Посмотрим, – пробурчал Гуров и неожиданно ринулся к двери. Приоткрыв, крикнул: – Эй, парень! У меня муфта пускача ведет! – Он хотел еще что-то сказать, но не сказал.

Парень махнул рукой, намотал веревку на маховик пускача, рванул. Молчание. Намотал снова, рванул – молчание.

– Да подлей ты ему бензинчика, подлей, – пробормотал Гуров, отшвыривая папиросу. – Немного и надо... Во-о...

Парень снова намотал веревку на маховик, рванул. Пускач разразился громким, частым тархтеньем.

– Во-о! Порядок! Теперь сбавь обороты. Во-от так! Включай бендикс... Обороты дай! Обороты! – Гуров саданул кулаком по стене. – Теперь муфту... Понемногу... Во-о...

Пускач внятяжку стал крутить основной двигатель. Затем все свободнее, легче.

– Врубай декомпрессор! – выкрикнул Гуров.

Парень включил декомпрессор. Двигатель недовольно рыкнул и успокоенно заработал.

Гуров включил свет, сел ближе к буржуйке. Подбрасывая дров, улыбнулся:

– А ведь завел! А? Черт долговязый...

ЕФРЕМЫЧ

О том, что его бульдозер списывают, а взамен дают новый, Ефремыч узнал от Васьки Щеглова, длинного разбитного парня, работавшего после окончания ГПТУ, как и Ефремыч, на бульдозере. Узнал, возвращаясь с работы. Васька догнал его на выходе с территории стройки.

– Здорово, Ефремыч! – весело сказал он, поравнявшись. – Что ноги медленно передвигаешь? Ведь домой идешь, не на работу.

Ефремыч искоса взглянул на него, промолчал.

– Готовь магарыч, старик. – Васька хлопнул его по плечу. – Сообщи тебе наименее приятное известие, а именно: твою тра-та-та списывают, а новую дают.

– Ты бы на бульдозере работал так, как языком, – уронил Ефремыч, пропустив Васькины слова. – Больше бы пользы было.

– Что за народ! – Васька дернул хилым плечом. – Вру – верят, правду говорю – нет. Хоть вообще рта не раскрывай.

Ефремыч усмехнулся.

– Вот и не раскрывай.

– Да ты что? Не веришь? – Васька остановился. – Русским тебе языком говорю – списывают твой бульдозер. Сам, собственными глазами видел у механика бумагу и на ней печать. Вот такую, – Васька соединил большой и указательный пальцы. – А врать мне ни к чему, мне за это не платят.

– А на кой ляд мне новый, – раздраженно сказал Ефремыч. – Мне и на старом неплохо.

– Ты что, того? – вытаращился Васька. – Да скажи кому – засмеют.

– Вот такие, как ты, и засмеют. Вам бы только новые получать да гробить. Сами ни черта, кроме как рычаги дергать да девок по подъездам тискать, не умеете.

– Ну ты чего, чего, – пробормотал Васька. – Чего ты перед моим лицом своими граблями размахиваешь? Ты перед механиком размахивай. Я что... За что купил, за то и продаю...

– Купил, продаю, – сникшим голосом уронил Ефремыч. – Волосы бы лучше вымыл, а то висят как сопли. Смотреть противно. Тьфу! – И Ефремыч круто повернул направо, в сторону гаража.

Васька повертел пальцами у виска и потопал своей дорогой.

Механик был у себя, разговаривал по телефону. Увидев шумно вошедшего Ефремыча, показал на один из стоявших вдоль стены замызганных стульев.

«Верно, с женой или начальником разговаривает, – подумал Ефремыч. – Ишь губы-то трубочкой держит. Того и гляди целовать начнет. А слова-то какие: «нет», «да», словно других и не знает».

– Чего тебе? – поморщился механик, положив трубку.

– Ты что, всерьез мой бульдозер списывать собираешься? – Ефремыч склонил голову к плечу.

– Ну списываем. А что? – зевнул механик, аккуратно пряча рот за ладонью.

– А это ты видел?! – вскинулся Ефремыч, тыкая в его сторону кукиш.

Механик оторопело посмотрел сначала на кукиш, затем на покрасневшее лицо Ефремыча, взорвался:

– Ну, ты! Полегче с оскорблениями. Ты это можешь своей жене показывать. А я тебе...

– А ты головой думай, а не задницей! – Ефремыч грохнул кулаком по столу. – Это же додуматься надо! Машина еще жить хочет, а ее угробить желают! Вот ежели я тебя сейчас, помимо твоего желания, кулаком по шее хрястну, небось, жаловаться побежишь. А? А я вместо нее пришел. Ты его видел?

– Кого? – растерялся механик.

– Бульдозер мой, кого! Я его вот этими руками до ума довел... А впрочем, чего тебе объяснять, – Ефремыч махнул рукой.

– Так бумага пришла. Мне что? Я человек маленький.

– Все вы маленькие, когда дело ответственности касается, – усмехнулся Ефремыч, – а как премию получать, ого, какие большие.

– Ну ладно, Ефремыч. Я тебя, конечно, понимаю...

– Ни черта ты меня не понимаешь, – пробурчал Ефремыч, вытаскивая из кармана до желтизны протертый портсигар. – Понимал бы – не списывал. «Понимаю». Ты только указания понимаешь.

– Но этот вопрос может урегулировать только главный, – уронил механик, делая вид, что не замечает неприятных слов.

– Пошли к главному! – Ефремыч решительно встал.

– Завтра, – механик выставил вперед ладони. – Завтра. С утра.
– Удерешь ведь, – засомневался Ефремыч, зная, что отыскать механика утром так же трудно, как главного – после обеда.
– Не удеру. Дело-то общее...

... – Что так долго? – недовольно спросила жена, когда Ефремыч раздевался в прихожей. – Я уже три раза подогревала.

– Устала, что ли? – пробурчал он, снимая пиджак.

Жена вздохнула.

– На работе как? – робко поинтересовалась она, когда Ефремыч, умывшись, сел за стол.

– Бульдозер мой списывают, – пожаловался он, беря ложку. – Новый дают.

– Ну и слава Богу, – облегченно вздохнула жена. – А то я уж со стиркой замучилась. Порошка-то на одну твою одежду извела... – и осеклась, взглянув на мужа.

Ефремыч отшвырнул ложку, хотел что-то сказать, но махнул рукой и, тяжело ступая, ушел в комнату.

– Я что-то не так сказала? – виновато спросила жена, подойдя к стоявшему у окна Ефремычу. – Так ты не сердчай. Неужто мы из-за какой-то железяки ругаться будем.

Ефремыч резко обернулся.

– Железяка! И для тебя – железяка! А это? А это? Кто нам все заработал?! А?! Чего смотришь? Железяка вместе со мной работала... Железяка... Я эту железяку...

– Но, Ефремушка, – жена робко прикоснулась к его локтю. – Ты же сам говорил, что сердце больное. Да и люди говорят, что на новом легче.

– «Люди говорят, люди говорят», – передразнил он. – Мало ли что люди говорят. Ты вон тоже постарела, так, может, мне взамен тебя новую жену взять? Люди говорят. И пускай говорят. А сердце болит... Так на то оно и сердце – чтобы болеть.

– Что ж делать-то теперь будешь?

– К главному пойду.

– Думаешь, уважит он тебя?

– Тьфу! Слово-то какое – уважит. Слушать противно.

- А может, и не спишут?
- Додумалась наконец-то...

Утром следующего дня Ефремыч встал намного раньше обычного. Оделся, выпил кружку чая.

– Медали бы надел, – посоветовала жена. – Аль грамоту взял, что тебе командующий на фронте как механику выдал. Все ж полегче будет.

– Медали, грамоту, – рассердился Ефремыч. – И без медалей понять должен. А не поймет – грош ему цена.

– Слова бы приготовил. К начальству все-таки идешь. А то бухнешь еще что. У тебя же не задержится. Знаю я. Потом жалеть будешь, – сказала она, поправляя на нем шарф.

– Все-то ты у меня знаешь, – проворчал Ефремыч. – Ну ладно, пойду я, – и, поцеловав, как было принято давно, жену, вышел.

Механика не было.

– Вот гад, – громко сказал Ефремыч и пошел к главному.

Главный был у себя. Отклонив предложение сесть, Ефремыч спросил:

– За что мой бульдозер списываете?

– Как это за что? – не понял главный.

– Вот я и спрашиваю, за что? – упрямо повторил Ефремыч. – За что вы хотите его жизни лишить?

– Жизни? – главный улыбнулся. – А за то, что время подошло. Да вы не расстраивайтесь, вам новый дают. Видели, какой красавец?

– А на кой ляд мне новый, если я еще на старом могу, если у него еще сердце и тело работать могут?

– Ну, знаете, – главный развел руками. – Не понимаю я вас. Совершенно не понимаю.

– Не понимаете, значит?

– Нет, – главный забарабанил пальцами по столу.

– А что же вы свою личную машину не списываете? Она ведь у вас давно на ладан дышит. – Ефремыч сощурился. – А? Тоже не знаете? Знаете. Своя. Деньги плачены. Да вы ее, старую, и то постараетесь по выгодней продать. Что? Разве нет? А государственную, значит, можно побоку? Богаты стали. С государства, значит, рвать можно... А оно, что вам, дойная корова? В войну под бомбежками, под пулями самый

искореженный танк ремонтировали, жизни лишались. А сейчас чуть что – и под резак, в металлолом. Не много ли металлолома будет? Как бы один металлолом не остался. Еще главный инженер! А-а...

– Но... – главный приподнялся.

– Ну вот что, – Ефремыч опустил руки на стол, – спишете, я до главка дойду. У меня не задержится. Мне верхов бояться нечего. Вот так, товарищ главный инженер...

Выйдя из конторы, Ефремыч сел на скамью, посидел, держась рукой за сердце. Мимо, усердно шлепая гусеницами, прокатил бульдозер. Ефремыч проводил его взглядом, поднялся и пошел на работу. Туда, где его ждали.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПУТИ

Они ехали третьи сутки.

– Айкон, – сказал непослушным от долгого молчания голосом тот, что сидел позади, – бывает, что люди твоего племени убивают своих?

Передний сплюнул.

– Отчего не бывает?... Бывает... В прошлом году было.

– Расскажи, Айкон.

– Тимофей, видишь, с Васькой пошел. Двух песцов взяли. Худо. Собаки, однако, рысь погнали. Тимофей старый, а тут ум растерял. Побежал впереди, Васька за ним. Васька упал, карабин выстрелил. Сильно бьют теперь карабины, ой-ей сильно...

– Судили Ваську?

– Зачем судить? Карабин отобрали. Шестнадцать лет, ум как у белки, а Тимофею, однако, много лет было.

– В чем же он-то виноват?

– Ты, однако, не охотник. Васька молодой, горячий. Таких вперед пускать надо – ноги крепкие, пусть дорогу делает. А Тимофей – цх-цх-цх! – Каюр укоризненно поцелкал языком.

– А еще бывало, Айкон?

– Давно, однако. Ребята у моря баловались. Николка Варьку в воду столкнул. Пока в лодку сел, утонула, цх.

– Это все не то, Айкон. Скажи, а бывало так, чтоб нарочно убили? Ну, со зла, пьяный, из-за денег?

Каюр задумался.

– Нет, не бывало. Как можно нарочно? Ты, однако, шутишь?

– Айкон, ты жену любишь?

– Хе-хе, хорошая жена.

– Ну вот. Скажем, пошел ты на охоту, день ходил, два ходил, три ходил. Добыл много песцов, устал, замерз, домой пришел. И вот пришел ты домой, а в твоём чуме с женой другой охотник. Что бы ты сделал?

– Что? Однако, снял бы малицу, у огня сел. Сказал бы жене: «Накорми собак». А потом сказал бы: «Дай мне мяса и чаю: я устал и хочу есть». Потом бы я ел, а жена смотрела бы на меня. А потом бы я лег спать и спал очень-очень долго.

– Ты забыл про другого мужчину, Айкон.

– Он бы ушел. Двое мужчин не могут спать с одной женщиной.

– А если бы он не ушел?

– Как можно, однако! Ушел бы!

– Ну, допустим, он стал бы говорить: «Это теперь мой чум, а твоя жена больше не хочет делить одну постель с тобой. Она смеется над тобой». Что бы ты сделал тогда?

– Какие ты, однако, кривые слова говоришь! Тьфу, нехорошо слушать!

– Ну а все-таки, если б так случилось?

Каюр задумался, несколько раз сплюнул, мотнул головой.

– Однако, спросил бы у жены, правда ли?

– А потом? Допустим, она сказала – правда, я тебя не люблю, он моложе, лучше, он самый сильный охотник.

– Ушел бы к брату, однако, – серьезно сказал каюр. – Ушел бы.

– Айкон! И ты бы ничего не сделал им? Ведь над тобой будет смеяться все стойбище! На тебя будут показывать пальцем: его прогнала жена!

– Я пойду, однако, к председателю и скажу: «Возьми, Иван, большую бумагу и напиши, что она мне больше не жена, и поставь круглый синий кружок». Так делают.

– Слушай, Айкон, вот уйдешь ты к брату, получишь бумагу. Но

разве ты не будешь думать о жене? Разве ночью ты не вспомнишь ее? Ведь она жила с тобой, говорила, что будет верной женой. А сейчас она уже отдает свое тепло другому...

– У женщины много тепла, – не сразу откликнулся каюр.

– А любовь, твоя любовь!

– Какая любовь, однако! Какая любовь? – закричал каюр, и собаки рванули полозья, снег крепче ударил в лица. – Плохой разговор! Зачем беду кличешь? – сквозь снег и ветер кричал каюр.

– Ха! – сказал седок в бороду.

Собаки скоро перешли на прежний шаг.

– Да, – произнес седок, – у моего приятеля не так было. Жил он не здесь, в большом городе. Знаешь ли, что такое большой город, Айкон? О! Там каждый день праздник. Людей там больше, чем куропаток в тундре, больше, чем рыб в море. Днем и ночью светло там, гремит музыка, шумят машины. А какие там женщины, Айкон! Строгие и гордые, ласковые и зовущие, неприступные для робких и покорные смелым. Мой приятель был мужем одной из таких женщин. Как он любил ее! Как исполнял любое ее желание! Как одевал он ее, как берег! И она любила его. Но в женщинах всегда сидит дьявол. Им прискучивает покорность и любовь, и они жаждут новых побед. И то, что должно было случиться, случилось. Когда мой приятель вернулся после долгой отлучки, он увидел в своей комнате мужчину. Стояла ночь, Айкон, и этот мужчина не был ни братом, ни отцом его жены. Это был умный мужчина. Он объяснил мужу, что любовь этой женщины принадлежит теперь ему. Очень просто, правда? Но жена моего приятеля хорошо знала мужа. Она ничего не говорила, она хотела только уйти. Тогда... Ты видел, Айкон, раненого медведя? Женщина осталась лежать на полу, а ее защитника...

– Они умерли?

– Женщина жива. Как ты думаешь, захочет ли она теперь повторить что-нибудь подобное? – Седок хрипло засмеялся. – Но закон есть закон. Моего приятеля отправили туда, где он за долгие годы мог остудить горячую кровь. Хороший рассказ?

Каюр мялся, подыскивая слова.

– У тебя не было приятеля, – наконец сказал он. – Ты сам... Ты говорил неправду. Ты боишься.

– Чего боюсь?

– Ты ученый человек, ты знаешь, как это называется.

Это было сказано мягко, чересчур мягко. Больше они не разговаривали.

Они ехали долго.

Они ехали очень долго и никак не могли доехать. И каждый из них думал. И думы их тоже были долгими. Молчание нарушил каюр:

– Знаешь, что сделал бы председатель Иван, если бы ты сидел на его нартах?

– Да?

– Он остановил бы нарты и сказал бы: «Иди!»

– Вот как, – усмехнулся седок, но даже в темноте чувствовалось, что усмешка не получилась. – А что сделаешь ты, Айкон?

– Довежу до тепла, однако, – ответил каюр.

Начались четвертые сутки пути.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Председателю товарищеского суда деревни Проселки товарищу Терехову Г. В. от слесаря пятого разряда Ротикова Д. И. Объяснительная.

Значит, так. Вчерась это было. Подходит, значит, ко мне утром механик наш Михаил Грибов и говорит: «Съезди, Иваныч, в поле, помоги трактор «Беларусь» отремонтировать. Работа там несложная, да тракторист на ем молодой и, окромя как вертеть баранку, ни черта не может».

Попросил человек – как не поехать да не помочь. Сам был молодой, самому помогали. А как же! Сегодня я ему, а завтра он мне – так оно и идет. Приехал я, посмотрел, ремонтировать начали. Работа-то вроде бы и пустяковая, да не очень, но к обеду управились. Завели, опробовали – и на обед. После покурить, как положено, вышли. Сидим, курим, о разном говорим. Вот тут и подошел к нам известный вам бригадир полеводческой бригады Тишковский. Подошел, сел и, когда в разговоре пробел получился, спрашивает у меня: «Слышал я от людей, Дмитрий Иванович, что ты под старость лет астро-

номией увлекаться начал. Так вот, если не стыдно, расскажи нам, что там, в этой бездонной бочке, новенького за последнее время произошло: какая звезда закатилась, какая воскресла?» Посмотрел я на него, вижу, серьезно человек спрашивает, и говорю: «А чего не рассказать? Можно рассказать. И стыдиться мне ни к чему. Какой стыд – о небе рассказывать?»

А должен я вам открыть, Геннадий Васильевич, что купил я на днях интересную книгу. «Сила, что движет мирами» называется... Интересная книга, но спорная, хоть и учеными людьми написана. А написана в ней, к примеру, такая ерунда, что есть, дескать, и мечте нашей, человеческой, предел. Написано, что, дескать, как бы человек в далеком будущем ни хотел, какие бы скоростные космические корабли ни изобрел, а покинуть пределы Вселенной он не сможет. Не сможет – и хоть ты тресни, хоть ты лбом об стенку бейся. А если я хочу! Тогда как? А? Ну, я ладно, я старик, а вот мой внук, к примеру... Он же тоже захочет... Ерунда, одним словом. Переборщили они от заумности своей.

Ну вот. Сижу я, значит, рассказываю. Мужики внимательно слушают. Рассказываю о звездах, планетах, как умею, что знаю. Рассказываю, а меня самого аж дрожь берет от расстояний, от таинства небесного. Рассказываю, а Тишковский вдруг говорит: «Ну и что? Пустяки все это на постном масле». «Как это пустяки? – возмущаюсь я. – Это ж небо! Приходи, – говорю, – ко мне, я тебе дам в морской бинокль на луну, на звезды посмотреть. Посмотришь, – говорю, – и в груди у тебя так страшно и сладко станет». А он так небрежно сплевывает и ухмыляется: «А сам-то ты раньше где был?» – «Как где? На земле, – говорю, – был. Воевал, – говорю, – детей растил, хлеб». А он мне: «Ну и оставайся на земле. Нечего под старость в небо паялиться. Небо само по себе, а ты сам по себе». «Да небо, – я ему, – небо же, как ты понять не можешь!» А он передразнивает: «Небо, небо». Пользы-то от твоего неба, как от козла молока. Вот если бы его картошкой да укропом засадить да урожаем снять...»

Ну, я и не вытерпел, вдарил его. Сердце у меня не стерпело! А напоследок говорю вам, Геннадий Васильевич, при полном сурьезе, что извиняться я перед ним ни в жисть не буду, потому как считаю себя вполне правым.

К сему... Ротиков Дмитрий Иванович.

В 1986 году в Чехословакии
в издательстве «Одеон» (Прага)
был выпущен альманах
с произведениями лучших новеллистов XX века.
В нем опубликован рассказ Б. Кравченко
«Объяснительная»

Boris Kravčenko

Vysvětlení

*Představitel lidového soudu zemřel Procella,
soudce a obžalovaný G. V.
od záměrně půl třídy Rutíkova D. I.*

Tak tedy. Bylo to včera. Ráno ke mně přijde náš mechanik Michail Gribov a říká: „Jeď, Ivanyči, na pole a pomoz opravít traktor Belorus! Práce je to jednoduchá, ale traktorista je mládý a umí tak leda točit volantem.“

Když jeden poprosí, co bych nejel a nepomohl. Sám jsem byl mladý, taky mi pomáhali. No a jak jinak! Dneska já jemu, zítra on mně – tak to chodí. Přijel jsem tam, podíval se, začali jsme opravovat. Práce vypadala skoro jako nic, ale přece jen to nějakou dobu trvalo. Do oběda jsme to zvládli. Nastartovali jsme, vyzkoušeli – a k obědu. Pak cigareta – jak se sluší a patří. A vtom k nám přistoupí i vám známý vedoucí brigády Tilkovskij. Přišel, sedl si, a když jsme na chvíli zmlkli, zeptá se mně: „Slyšel jsem od lidí, Dmitriji Ivanoviči, že jsi se na stará kolena začal zabývat astronomií. Tak jestli ti to není trapné, řekni nám, co je tam v té bezedné báni poslední dobou nového: která hvězda zmizela, která se znovu objevila?“

Kouknu na něho, vidím, že se ptá vážně, a říkám: „A proč bych nefekl? Proč by mi mělo být trapné vykládat o obloze?“

A musím vám ještě říci, Gennadiji Vasiljeviči, že jsem si někdy koupil zajímavou knihu. „Síla, která ovládá světy“ se ta kniha jmenuje... Zajímavá kniha, ale sporná, i když ji napsali vědci. Je v ní třeba takový nesmysl, že i lidský sen má své meze. Prý ať bude člověk v daleké budoucnosti sebevíc chtít, ať vynalezne jakékoli kosmické lodě, přece nedokáže opustit naši hvězdnou soustavu. Nedokáže, kdyby se na hlavu postavil. Ale jestli třeba já budu chtít! Co pak? No? No, já jsem starý, dobrá, ale třeba můj vnuk... Jemu se také zachce... Jedním slovem – nesmysl. Prostě trochu přestřelili.

Tak. Sedím si tedy a povídám. Chlapci pozorně poslouchají. Povídám o hvězdách a planetách, jak nejlíp umím, všechno, co vím. Povídám a až jsem se sám rozechvěl z těch vzdáleností,

z toho vesmírného tajemství. Povídám a Tilkovskij najednou říká: „No a co? Všechno jsou to výmysly.“ „Jaké výmysly,“ rozčilil jsem se. „To je vesmír! Přijď,“ povídám, „ke mně, podíváš se dalekohledem na měsíc, na hvězdy. Podíváš se a u srdce ti bude tak hrozně a sladko.“ A on si jen tak nedbale odplivne a uklíbně se: „A kdepak já dřív byl ty sám?“ „Jak to kde? Na zemi,“ říkám, „jsem byl. Bojoval jsem, děti jsem vychovával, vydělával jsem.“ A on na to: „Tak buď na zemi dál. Neudí proč civět na stará kolena do nebe. Nebe je jedna věc a ty jsi druhá věc.“ „Ale nebe,“ říkám, „nebe je přece něco úžasného!“ A on se pošklebuje: „Nebe, nebe. Z toho tvého nebe je houby užitek. Jo, kdyby se tam tak daly zasadit brambory a česnek a kdyby se to skládilo...“ No a já jsem to nevydržel a praštil jsem ho. Nepřenesl jsem to přes srdce. A nakonec vám říkám, Gennadiji Vasiljeviči, při plné rozvaze, že se mu v životě neomluvím, protože jsem v právu.

Podepsán... Rotikov Dmitrij Ivanovič

Prčkolila Jitka Stěsová

Nikdy nemůžete lépe a rychleji poznat člověka, jeho pravou povahu, charakter i letorn, jeho „duši“, než když ho pozorujete za volantem auta, jak řídí. Budete-li vedle něho sedět hodinu, dovíte se o něm, aniž byste spolu slovo promluvili, víc, než když s ním jinak strávíte celý měsíc.

Ivo Andrić

ПОСЕЛКОВЫЙ ПОЧТАЛЬОН

О том, что наступил выходной, поселковый почтальон Васька Тюлькин узнает по-своему: проснувшись, как обычно, в шесть часов утра, он тихохонько (не дай Бог разбудить жену) взбирается на табурет, высовывает голову в форточку, слушает. И если с нижнего склада вместо надрывного воя электропил и тяжелого грохота вываливаемых на эстакаду хлыстов – вкрадчивый шум леса, а вместо утробного тепловозного гудка на узкоколейке слышится приглушенное бормотанье речки, – значит, выходной. И тогда...

Сегодня выходной.

Васька шумно втягивает остреньким носом пропахшую хвоей ночную прохладу, блаженно, словно хлебнувший валерьянки кот, жмурится и спрыгивает в теплоту квартиры. Сколько раз Васька спрыгивал, и ничего, а тут не повезло, зачастил ногами, руки вытянул (да разве за воздух удержишься?) и грохнулся на устланный половиками пол.

– Зарядку делаешь? – широко зевая, поинтересовалась жена Аглая.

Васька промолчал. Потирая ушибленное колено, не глядя на жену, зашкандыбал на кухню, с трудом сдерживаясь, чтоб не послать свою разлюбленную куда-нибудь подальше.

– Что ж ты, золотце мое ненаглядное, проснулся-то так рано? – поинтересовалась жена, когда Васька, проклиная собственное невезенье, ставил на плитку чайник.

Будь здесь сейчас посторонний человек, он наверняка принял бы слова Аглаи за чистую монету. Посторонний, но не Васька. Васька давно уяснил, что главное в семейной жизни не слова, а интонация, и поэтому упорно молчал, зная, что это только ягодки...

– Наверное, выходной сегодня, – продолжает любопытничать жена.

«Вот зануда, – думает про себя Васька. – Ведь прекрасно знает, что выходной».

– А тебе, бедненькому, на работу. За что же тебе, золотце ты мое ненаглядное, наказание-то такое?

Васька морщится как от зубной боли и, нарочито громко фыркая, моется под умывальником.

– Запомни, ирод! – певучий, полный ехидного сочувствия голос жены одним махом взлетает на три тона выше. – Запомни! Нажрешся – возьму развод. Всему приходит конец. Моему терпению тоже.

Конец ее терпению приходит вот уже несколько лет, и насколько еще хватит – неизвестно. Сам Васька думает, что надолго.

– Понял?! Я тебя спрашиваю?! – на самой высокой ноте спрашивает жена, стуча массивным кулаком по одеялу.

На этот вопрос Васька отвечает всегда одинаково: «Понял». А что еще ответишь? Вообще-то ответить можно, но небезопасно. Как-то он попробовал, сказал, что, дескать, это его дело, что хозяин в семье он... Спасибо, что зашел сосед, а то б досталось значительно больше...

– Ну, понял, – бурчит Васька, всовывая ноги в штаны.

– И на кой ляд я за тебя замуж вышла? – приподнявшись на локте, продолжает Аглая с глубоким вздохом. – Говорили же мне добрые люди. Так нет – сунулась. Дура я набитая.

Аглая исподтишка косится на мужа и, заметив, что движения его стали чуть нервными, улыбнувшись, продолжает:

– Ведь предлагали же мне руку и сердце такие парни! – Аглая качает головой. – Грамотные, интеллигентные и не пьяницы, – на слове «пьяницы» Аглая делает ударение. – Жила бы я сейчас, как сыр в масле каталась...

И, верно, кончилось бы все тихо и мирно, сумей Васька догадаться, что это была последняя попытка жены вывести его из себя, так нет, не выдержал, бухнул:

– Дура и есть! Глаза-то распахни свои воробышние. Да я ж с первого дня нутром каюсь, что женился на тебе. Тебя б при твоей комплекции в лес заместо трелевочника – все ж польза какая, а то устроилась десятницей. Тьфу...

Аглая некоторое время слушала молча, полураскрыв рот, затем с неожиданной для Васьки легкостью вскочила с кровати и, путаясь в ночной рубаше, вытянув полные руки, ринулась к нему, с надрывом крича:

– Ах ты чучело гороховое! Да я ж из-за тебя, ирода, такой стала...

И Васька, так и не выпив положенной кружки чая, на ходу сгребав почтальонскую сумку и благополучно увернувшись от пущенного вслед ялового сапога, сиганул на улицу.

Выскочив на улицу, за калитку, Васька останавливается, косится в сторону избы и, шумно вздохнув, скидывает на плечо огромную, на верных полмешка картошки почтальонскую сумку, сшитую им самим из черного дерматина на следующий же день после получения почтальонской должности.

Все хиханьки да хаханьки, что были пущены поселковым народом по поводу сумки, Васька проглотил молча, рассудив, что таскать эту сумку ему и, хороша она или плоха, судить тоже ему, а значит, и доказывать что-то – дело лишнее.

– Ишь ты, – бормочет Васька, безо всякого настроения переставляя ноги по безлюдной улице. – Будто и мне руку не предлагали. Да еще как предлагали-то, со слезами...

Васька врет. Никто и никогда ему не только руки не предлагал, но и провожать-то никто не просил, потому что боялся Васька девченок как черт ладана. Так бы и не женился он во веки веков, если б не приехала на лесопункт по вербовке Аглая. Ничем она от других

не отличалась, а вот, поди-ка, как-то незаметно взяли да и поженились... Бывает же так!

— А раз оба отказали — значит, оба и дураки. А раз так — чего тыкать. Ну ничего, — решительно произносит Васька, остановившись на росстани. — Я ей сегодня все выложу. Все, что думаю, и даже больше... Да! — убеждая самого себя, воскликнул Васька. — Так и сделаю. Мужик я или не мужик, в конце-то концов? Надо поставить ее на место, а то не ровен час и на шею сядет...

Довольный своей решительностью и веря, что все так и будет, Васька шмыгает носом, вертит шеей и, чуть поколебавшись, направляется в сторону магазина, угол которого торчит в конце улицы.

Не было дня, чтоб Васька не зашел во двор магазина, где за грудой ящиков на ворохе стружек спал вместе со своим бессменным помощником коротконогим псом Альчиком сторож Герасим.

На Васькины шаги из-под дедовой шубы высовывается собачья морда, которая, гавкнув разок, верно, для очистки совести, скрывается.

— Э-э! Дед! Вставай! Обокрали! — громко говорит Васька, дергая за шубу.

Шуба зашевелилась. Появилось заспанное, с прилипшей к жиденькой бородачке стружкой лицо деда Герасима.

— Ну и ляд с ним, — явно недовольный тем, что разбудили, бурчит дед.

— Спал? — спрашивает Васька, вытаскивая из кармана папиросы.

— Как можно, — зевает дед, прикрыв рот сухонькой ладошкой. — На службе я, не положено.

— А что ж делал тогда? — изумляется Васька.

— Что, что, — сердится дед. — Думал. Вот что!

Вылезший из-под шубы пес, не сводя глаз с Васькиной руки, которой тот долго копошится в кармане, нетерпеливо егозит.

— А ну-ка постой на задних лапах, — говорит Васька, дразня пса куском сахара, и, слушая, как тот громко хрустит, добавляет: — Э-э, да он у тебя за сахар не только на лапах, на ушах стоять будет.

— Ежели и тебе приспичит, и ты встанешь, — веско замечает дед. — Жизнь — она такая. Она тебя на что хошь поставит. Знаю я ее.

Некоторое время сидят молча. Дед — то и дело зевая. Васька, поглаживая прикорнувшую у ног собаку, задумчиво курит.

– Да-а! – неожиданно оживляется дед. – Корешки-то как? Появились?

– Корешки, – передразнивает Васька шепелявый голос деда. – Черта лысого, а не корешки. Я от твоего снадобья ночь не спал.

– Ежели болело, то это ничего, это пройдет, – успокаивает дед.

– Живот болел! – сердится Васька.

– Это надо же! – удивляется дед, вытаращив голубенькие глазки. – Обманула, значит, меня Глафира. А уж уверяла, уверяла. Мелким крестом крестилась.

– Я вот ее палкой перекрещу, – беззлобно роняет Васька, втаптывая окурки в землю.

– А может, все ж есть хоть один корешочек? – сомневается дед. – Не может быть, чтоб уж совсем ничего.

– На-а! Смотри! – говорит Васька, разевая рот, в котором нет передних зубов.

Дед приподнимается. Щурясь, заглядывает и, видимо, ничего не углядев, пытается сунуть палец, пощупать. Васька отдергивает голову:

– Я тебе что, курица? Небось, если б были, не сунул.

– Ясное дело, – охотно соглашается дед, – тогда б без надобности.

Они снова замолкают...

Зубы Васька потерял на делянке, работая чокеровщиком. Шел не сбоку от трелюемой пачки, как положено, а следом, а из-под нее возьми да и вывернись жадная до жизни березка. Звезданула она Ваське так, что выбила передние зубы, а заодно и всю Васькину любовь к лесу, о которой он, что уж там скрывать, любил прихвастнуть и с делом и без дела.

Отбив выделенное местным фельдшером время на больничном, Васька пришел в контору и громогласно заявил, что отказывается иметь какое бы то ни было дело с лесом – ни прямое, ни косвенное. Начальство скрепя сердце согласилось и дало работу рассыльного. Так бы и болтался Васька по поселку, помогая кому делать нечего, если б не умерла ни с того ни с сего бабка Шаманщица – почтальонша.

– Ну вот что, Тюлькин, – заявило Ваське начальство. – Человек ты вроде ничего, но у нас лесопункт, а не дом отдыха, а потому выбирай: или сумка почтальона, или по собственному желанию...

Васька выбрал сумку и вот уже больше года как состоит на этой должности.

Послышался густой, многократно повторенный эхом тепловозный гудок со стороны станции и затих, словно провалился во что-то мягкое, глубокое.

– Пойду я, – неохотно поднимаясь, роняет Васька. Дед кивает и, проводив его взглядом, преспокойно устраивается досыпать.

Одноэтажное, верно, срубленное еще при царе Горохе здание почты стоит у самой станции. От поселка к станции ведут деревянные, со множеством щелей панели. Примерно посередине их перерезает узкоколейка.

На узкоколейке Васька останавливается. Смотрит в сторону диспетчерской, около которой стоит массивная туша тепловоза и сцепы с лесом. «Хороший лес кто-то валит, – думает Васька. – Любо-дорого смотреть». И, вздохнув, идет дальше. Прежде чем переступить порог почты, он тщательно вытирает ноги о голик.

В маленьком помещении почты прохладно и серо. Тикают часы. Начальник почты Дашка Рябинина, молодая, вертлявая, не в меру охочая до разных нарядов, привстав на цыпочки, прищипливает к стене плакат.

– Здорово, – говорит Васька, усаживаясь на стоящий у окна маленький стол, заваленный кипами газет, тугими пачками писем.

– Здравей видали, – не оборачиваясь, отвечает Дашка и, отступив на пару шагов от повешенного плаката, спрашивает: – Ну как?

– Вранье! – уверенно заявляет Васька, разглядывая плакат, на котором нарисована молоденькая девушка с донельзя счастливым лицом, опирающаяся рукой о новенький «Москвич», и надпись: «Храните деньги в сберегательной кассе».

– Это почему же вранье? – возмущается Дашка.

– Почему, почему! Глаза-то разуй. Девке лет двадцать, а уж на машину накопила. Вранье!

– А может, она на хорошей должности состояла, – упирается Дашка.

– Ежели папа с мамой ее, то оно конечно. Тогда б и я накопил, – прикрыв рот ладонью, хихикает Васька.

– Это ты-то бы накопил? – презрительно поджав ярко напома-

женные губы, тянет Дашка. – Уж чья бы корова мычала, а твоя молчала.

Васька чешет затылок, прикидывает что-то и уверенно роняет:

– Накопил бы! И знаешь, почему?

– Ну-у? – удивленная уверенностью, с какой Васька сказал, спрашивает Дашка.

– А потому, – наставительно объясняет Васька, – что чем человек богаче, тем он жадней. Вот взять, к примеру, нашего Шматько. Денег куры не клюют, так он еще от матери переводики получает.

– А ты, значит, от бедности пьешь, – насмешливо сказала Дашка. – Тоже мне бедняк нашелся.

– А я разве тебе говорил, что от бедности? Я тебе так не говорил, – запротестовал Васька. – Ты, Дашка, отсебятину-то не городи. У меня денег в самую тютельку. Я, так сказать, еще до критической точки не дошел, не накопил, значит. А вот как накоплю, так и брошу.

– Ну-у и Тюлькин! С тобой не соскучишься, – покачивая головой, обронила Дашка и, махнув рукой, скрылась за стойкой, откуда послышалось четкое клацанье костяшек на счетах.

– А переводы где? – спрашивает Васька, когда уже все газеты и письма разложены в сумке лишь по одному ему известному порядку.

– Сама разнесу, – обрывает Дашка.

Ваську такой вариант не устраивает. Он отворачивается к окну. На станции стоит состав с лесом. Вот тепловоз дал гудок, и состав медленно, словно примериваясь к долгому пути, трогает. Видно, как прогибаются рельсы. Провожая взглядом состав, Васька трет лоб и, видимо, что-то придумав, лениво растягивая слова, интересуется:

– Дашка? А что такое кримплен?

– А тебе зачем знать? – настораживается Дашка, прекращая стучать на счетах.

– Я так думаю, что это вино какое, – по-прежнему глядя в окно и чуть заметно улыбаясь, говорит Васька. – Вчера мы с Лешкой Шустиковым вагон-лавку разгружали, так Нюрка Смятина говорила, что сегодня магазин надо пораньше открыть, а то плана нет. Вот я и подумал...

Дашка зашевелилась. Заперекладывала без всякой надобности разные причиндалы.

– В десять часов, говорит, открою, – нарочито зевая, продолжает Васька, вытаскивая из сумки первую подвернувшуюся газету и всем видом показывая, что скоро уходить он отсюда не собирается. Перевернув страницу, спрашивает:

– Так что это за штука такая – кримплен? Сколько градусов?

– На переводы! – выкрикнула Дашка. – Но если ты обманул... Я тебе последние волосья с головы повыдергиваю. Понял?

Дашка выскакивает на улицу следом за Васькой, прикалывает на дверь почты бумажку, на которой четко написано, что сегодня на почте санитарный день, и чуть не бегом направляется к поселку.

На улице тепло, ласково. Хорошо пахнет лесом. Со стороны поселка слышится шум «Дружбы», крики ребятни. Из труб к небу тянется голубоватый дым, и кажется, что это отправляется в путь большая эскадра.

Васька поправляет пузатую сумку и, чуть скособочившись под ее тяжестью, неспешно шагает в сторону поселка.

Рядом с площадкой, на которой ребятня гоняет мяч, садится на торчащую из земли шероховатую, теплую плешь валуна, кладет сумку на колени и, сунув пальцы в рот, громко свистит.

– Здорово, ребята, – говорит Васька, когда ребятня подходит.

Ребята отвечают вразнобой.

– Значит, так, – деловито говорит Васька. – Ты, Семка, дуй на Строительную. Вот тебе почта. Вот тебе обговоренный двугривенный. Э-э! Да смотри не растеряй, а то мне за это голову отвернут, – кричит он уже вслед метнувшемуся папану.

– А тебе, Колька, на Зеленую. Усек?

– У-усек, – принимая в грязную ладошку новенькую монету, с довольной рожицей говорит Колька, уже прикидывая, как лучше истратить это такое богатство.

– Ну а тебе, Серега...

Освободившись таким образом от газет и писем, Васька некоторое время сидит, курит, ничуть не беспокоясь за корреспонденцию. Не было случая, чтоб ребята надули. Затем, сложив сумку в несколько раз, запихивает в карман пиджака, вытаскивает переводы.

Их немного, всего три: Василисе, Шматько и какому-то Снегиреву в общежитие.

Васька идет к Василисе, тихой, как лес в безветрие, старухе. Живет Василиса одна. Муж ее, маленький, но цепкий до денег старик, помер несколько лет назад, оставив ей добротную избу, сына, дров на четыре зимы, два обширных огорода и ни копейки денег, чему поселковый народ очень удивился. Поговаривали, что перед смертью зарыл старик деньги где-то у реки. Пробовали искать, да куда там, лес, он и есть лес, знает, когда говорить, когда молчать. Поискали и бросили. Единственный сын Василисы подрос и уехал работать в какой-то далекий город и аккуратно, раз в два месяца, присылал переводы.

Василиса сидела на завалинке лицом к солнцу, грелась, опершись о суковатую палку.

– Здравствуй, Василиса! – окликнул Васька старуху. – Как живешь-поживаешь?

– А-а! Это ты, Вася, – разглядев его из-под ладони, ласково откликнулась она. – Проходи, милый. Не заперто.

– Переводик тебе, – сказал Васька, присаживаясь рядом. – Вот держи.

Василиса безучастно взяла перевод, прошептала:

– Сам бы приехал. На что они мне, деньги-то? Старость деньгами не согреешь. Ты бы уж отписал ему. Уважь старую. Отпиши, мол, помирать собираюсь. Отпиши, что сижу вот, на солнышке греюсь, о нем думаю...

– Отпишу, – кашляя в кулак, говорит Васька. – Сегодня не смогу, а завтра обязательно.

– Вот и спасибо, соколик, – благодарит старуха и спрашивает, чуть повернув к Ваське маленькую седую голову: – Сам-то как живешь?

– Живу, – отвечает Васька, глядя на заросшие сорняком огороды, на калитку, которая держится на одной петле. – Вот почту разношу, переводы...

Старуха кивает. Смотрит в глубину двора, поджав маленький ввалившийся рот, тихохонько, то ли боясь расплескать что-то внутри себя, то ли укачивая разболевшееся сердце, покачивается. Васька

осторожно встает, у калитки останавливается. Старуха сидит. Над ней высится крепкая, на долгие годы жизни изба без теплого дыма над крышей.

– Эх ты! Жизнь! – с горечью бормочет Васька и задумывается.

Думает Васька о том, что, будь его воля, задрал бы он жизни юбчонку да выпорол так, чтоб долго сесть не могла, чтоб поумнела, чтоб смотрела, кому что дает. Вот, к примеру, Василиса. Все годы свои горб гнула, сына вырастила, а она вместо радости вон что сунула. На, дескать, радуйся, раба божья Василиса, да еще спасибо скажи, что живешь. А Шматько? Чем он этой жизни по нраву пришелся? Морда – чистый бульон, денег – куры не клюют, домина о пяти углах – все есть, так она ему еще за тридцать копеек пианино преподнесла.

Ваське вспомнился разговор с дедом Герасимом. Сидели они так же, как и сегодня, во дворе магазина, болтали о разном, о мужском. Слово за слово, коснулся разговор жизни. «Я, Василий, – враз посерьезнев лицом, сказал дед Герасим, – так своим стариковским умом думаю, что жизни надо бы рацпредложение внести. Вот, к примеру, что такое жизнь? Жизнь – это песочные часы. (Васька видел песочные часы в кабинете у фельдшера). Ну так вот! Родился человек, а жизнь эти часы раз – и вверх тормашками – потекла струйка, и, тряси не тряси ее, а сколько отпущено, столько и будет. Кончится песок, время, значит, и тебе туда – в долгий ящик. Ну это дело ясное. Не родиться нельзя, и умереть тоже. Тут природа, против нее не попрешь. Но заметь – время-то людям неодинаковое дается. Иной раз посмотришь: какая она, жизнь, дурная. Самой что ни на есть последней сволочи столько лет отгрохает, что только диву даешься, а хорошему человеку – с гулькин нос. Так я вот думаю: кончается, к примеру, в твоих часах песочек, собрал что-то вроде общего собрания, обсудили. Хорошо жил – досыпать. Жил по-сволочному – хрен тебе, помирай, как жил – по-сволочному...»

– Эй, Тюлькин! Васька! Да ты оглох, что ли? – раздался зычный голос.

Васька вздрогнул. Обернулся. Возле огромной кучи дров, на чурбаке, вытирая кепкой скуластое лицо, сидел Тихон, бывший Васькин бригадир.

– О чем задумался? – щуря и без того узкие глаза, с усмешкой поинтересовался Тихон, пожимая Васькину руку, и, поставив на попа первую подвернувшуюся чурку, хлопнув по ней широкой и крепкой, словно валочная лопатка, ладонью, пригласил:

– Садись, Василий!

– Халтура? – кивая на чурки, спросил Васька.

– Ага, халтура, – хмыкнул Тихон. – А вон и хозяин идет, – кивнул он в сторону вышедшей из калитки жены. – Глянь, как глазищами-то зыркает. Счас к нам подойдет.

– Здравствуйте, – не в меру ласково пропела жена Тихона, пристально взглянув на того и другого. – Перекуриваете?

– Ты куда шла? В магазин? Вот и иди, – обронил Тихон. – У нас тут сугубо мужской разговор.

– О чем, если не секрет? – склонив голову, поинтересовалась жена.

– А все о том же, – недовольно буркнул Тихон.

– Пойду я, – неуверенно проговорил Васька. – Мне еще переводы разнести надо.

– Сиди, – обрубил Тихон, дернув за рукав.

– Скандала хочешь? – сузив глаза, спросила жена. – Устрою. Век не забудешь.

Тихон посмотрел ей вслед, удивленно сказал:

– Ну бабье! Как ни жена, так самый что ни на есть квалифицированный сыщик: что да почему? А по кочану да по капусте, – неожиданно взорвался он.

– У тебя еще ничего, – вспомнив Аглаю, примирительно сказал Васька. – С твоей еще жить можно.

– Держи карман шире – можно! Чужая жена всегда лучше своей, – и, оглядевшись, шепотом: – Выпить хочешь? Не могу один – хоть тресни.

Васька замаялся. Выпить ему хотелось, но сказать об этом вот так, прямо, было неудобно.

– Ты что как девчонка, – рассердился Тихон. – Хочу, не хочу, да мамка не велит.

– Давай, – уронил Васька.

Тихон подмигнул. Косясь в сторону магазина, отбросил несколько чурбаков и извлек на свет бутылку, стакан и пару кусков хлеба,

завернутых в обрывок газеты, поманил пальцем. Плеснув в стакан немного водки, сполоснул от опилок, наполнил:

– Давай!

– Много, – слабо запротестовал Васька, принимая стакан. – Развезет меня. Жарко.

Тихон выругался.

– А-а, – Васька махнул рукой.

Едва они успели сесть на старые места, как появилась жена Тихона. Поравнявшись с ними, она презрительно скривила губы и, вскинув голову, прошла мимо.

– Рассердилась, – сказал Васька.

– Ночь помирят, – равнодушно отозвался Тихон. – Впервой, что ли.

Некоторое время сидели молча. Тихон, поглядывая на Ваську, жадно курил, порывался несколько раз что-то сказать, спросить о чем-то, но замолкал на полуслове.

– Слушай! А как там, в лесу? – с напускным безразличием спросил Васька, ковыряя ногой большую березовую щепку.

– В лесу-то? – оживился Тихон, словно только и ждал этого вопроса. – В лесу нормально. Делянку нам дали. Не делянка – золото. Лес – один к одному, и никакого подсада.

«Верно, его лес у диспетчерской стоит», – подумал Васька.

– А вот чокеровщик у меня хреновенький. Еле шевелится. Ходит, словно в штаны наклал, а другого не дают, – продолжал Тихон, искоса поглядывая на примолкнувшего Ваську. – Слушай! Я поговорю с начальством, так ты того, не откажешься?

– Не знаю, – неуверенно протянул Васька.

– «Не знаю». Я, что ли, знаю или, может, теща моя знает? – раздраженно сказал Тихон и, прищурившись, с издевкой: – Или ты у Аглаи разрешения должен сначала спросить?

Шедшие мимо женщины остановились.

– Что? Интересно? – взорвался Васька, чуть не подпрыгивая, и, круто обернувшись к Тихону, выкрикнул: – Ты думай, что говоришь! Что мне Аглая? У меня самого голова есть!

– Какая у тебя голова, – пренебрежительно сплюнув, уронил Тихон. – Голова! Была б голова, мужской работой занялся бы, а то старушечьей.

– Тебе б этак навернуло, – выкрикнул Васька, петушком наскაკивая на Тихона. – Ты б не только в почтальоны, уборщицей бы пошел.

Стоявшие в отдалении женщины фыркнули. Верно, представили, как дородный Тихон, стоя на коленях, моет пол.

– Это я-то пошел? – краснея и недобро усмехнувшись, переспросил Тихон, но, сдержавшись, пренебрежительно махнул рукой и вразвалочку, не оглянувшись на Ваську, направился к избе.

Проводив взглядом Тихона, Васька плюхнулся на чурбак, закурил и, цыкнув на баб, зашагал к Шматько, широко размахивая руками, не глядя по сторонам.

– Ишь ты, – бурчал он. – «Спроси у Аглаи». Сам у своей спроси. Друг называется. «Старушечья работа». Работой попрекнул. В нашей стране любой труд почетен. Понял! – он ткнул кукиш в сторону Тихоновой избы.

Шматько стоял у калитки, курил. При виде Васьки оживился и даже сделал что-то наподобие улыбки на гладком, тщательно бритом лице с толстыми, вялыми губами.

«Меня ждет, – подумал Васька, нащупывая в кармане перевод. – Ишь расплылся – шире некуда».

– Здравствуйте, Василий Егорович, – слащаво протянул Шматько, когда Васька подошел. – Переводик есть?

Шматько работал пилоправом. Работа эта занимала часа по два утром и вечером. Остальное время Шматько проводил в своем дворе, по хозяйству.

– Был, – неожиданно для самого себя бухнул Васька. – Был да сплыл!

– Как это был да сплыл? – растеряннo спросил тот.

– А вот так! – чувствуя, как наполняется тугой злостью к этому откормленному бугаю, потерявшему всякую человеческую совесть, разведя руки, с улыбкой проговорил Васька. – Я его обратно отправил.

– Шутишь, – скривился Шматько.

– И не думал. Мне Дашка как дала перевод, так я сразу на сумму посмотрел. Гляжу, а он всего лишь на десять рублей. Ну я и подумал, неужто наш передовой рабочий товарищ Шматько на такую

сумму позарится, да и от кого, от матери? Вот и отправил обратно. А что? Неправильно сделал? – Васька изобразил озабоченность на лице и серьезно спросил: – А может, ты на эти деньги хотел в столовой отрубей для своих поросят купить? Ну, тогда извини!

– А в морду хошь? – выдавил Шматько, схватившись за штакетник так, что побелели пальцы, и, придвинув к невозмутимо стоявшему Ваське лицо, прошипел: – Дай перевод, не то...

– Я кричать буду, – предупредил Васька. – Знаешь, как я кричать умею? Показать?

Шматько отшатнулся. Играя желваками, посмотрел на Ваську и, неожиданно улыбнувшись, проговорил:

– Ты, почтальонша, в чужой огород нос не суй, а то ноги повыдергаю. Почтальонша... – повторил он и, презрительно сплюнув, зашагал к избе.

Васька замер.

– Какая почтальонша? – пробормотал он. – Мужик я. Не видишь, что ли?

Но Шматько, хлопнув дверью, скрылся в избе.

Растерянно оглянувшись по сторонам, Васька медленно запеступал вдоль улицы, не отвечая на приветствия, провожаемый удивленными взглядами встречающих, никогда не видевших Ваську в таком плачевном состоянии.

Обычно, если случались переводы в общежитие, Васька добирался до него дворами, минуя свою избу, где из окна его могла увидеть жена, а тут забыл. Вспомнил, когда крепкий голос резанул по ушам, заставил остановиться.

– А ну домой! – стоя на крыльце и уперев руки в бока, кричала Аглая на всю улицу. – Что стоишь как истукан? – И, видя, что муж не двигается с места, решительной походкой направилась к нему.

Набычившись, сунув руки в карманы, Васька молча смотрел на приближавшуюся жену.

– Чего орешь? – процедил он, сжимая в карманах кулаки, и, срывая голос, закричал: – Чего орешь, спрашиваю! Ишь, варежку разинула. Я тебе кто? Кто, я тебя спрашиваю?

Аглая отступила. Прижала руки к груди.

– Муж я тебе или не муж?! Что молчишь?

– Муж, – растерянно пробормотала Аглая, не сводя с Васьки не столько испуганных, сколько удивленных глаз.

– А раз муж, заруби себе на носу, – четко и ясно сказал Васька, – еще раз заорешь, такой скандал сделаю, что заявление участковому сядешь писать. Поняла?

Аглая молчала.

– Поняла? Я тебя спрашиваю! – фальцетом выкрикнул Васька.

– Поняла, – выдохнула Аглая.

– А теперь домой иди, – сказал Васька. – Приду, поговорим, – и, не взглянув на жену, медленно зашагал в общежитие.

– Что это с ним? – прошептала Аглая, глядя вслед, и, то и дело оглядываясь, пошла к избе.

– Ишь, привыкла орать, – бубнил Васька, остывая. – Нашла козла отпущения, овечку бессловесную...

В длинном коридоре общежития было тихо, прохладно и пахло свежестью от недавно вымытого пола. Васька постоял у стенгазеты, прочел ее от начала до конца. Наклонив голову, долго разглядывал рисунок, на котором был изображен мужик, обнимающий бутылку водки размером с добрую сосну, и елка, которая, выставив непомерно длинную лапу, показывала мужику дорогу назад, к поселку, и надпись: «Лес таких не любит».

– Все верно, – произнес Васька. – Пьяному работать – в лесу все равно что заранее в гроб ложиться.

Он сунулся в одну дверь – заперто, в другую, третью, и лишь самая крайняя покорно отворилась.

На койке с книгой в руке лежал молодой длинноволосый парень. Он приподнялся. Впросительном поглядел.

– Снегирев ты будешь? – спросил Васька, усаживаясь на усыпанный табачными крошками табурет, и, наливая в стакан из графина воду, добавил: – Ежели ты, то тебе перевод, ежели нет – тогда ку-киш без масла.

– Я! – повеселев и сбросив ноги с койки, ответил парень.

– Паспорт?

Парень порылся в тумбочке, достал паспорт. Васька, морща нос, тщательно просмотрел его, наконец, сунув между страницами перевод, как делала Дашка, протянул парню.

– Где работаешь? – поинтересовался, глядя, как парень переодевается.

– На верхнем складе, – отозвался тот. – В Тихоновской бригаде.

– Заместо меня, значит.

– Так это тебе зубы выбило?

– Дяде! – сердито отозвался Васька.

Парень почесал затылок, посмотрел на Ваську:

– Так, значит, не исключено, что и мне перепасть может?

– Любому может, ежели не о работе думать будет. Как работа?

– Дрянь! Не работа – ад кромешный. Ну ее к лешему, эту работу.

– Трудно, – усмехнулся Васька.

– Легко, – съязвил парень. – Вот тебя бы туда. Работа... Нет уж, я ждать не буду, когда без зубов останусь. Они мне еще самому нужны. Вот неделю отработаю и подамся, как и ты, на что полегче. Верно?

Парень подмигнул.

– Струсил?

– А то ты нет?

Васька отвернулся. Закурил. Сделал пару затяжек и, ожесточенно тыкая папиросу в консервную банку, служившую вместо пепельницы, сказал:

– Ты вот что, завтра утром топай к начальнику. На твое место другой человек встанет. Все уже обговорено.

– Не ты ли?

– Может, и я.

– Остальные потерять хочешь? – открывая дверь, насмешливо спросил парень.

– Можешь себе представить, хочу. Ну просто спасу нет, как хочу! – выкрикнул Васька. – Ты даже не представляешь, как хочется.

Парень с удивлением смотрел на него и, закрывая дверь, безразлично протянул:

– Каждый по-своему с ума сходит. А по мне, где бы ни работать, лишь бы не работать. У меня вся жизнь впереди, наработаюсь еще до отрыжки...

Васька постоял. Прислушался. Вышел на крыльцо. Поселок жил. Жил и лес, что обнял его, бережно защищая от дурных ветров. Пах-

ло хвоей, смолкой. Высоко в небе светило солнце. Слышался стук топора, крики малышни, и Васька, млея от всего этого и вроде беспричинно улыбаясь, зашагал к Тихону.

Тихон рубил дрова. Груда белых поленьев громоздилась рядом.

Ваську Тихон заметил еще издали, но не подал виду. Только колоть начал с еще большим усердием.

– Помочь, может? – спросил Васька, подойдя.

– Без сопливых обойдемся, – буркнул Тихон. – Иди вон лучше почту разноси.

– Не почтальон я больше, – отозвался Васька, садясь на чурку.

– Да-а?! – удивленно протянул Тихон, недоверчиво посмотрев на Ваську.

– Ты... того... Завтра я на работу выхожу. В лес. Возьмешь? – глядя вдоль улицы, спросил Васька.

– Поумнел, значит, – удовлетворенно сказал Тихон, садясь рядом.

Васька улыбнулся. Встал и, взяв топор, принялся рубить дрова, с удовольствием крикая после каждого удара.

– Васька! Глянь! – прошептал Тихон.

Васька обернулся. Со стороны магазина, рядышком, шли к ним Тихонова жена и Аглая.

– Ишь, глазищами-то зыркают, ишь, зыркают, – рассмеялся Тихон и, подмигнув Ваське, посматривая на приближающихся женщин, стал что-то быстро говорить ему. На лице Васьки появилась хитрая, все понимающая улыбка.

ЛОПУШОНОК

Утро только принялось вычерпывать ночь. В избе серо, зябко. Окно в маленькой комнатухе распахнуто. Хорошо слышно, как неподалеку невесть над чем тихохонько смеется речка Вичка, как, стряхивая с ветвей остатки прошедшего ночью дождя, шелестит осина, как в соседнем дворе о чем-то своем тяжело вздыхает коро-ва, как глухо звякает ботало.

Сашка Лопушонок – деревенский пастух – лежит на кровати, до

подбородка укрывшись одеялом, лицом к висящим на стене часам с большим золотистым маятником, который, цапая скудный уличный свет, деловито роняет: тик-так, тик-так.

– Тебе – мне, тебе – мне, – насмешливо бормочет Сашка, на ощупь отыскивая на табурете курево и спички. – Себе, небось, килограмм отвешиваете, а мне дак сто граммов. Ревизора на вас нет.

Закурив, вслушивается в самое себя, стараясь определить, какое у него сегодня настроение. Он давно пытается и никак не может понять, откуда оно берется, это настроение, от чего зависит? Иной раз и погода пакостная, и день обещает одни неприятности, а настроение – мармелад. А другой раз и погода отличная, и впереди все хорошо да ладно, а настроения нет. Нет – и все тут, хоть плачь.

Сегодня настроение нормальное. Сашка сладко потягивается, встает и, как есть, в трусах и майке, переставляя длинные кривые ноги, подходит к окну. Он смотрит на деревянный мосток, щедро заросший травой луг, лес, небо, по которому плывут пухлые облака. «Надежное небо», – удовлетворенно думает он, направляясь в кухню.

Включив электрический чайник, с вечера наполненный водой, натягивает штаны, закидывает в карман полотенце, сует босые ноги в кирзовые, давно не чищенные сапоги и, громокая ими, выходит из избы.

Деревня еще спит. Калитки заперты. На окнах занавески. Тихо.

«Блюк!» Сорвалась и упала с щетинистой крыши в разлегшуюся у самой завалины лужу полновесная капля. Вздогнули, заколебались опрокинутые в воду пушистые облака, изба, осина, а на месте капли – глубокая ровная ямка, которая в тот же миг вспучилась зеркальным пузырьком. Короткое молчание, негромкое «чмок», и – нет его, круги только. Тишина, и снова – «блюк!».

– Вот тебе и «блюк!», – весело говорит Сашка, потирая ладонями покрывшиеся мурашками плечи, грудь. – «Блюк» – и все дела! – Сойдя с крыльца, кричит во всю ивановскую: – Старшина-а?!

Из стоящей рядом с избой конуры неохотно вылезает здоровенный рыжий пес. Сашка выменял его еще щенком на финскую блесну «профессор». Морда у пса самая что ни на есть продувная.

– Небось, опять всю ночь со знакомой лайкой прошлендал? –

Сашка шутливо треплет его за вислое ухо. – Ну, что молчишь? А довела-то она тебя... – он качает головой. – Не бока, а стиральные доски.

Пес шумно вздыхает. Капля влаги, повисшая на самом кончике носа, дрожит.

– Сопли вытри, ухажер! – насмешливо роняет Сашка, направляясь к калитке.

Сашке тридцать с небольшим. Живет один. Родители померли, сестра Тася уехала учиться в город, а жена Нюрка, бойкая на язык и решения, прожив немногим больше года, укатила с каким-то заезжим в неизвестном направлении, оставив записку: «Не ищи. Надо будет – сама найдусь. Твоя Нюрка», а вскоре прислала телеграмму: «Дай развод». Сашка дал.

Изба его, если въезжать в деревню со стороны города, стоит первой. Небольшая, еще довольно крепкая, она одним окном смотрит в сторону города, двумя другими – на речку Вичку, четвертым – на деревню. Слепой стороной жметя к густому березняку.

Рядом с избой обширный, но лишь на треть засаженный картошкой огород, сарайка и собачья конура. У крыльца частокол удочек с болтающимися лесками. Вокруг всего этого хилый забор с калиткой. На калитке самодельный почтовый ящик, в который время давно уже ничего, кроме пыли и атмосферных осадков, не опускает. Правда, года три назад смилостивилось, положило от сестры тонкий белый конверт, где лежали приглашение на свадьбу и небольшой листок бумаги, заполненный торопливыми словами извинения за долгое молчание, мольбой выслать денег (сколько сможешь), а в самом конце, так, как бы между делом, – вопрос о его здоровье, жизни.

Деньги Сашка выслал в тот же день, вот приехать на свадьбу не смог – приболел. Выздоровев, отписал, что живет нормально, что по причине болезни под названием аллергия работает уже не трактором, а пастухом. Просил прощения за свое отсутствие на свадьбе, просил писать, но ответа ни на это, ни на все последующие письма не было. Несколько раз хотел съездить, да обида отговаривала.

...С дороги к речке сбегает тропинка, заросшая по обеим сторонам подорожником. Тропинка скользкая от дождя, и Сашка спускается по ней боком.

Берег усыпан крупным желтым песком. Он влажно скрипит под ногами.

Присев на корточки у реки, Сашка бросает в продолговатое, темное от загара лицо несколько пригоршней прохладной, пахнущей камышом воды, вытирается и садится на борт вытащенной на сушу лодки.

Вокруг загадочно. О чем-то негромко рассказывает притихшим берегам речка. Изредка всплеснет рыба. По небу, отражаясь в реке, плывут облака. Их много, они разные, но все плывут в одну сторону, туда, где рождается новый день.

Тихо. И вдруг со стороны деревни раздается тугое, частое хлопанье крыльев, и нараспашку развеселое «Ку-ка-реку!» разносится по всему белу свету.

Сашка щурит темные, похожие на семечки глаза, широко улыбается и шагает обратно.

Вскоре он пьет горячий, щедро заваренный чай. Пес жадно глотает из большой алюминиевой миски. В избе мягкий полумрак. Тикают часы. Остывая, добулькивает в чайнике вода.

Опорожнив кружку и наполнив ее снова, Сашка выходит на крыльцо, садится. Пес, положив морду на вытянутые лапы, устраивается рядом.

– Вымокнем мы с тобой сегодня от и до, – говорит Сашка, дую в кружку. – Это как пить дать. Когда еще солнце остатки дождя слижет.

Пес вертит хвостом и вдруг настороженно поднимает морду, рычит. Со стороны мостка слышатся размеренные, чавкающие шаги, вскоре из-за угла избы появляется плотный мужчина в длинном болоньевом плаще, в заляпанных грязью резиновых сапогах, держа в руке небольшую корзину, наполненную тускло отсвечивающей рыбой.

Это Игнат Безмен. Изба его, спрятанная за высоким, без единой щели забором, на воротах которой нарисована зверская морда то ли собаки, то ли Змея Горыныча, стоит на противоположном конце деревни. Увидев Сашку, он, не сбавляя шага, поворачивает к избе. Подойдя, бережно ставит корзину на землю, садится на завалинку, небрежно роняет:

– Здорово!

– Ну, здорово, – неохотно отзывается Сашка, глядя в сторону.

– Солнца ждешь? – Безмен с нескрываемой насмешкой смотрит на него. – Думаешь, что без тебя оно не появится?

– А тебе не все равно? – отрывисто говорит Сашка, по-прежнему глядя в сторону.

– Да как тебе сказать... – Безмен пожимает плечами, оглядывает двор, хмыкает.

Некоторое время сидят молча.

«И какого черта припелся? – с неприязнью взглянув на него, подумал Сашка. – Топал бы своей дорогой. Куркуль хренов!» – и, вспомнив вчерашнюю встречу с его женой, хохотнул.

Безмен вопросительно посмотрел на него:

– Ты чего?

– Жену твою вчера в магазине видел. Вечером.

– Ну-у, – настороженно протянул Безмен, не отрывая глаз от Сашкиного лица.

– Смешно, – Сашка достал из кармана пиджака папиросы. – В ушах золото, на руках золото, платье переливается, а чулки белыми нитками зашиты. Бабы, так те, глядя на нее, зафыркали даже.

– А тебе какое дело до того, как моя жена одета? – процедил Безмен, играя желваками. – Впрочем... – он не договорил, сплюнул и ехидно: – У тебя и такой нет. Удрала.

– Ну и черт с ней, – равнодушно проговорил Сашка, – Значит, не жена и была. Найду еще. Женщин много.

– Да кому ты такой нужен, – ухмыльнулся Безмен. – Бабе нужен мужик такой, чтоб работал, а не на солнце пялился. А-а, да что с тобой говорить, – и он, взяв корзину, тяжело зашагал к калитке. Выйдя за нее, остановился: – Вчера в городе был, Таську видел. Привет тебе передавала. Сказала, что на днях приедет, – и завистливо: – Хорошо устроилась девка, с умом. Три года замужем, а уже кооперативная квартира, машина. Не чета тебе... Бывай.

Некоторое время Сашка молча смотрит на носки сапог, затем возвращается в избу, подходит к окну.

Из окна виден край густого березняка, где он перед женитьбой тайком от всех мечтал о том, как будет жить с Нюрой, сколько будет у них детей... Но жена ушла...

О жене Сашка думал равнодушно: ушла да и ушла. Правда, порой сердце царапали воспоминания – не такая и плохая она была. Только уж больно много любила вертеться перед зеркалом, да по делу и без дела склоняла соседей. И склоняла-то с какой-то нездоровой злобой и наслаждением. Ну да Бог с ней. Что уж теперь-то ругать. Может, ей сейчас не больно сладко живется.

Когда он снова вышел на крыльцо, деревня уже проснулась. Слышались скрип калиток, звяканье ведер, немного раздраженные голоса.

Выглянуло солнце. Мягким светом заблестели свернувшиеся калачиком на листьях подорожника, крапивы капли воды, и даже лежащий у забора увалень бульжник принял эдакий самодовольный вид.

От избытка чувств Сашка садит ногой по лежащей на крыльце консервной банке. Та, описав серебряную дугу, ухает в картошку. Выйдя за калитку, засовывает руки в карманы пиджака и неторопливо шагает по улице. У соседней избы останавливается. Дверь стоящего в глубине двора хлева распахнута.

– Бабка Настена-а! – кричит он. – А-у! Где ты там?

– Тута я, милый, тута! – раздается старческое, торопливое. – По-годь малость.

Вскоре из хлева, тяжело ступая, выходит комолая, черная как головешка корова. Следом, похлопывая по ее литому боку темной ладошкой, идет бабка Настена. Голова ее, повязанная цветастым платком, чуть виднеется над коровьим хребтом. На старухе серое длинное платье, зеленая кофта, шерстяные носки с галошами.

За калиткой корова косится на собаку выпуклыми глазами, вытягивает морду, и нутряное, густое, как тепловозный гудок, «му-у» разносится над деревней.

– Не «му-у», а с добрым утром, – улыбается Сашка и шутливо: – Невоспитанная она у тебя, бабка Настена.

– А уж какая ни на есть, – вздыхает та.

– Что снилось-то?

– А разное, милый, разное. Старик мой снился, – она прижимает кончик платка ко рту, задумывается.

– Так, говоришь, замуж собираешься? – нарочито озабоченно спрашивает Сашка.

– Чево? – моргает Настена.

– Замуж, спрашиваю, собираешься? – повторяет Сашка. – Дело это, как я думаю, для жизни необходимое, годиков тебе еще мало.

– Какой там мало, – отмахивается Настена, вздохнув. – На Ивана Купалу семьдесят шесть...

– До ста еще много осталось, – перебивает Сашка, склонив голову к плечу.

– А, да ну тебя, – хихикает та, пряча улыбку за ладошкой.

– А чего ж тогда по вечерам у окошка сидишь? А? Небось, старичка присматриваешь?

– Сижу, Саша, сижу, – Настена снова вздыхает. – Жду, может, зайдет кто ко мне, старухе, слово доброе скажет. А все мимо да мимо.

Замолчали. Улица наполнилась мычанием коров, звонкими головами.

– Дети-то пишут? – нарушает молчание Сашка.

– А то как же! – Настена светлеет лицом. – Давеча вот от старшего получила, – она порылась в карманах кофты, протянула вдвое сложенный листок. – Отписывает, что скоро придет.

– А это что? – Сашка показывает на расплывчатые пятна на бумаге.

– Это я, Саша, всплакнула малость, – просто объясняет Настена.

– Хорошее письмо, а ты – плакать, – укоризненно говорит Сашка, покачивая головой. – Радоваться надо.

– Так ведь не только от горя плачут. От радости тоже ой как хорошо плачется. Поплачешь – и как душу умоешь. Мой-то старик ни в жизнь не плакал – вот сердце и устало. И ты, Саша, нет-нет и поплачь.

– А мне-то зачем? – удивился Сашка, возвращая письмо. – У меня все нормально.

– Ой ли? – качает головой Настена. – Вижу я, как ты маешься, как в березняк ходишь. А все петухом, петухом. А люди-то, они все видят. Глазастые они, люди-то.

– Пойду я, бабка Настена, – говорит Сашка, глядя в сторону. – Пора мне.

– А иди, милый, иди, – кивает та. – За кормилицей моей приглядывай.

– Приглажу.

– Ну, иди с Богом, иди. – Настена крестит удаляющуюся Сашкину спину частым мелким крестом и семенит к избе.

Сашка идет, глядя под ноги.

– Ишь ты, глазастые, – бормочет он, и оттого, что они глазастые, ему хорошо. – Старшина-а! – орет он на всю деревню. – Где порядок? Почему порядка не вижу?

– Так они у тебя скоро строевым потопают! – раздается насмешливое.

Сашка оглядывается. У калитки на скамейке сидит Генка Лютиков, его давний друг. Выражение его лица кислое.

– Здорово, – говорит Сашка, садясь рядом. – Почему невеселые?

– А-а, – тот вяло машет рукой. – Со своей симпатичной вчера поругался. Да и было бы из-за чего, а то... Дай закурить. А сегодня и глаза-то толком не успела продрать, а уж пилить начала, – хмуро говорит Генка, разминая папиросу. – Словно я ей бревно. И что за бабы? Им только повод дай – из мухи слона сделают.

– Чего не поделили-то?

Генка прикурил, сплюнул и раздраженно:

– Сидим, понимаешь, вчера вечером у магазина, продавщицу ждем. Бабы на завалине, мы, мужики, на пустых ящиках из-под вина. Ну, слово за слово, разговор семейной жизни коснулся. А бабы, сам знаешь, когда дело об их роли в семейной жизни заходит, насмерть стоят. «Не вы нас, кричат, а мы вас поддерживаем! – Генка, передразнивая их, всплеснул руками. – Если б не мы, вы бы давно со света сгинули». Дальше – больше. Меня, естественно, зло разобрало. Жена, говорю им, это вроде как профессия, и что не всякая жена любимая. – Генка вздохнул. – И чего я по сторонам не посмотрел? Там-то моя только глазищами зыркнула, а дома такую характеристику выдала, что меня на том свете не то что в рай, в ад на пушечный выстрел не подпустят.

Сашка рассмеялся.

– Смешно ему, – ворчит Генка, вдавливая окурочку в край скамьи. – А тут хоть плачь. Она же не меньше недели с надутыми губами ходить будет.

– Объяснил бы.

– «Объяснил», – передразнивает тот. – Ты что, мою Лидку не знаешь?

Сашка смотрит на избу друга, спрашивает:

– Мартын-то как поживает?

– Мартын? – широкое с носом пуговкой лицо Генки расплывается в хорошей улыбке. – Мартын у меня дело знает: спит, пишет, ну и все остальное. Во парень растет! – он поднимет большой палец. – Подрстет – девки за ним табунами бегать будут.

Сашка вздыхает, смотрит на часы:

– Пойду я.

– Вечером зайдешь? Может, Лидка того, расщедрится.

– Ладно.

Сашка идет не спеша. Коровы дорогу знают, а если подзабыли – Старшина напомним.

Лужи в золотистых каемках. Каждая кажется глубокой и чистой, как светлая ламбушка. Иногда в какой-нибудь начинает плавиться солнце, и тогда прямо в лицо выпрыгивает теплый солнечный зайчик.

Впереди Сашки бровкой дороги, без всякого настроения передвигая ноги, идет невысокий мужчина. Рубашка неряшливо заправлена в широкие брюки, на большой голове – пятачком выцветшая тюбетейка. Это Мишка Щавель по кличке Ура. Кличку он получил несколько лет назад после возвращения из армии. Пошел купаться, стал тонуть и, вместо того чтобы, как все добрые люди в таких случаях, кричать «Спасите!», верно, с перепугу заорал «Ура!».

Сашка прибавляет шаг, окликает его. Тот неохотно останавливается, бурчит:

– Чего тебе?

– Двое – не один, – весело говорит Сашка, подходя. – Куда направляешься?

– А все туда же, – угрюмо говорит тот и через несколько шагов: – Трактор заглох. Чтоб ему... А бригадир тут как тут. Работать не умеешь, кричит, гнать таких надо.

– Чего заглох-то?

– А черт его знает! – хмуро отвечает тот. – Заглох, да и все. У него же не спросишь. Железо, оно и есть железо.

– Далеко стоит?

– Вон маячит, – Мишка ткнул рукой в сторону раскинувшегося по другую сторону реки поля. – Завести сможешь?

– Помогу.

Мишка веселеет лицом.

Подойдя к трактору, Сашка с удовольствием вдыхает запах солянки, обходит вокруг него, спрашивает:

– Топливо есть?

– Вчера утром заправлял.

– Как глохнул-то? Медленно или сразу?

– Медленно. Я на газ, а он...

– Ясно, – перебивает Сашка. – Дай ключ на девятнадцать.

Отсоединив топливную трубку, шедшую от топливного бака к подкачивающей помпе, смотрит на Мишку:

– Видишь, топливо не поступает.

Мишка чертыхается:

– Тьфу ты! И кой леший до меня этот пустяк не дошел?!

– Бывает, – машет рукой Сашка и, подавая ключ, замечает: – Движок бы вымыл, а то смотреть тошно.

Мишка морщится:

– Вымою при случае.

Пастбище за полем у реки, напротив деревни.

Когда Сашка пришел, коровы паслись, а Старшина, вывалив мокрый язык, тяжело дыша, лежал под развесистой березой, в тени.

– Устал, дружище? – ласково спрашивает Сашка, поглаживая пса. – Ну, отдохни, отдохни. Сахару хочешь? – он достает из кармана замызганный кусок сахара, сдувает с него прилипшие крошки табака. – На. Жуй.

Взглянув на коров, идет к речке, садится на выброшенное водой бревно, лицом к деревне. Она как на ладони. Над крышами изб, над сбегающими к речке тропинками поднимается золотистый парок. Деревня до щемящей нежности проста и красива.

«Дура Таська, – думает он, глядя, как речка нетерпеливо тербит забежавшую в воду травинку. – Как есть – дура. Эка невидаль: квартира, машина. Отдыхать-то, поди, сюда приедет».

На поле рыкнул и удовлетворенно зарокотал трактор, застрекота-

ла сенокосилка. Сашка ложится на песок, заложив руки за голову, смотрит в далекое небо, слушает речку, размеренное позвякивание ботал и незаметно для себя засыпает.

Будит его ленивый лай собаки. Берегом реки, держа в руке узелок, идет Виталька, сын Лизы Степанковой, молодой, но уже вдовой женщины. Муж ее, здоровенный, крепкий мужчина, никогда раньше не болевший, умер от пневмонии. Виталька большеголов, белобрыс. На нем закатанные выше колен штаны, рубашка расстегнута до пупа.

– Здравствуйте, дядя Саша, – степенно говорит он, протягивая узелок. – Mamka прислала. Сказала, отнеси дяде Саше, – и он шмыгает носом.

– Спасибо большое. А я, брат, забыл зайти, – Сашка разводит руками. – Забыл – и все тут, понимаешь?

– Понимаю.

– Кушать будешь? – спрашивает Сашка, разворачивая узелок.

– Вообще-то можно, – Виталька пожимает плечами.

В узелке полулитровая банка сметаны, колбаса, хлеб, огурцы, соль.

– Это что, все мне? – растерянно спрашивает Сашка. Никто и никогда из деревенских не собирал ему такой щедрый узелок.

– Вам, кому же еще, – говорит Виталька. – Mamka его еще вчера собирать начала. Огурцы вкусные, – и он облизывает губы: – Я пробовал.

Сашка удивленно и растерянно смотрит на деревню, на Витальку, хочет что-то сказать, но, проглотив подступивший к горлу комок, выдавливает:

– Давай... налегай...

Виталька налегает. Сашка откусывает кусок хлеба, спрашивает, глядя в сторону:

– Папку помнишь?

– Не-а, – Виталька мотает головой. – Mamka помнит. На фотокарточку посмотрит и плачет. А чего плачет, ежели помер? Он же сам помер, его никто не заставлял.

Сашка грустно усмехается:

– Рыбу ловить будешь?

– Домой надо, – неохотно говорит Виталька. – Мамка сказала, чтобы я дрова сложил.

– А колотл кто?

– Мамка, кто же еще? – удивляется тот. – Она сильная. Только руки и спина у нее после болят.

«Еще бы не заболеть, – думает Сашка. – Тут и у мужика заболят, а у нее...»

– Так я пойду, – Виталька встает.

– Дров-то много еще колоть?

– Много. Во-о! – Виталька разводит руками. – А чурбаны – во-о!

– Скажи мамке, что завтра приду, помогу, – неожиданно для самого себя произносит Сашка.

– А мамка говорила, что хоть бы дядя Саша зашел подсобить.

– А не врешь?

– Вот еще. Была нужда, болело брюхо! – презрительно хмыкает Виталька и направляется к деревне, то и дело останавливаясь и пуская по воде блины.

Сашка смотрит ему вслед и надолго задумывается. Мысли разбегаются – не поймать, и все какие-то хорошие, радостные...

Незаметно подбирается вечер: темнеет в речке вода, запах трав становится гуще. Коровы лежат, жуют жвачку.

«Пора домой, – вяло думает Сашка. – Пора».

Он смотрит на свою избу. Она похожа на все остальные, но над ней нет голубого дымка над крышей. Дымка, который рождается от заботы о любимом человеке. Она кажется ему огромным серым валуном, невесть зачем принесенным и оставленным здесь временем, валуном, который согревается только снаружи, а внутри холоден до озноба.

Коровы идут тяжело. Налитое молоком вымя грузно, мешает идти. Мычанье наполняет деревню. Хозяйки разбирают своих коровилиц.

– Саша? – раздается сбоку.

Он оглядывается, удивленно поднимает брови. У калитки на выкрашенной в ярко-красный цвет скамейке сидит дед Филимон. На нем брюки галифе, начищенные сапоги, а на пиджаке ряд строго поблескивающих медалей. Во рту здоровенная, нещадно дымящаяся самокрутка.

– Здравствуйте, дед Филимон, – говорит Сашка, подойдя поближе. – Вы это чего сегодня при полном параде? Праздник какой?

Дед торопливо прижимает палец к губам, пугливо поглядывает на дверь – и заговорщически:

– Это я для старухи своей. Она меня шибко уважает, когда я в такой форме. Ругает меньше.

– А что случилось-то? – Сашка садится рядом с дедом.

Тот пыхнул самокруткой, снова оглянулся – и тихо:

– Ой, не говори, Саня. Дегустацию мы с Венькой Гореликовым произвели.

– Дегустацию? Какую еще дегустацию?

– Обыкновенную. Значит, так, – дед пошевелился. – Старуха мне давеча по случаю именин «маленькую» выдала, а сама лясы к Митрофанихе точить пошла. Сижу я, значит, смотрю на «маленькую», а как одному пить? Гляжу, Венька по улице идет. Ну, позвал я его, объяснил, в чем загвоздка... – дед снова оглянулся на избу, загасил самокрутку: – Слушай. Выпили мы ее. Мало. Венька в магазин, а на нем замок. Настроение у нас стало, как у коровы, что травы не нашла. И кто меня, дурака, надоумил вспомнить, что у старухи в чулане еще две «маленькие» стоят, – дед в сердцах хлопнул себя по острой коленке, – просто ума не приложу! Ну, выволок я их на свет божий, а на них одинаковые затычки и цвет один, а нутро разное – это мне старуха как-то по щедрости души сказала. В одной-то яд какой-то, то ль одежду чистить, то ль краску разводить, а в другой – водка, на зверобое настоящая. Понюхали мы их – запах один. Ну, Венька и предложил. Давай, говорит, мы эту самую дегустацию на барбосе произведем. Если помрет – судьба, не помрет – тоже судьба. Ну, поймали мы барбосину-то, пасть ему раззявили и столовую ложку из одной бутылки – туда. Стоим, смотрим, что с ним происходить станет. Сначала он мордой затряс, а потом стал такие кренделя выкидывать, что приходи смотреть – опьянел, значит. Ну, выпили мы ту бутылочку, сидим, разговариваем.

Смотрю я, а Венька весь побледнел и пальцем мне за спину тычет. Глянул я, а барбосина лежит на боку и никаких признаков собачьей жизни не подает. Мы уж его и за уши, и за хвост – никакого ответа, – дед глубоко вздохнул. – Мы с Венькой к фельдшерице на-

перегонки. В жизни так не бегал. И как добежал – Бог свидетель, не помню. А воды я там, Саня, выпил столько, что иной утопленник столько в себя не примет. Домой иду – покачиваюсь. Подхожу я, а барбосина из калитки выскочил и ну на меня гавкать. А тут и старуха подключилась, и уже в два голоса на всю деревню.

– А Венька? – Сашка вытер выступившие от смеха слезы.

– Венька-то? Венька как голос моей старухи услышал, так сразу в бега ударился. Да-а, – дед потер подбородок и недоуменно: – И чего барбосина сразу не лег?

За спиной протяжно скрипнула дверь, и на крыльце появилась бабка Дарья – толстая, медленная в движениях, но только не в словах.

– Филимон! – грозно зовет она. – А ну-ка подь сюда!

Сашка хочет встать, но дед торопливо хватает его за рукав, просит:

– Ты уж побудь, побудь. При тебе-то она, того, не очень.

– Здравствуйте, Дарья Степановна, – говорит Сашка, оборачиваясь.

– Здравствуй, Саша, здравствуй, – отвечает она, направляясь к калитке. Подойдя, спрашивает: – Слышал, что мой дурень отчебучил? На всю деревню опозорил, ирод несчастный! Ну погоди! Я тебе такую дегустацию устрою...

– Зря вы его ругаете, Дарья Степановна, – перебивает Сашка, стараясь не улыбаться.

– Как это зря? – изумляется старуха.

– Дегустацию эту и служебным собакам раз в месяц производят, для профилактики, так сказать. Ну что за жизнь у собак-то? Не жизнь, а одно расстройство. Вот им и дают водки маленько, чтоб поднять жизненный тонус, чтоб лаяли громче. Это я и посоветовал деду Филимону. Пес-то у вас громче лаять стал? Громче, Дарья Степановна. На другом конце деревни слышать.

– И то верно, громче, – неуверенно соглашается бабка, подозрительно глядя то на Сашку, то на мужа.

– Вот и я говорю, что громче, – роняет Сашка, поднимаясь.

– Ну, ежели так... Э-э... – бабка машет пальцем. – А куда ж тогда остальное с бутылки подевалось, а?

– Так ведь именины у деда были. А именины не каждый день случаются. Простить можно, чего уж там, Дарья Степановна.

– Я вот его прощу, – ворчит та. – Я не так прощу... – и улыбается Сашке из-за спины заметно повеселевшего деда.

Вскоре, выпив положенную кружку чая, Сашка сидит на крыльце, курит. В деревне тихо. Где-то далеко в лесу кукует кукушка. Справляют последние заботы дня люди и незаметно, изба за избой, погружаются в сон. Вечерняя зорька отгорела, до утренней еще далеко. Сашка спит. А на стене над календарем деловито тикают часы: так-так, так-так...

РЕЙС

Человек пришел вечером, когда на улице было темно, лил дождь, а Пашка Логинов, шофер городского автотранспортного предприятия, заложив руки за голову, лежал на кровати, смотрел на свисающую с потолка серую нитку паутины, тоскливо и безнадежно прикидывая, у кого бы занять денег – хотя бы десятку, потому что до конца командировки оставалось еще полных две недели, а в кармане – последний трояк, на который, перебиваясь с хлеба на воду, забыв о куреве, с трудом можно было протянуть неделю, но уж никак не больше.

Человек негромко, но настойчиво постучал в дверь, дождался ответного «Да! Войдите!», переступил порог, снял с головы черную широкополую шляпу и тихо сказал:

– Добрый вечер.

Пашка приподнял голову, посмотрел на него, неторопливо опустил ноги на пол и уронил:

– Здравствуйте.

Человек был стар. Редкие седые волосы, темное продолговатое лицо, изрезанное частыми глубокими морщинами, честно говорили об этом. На нем был болоньевый плащ, правый рукав которого был засунут в карман, и заляпанные грязью яловые сапоги. Дышал он часто и тяжело, словно после долгого, изнурительного бега.

– Прощу вас, присаживайтесь, – Пашка показал рукой на стоящий рядом с кроватью табурет.

– Благодарю вас, – человек устало опустился на табурет, поло-

жил шляпу на колени, провел ладонью по мокрому лицу, болезненно улыбнулся: – Извините... Отдышусь малость...

В комнате было тепло. Висящая под потолком электрическая лампочка щедро дарила свет.

– Вроде отошло, – немного погодя сказал человек и облегченно, но осторожно вздохнул. Помолчав, спросил: – Это ваша машина стоит у общежития?

– Моя, – настороженно отозвался Пашка, доставая из кармана сигареты. – А в чем, собственно, дело?

– Вы бы не смогли отвезти меня в город?

Это было сказано так легко и просто, словно ехать надо было не за шестьдесят километров, а за полста метров.

– Куда-а?! – удивленно протянул Пашка, думая, что ослышался.

– В город, – повторил человек. Пашка посмотрел в окно, за которым добросовестно лил дождь, на человека, хмыкнул и закурил.

– Мне очень надо, – негромко заговорил человек, глядя куда-то в угол. – Очень... Я хотел на рейсовом, да не успел, телеграмму принесли слишком поздно. А на попутку, сами знаете, надежды мало, да еще в такую погоду.

Пашка потер подбородок, посмотрел на стол, где стояла опорожненная банка кабачковой икры и лежал кусок хлеба, вспомнил про две недели командировки, вздохнул.

– Я вам уплачу, – проговорил человек. – Сколько скажете. Деньги у меня есть.

– В город-то зачем? – Пашка взглянул на него.

– Друга встретить надо. С войны не виделись. Воевали мы вместе.

Пашка посмотрел на пустой рукав плаща и торопливо отвел глаза.

– Отвезете? – спросил человек и надсадно закашлялся, прижимая ладонь ко рту. Лицо его покраснело, на шее вздулись вены.

– Подумать надо, – буркнул Пашка. – До города неблизко, а дорога... – он не договорил, махнул рукой.

– Дорога плохая, – согласился человек, вытирая платком губы, – но все же дорога.

Пашка встал и открыл окно. В лицо пахнуло влажной прохладой. Шум дождя стал громче. Ветер затеребил занавески. Серовато-жел-

тая полоса света легла на мокрую землю, лужи, кусты. В темноте, где-то рядом жалобно мякнула кошка.

– Ладно, – сказал он, закрыл окно и, помолчав, как бы успокаивая себя, добавил: – Но предупреждаю, если что...

– Мы проедем.

В голосе человека было столько уверенности, что Пашка невольно улыбнулся:

– Ваши бы слова да Богу в уши, – и, доставая из-под кровати сапоги, спросил: – Вам во сколько в город-то надо?

– К одиннадцати вечера, – торопливо сказал человек. – Поезд в это время прибывает.

Когда вышли на улицу, дождь с ветром психовали не на шутку. До непроглядно черного неба, казалось, можно было дотронуться рукой. Огни поселка были редки, и на улице, скудно освещенной фонарями, ни одного человека.

– Ну и погодка, – пробормотал Пашка, зябко передергивая плечами. – В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выпустит, а мы... – И, высоко вскидывая длинные ноги, прямо по лужам зашагал к машине. Человек пошел следом, чуть согнувшись, придерживая рукой шляпу.

Двигатель завелся с пол-оборота, словно давно и нетерпеливо ждал.

– Сколько я вам буду должен? – спросил человек, когда машина тронулась с места. – Вы не стесняйтесь.

Если случалось брать попутчиков, Пашка никогда не назначал цену – сколько дадут, и ладно, но одно дело подвезти километров двадцать по хорошей дороге, а тут...

– Дорога скажет, – буркнул он. – Хорошо доедем, без приключений – одна цена, ну а если...

– Я вас понял, – перебил человек. – Спасибо.

– «Спасибо», – пробурчал Пашка. – Сначала до города добраться надо, а уж потом спасибо.

– Доберемся, – спокойно проговорил пассажир, глядя прямо перед собой.

– Уверенный вы человек, – сказал Пашка и с треском переключил скорость. – Вот когда доедем...

– Без уверенности нельзя, – ответил тот.

– Ну-ну, – Пашка усмехнулся. – Это мы еще в школе проходили.

Две плотные темные стены леса, дышащие шумно и тяжело, встали по обеим сторонам дороги, когда выехали из поселка.

Пашка включил дворники. Они замотались из стороны в сторону, с трудом успевая смахивать воду. Затем включил фары. Два ярких столба света ткнулись в дорогу и, подвластные ее характеру, покорно затыкались то в глубокие, наполненные дождем колеи, то в мокрые, взъерошенные кусты, то в километровый столб, то в небо.

– Ну и дорожка, – процедил Пашка, когда машину снова изрядно трянуло. – Не дорога, а гроб с музыкой. По ней лишь на тракторах да танках ездить.

– Бывало хуже, – сказал человек, на ощупь отыскивая на полке упавшую с головы шляпу, но не отводя глаз от ветрового стекла.

– Это где же? – Пашка искоса взглянул на него.

– На фронте.

Пашка присвистнул:

– Вспомнили. Война, она когда была. За это время можно было все дороги в порядок привести.

– Страна большая.

– Это верно, – охотно согласился Пашка. – Громадина! Сдуреть можно, как представишь.

Человек чуть заметно улыбнулся.

Какое-то время ехали молча. Двигатель на одной рабочей ноте упрямо тянул от одного километрового столба к другому. По кабине, ветровому стеклу, капоту колошматил дождь.

«Сколько мне с него содрать? – думал Пашка, не отрывая глаз от ползущей под колеса неприветливой черной дороги. – Червонец? Маловато. Дорога ни к черту. Впереди ночь, а мне завтра на работу. Тридцать? Многовато... Но, в конце-то концов, в город ему надо, а не мне, да и деньги у него есть – сам сказал».

Пашка посмотрел на человека. Тот сидел, прижавшись спиной к спинке сиденья, полузакрыв глаза.

– А почему вы пришли именно ко мне? – спросил он, когда очередной поворот остался позади. – Других машин в поселке нет, что ли?

– Машины есть, да механик куда-то уехал, а без путевок не соглашаются. А вас я знаю. Вернее, видел. Вы в нашу деревню грунт возите на отсыпку дороги. Моя изба крайняя...

До деревни, куда Пашка возил грунт, было пять с лишним километров адской дороги. В сухую погоду она была как камень, и даже небольшой бугорок чувствовался на дороге, а в дождливую... лучше не вспоминать.

– И вы-ы от-туда пешком?! – недоверчиво протянул Пашка.

– Пешком.

Пашка отчетливо представил, как человек, с трудом вытаскивая ноги из вязкой грязи, в темноте и под дождем один идет среди леса.

– Досталось вам.

– Досталось. Это точно. Но ничего.

– А если б случилось что?

Человек усмехнулся:

– Если б...

Пашка опустил стекло, высунул руку. Дождь плотными кулачками забарабанил по ладони, наполняя ее прохладой.

Дороге, казалось, не будет конца: поворот, прямая, подъем, спуск, снова прямая, и по обеим сторонам лес, лес, лес.

Человек поднес часы вплотную к ветровому стеклу и в отсвете фар с трудом разглядел стрелки.

– Сколько натикало? – спросил Пашка.

– Сорок минут десятого... Успеем? – обеспокоенно спросил человек.

– Успеем, – отмахнулся Пашка. – Считайте, что больше половины одолели.

– Дай ты Бог, – выдохнул человек.

Пашка хохотнул:

– Нам Бог не попутчик. Мы и сами с усами! Нас сто тридцать лошадей везут.

Человек промолчал.

– А вы в каком роде войск воевали? – спросил Пашка.

– В пехоте.

– А страшно было там, на войне?

– Страшно.

Пашка удивленно хмыкнул, сказал:

– А вот к нам в школу, это когда я еще учился, фронтовик приходил. Так он сказал, что только в первые дни войны было страшно, а потом страх осилили.

– Страх можно преодолеть, но не осилить, – сухо сказал человек. – Он вам неправду сказал... А может, просто не подумал.

– Убивали?

– Да, – жестко обронил человек. – Убивал. Их нельзя было не убивать. Они не люди были. Зверье.

Пашка хотел спросить, где он потерял руку, но человек опередил, попросил устало:

– Не надо больше о войне, парень. Я и так ею по самые края наполнен... – А немного погодя спросил: – У тебя родители есть?

– Конечно. Не от святого же духа я родился, – Пашка пожал плечами. – У каждого человека есть родители.

– Счастливый ты... – глухо заговорил человек. – А мне довелось видеть мальчонку, который плакал, стоя рядом с убитыми отцом и матерью. Это там, в Белоруссии... Маленький такой мальчонка... чумазый... вихрастый, – голос у него дрогнул. – Он мне долго снился. Что с ним сейчас? Жив ли? Береги родителей, парень. Себя для них береги, а их – для себя.

– Я берегу, – пробормотал Пашка. – Чего там...

– А друг есть?

– Есть.

– Тогда у тебя все в порядке. Тогда ты счастливый. Я рад за тебя, – произнес человек и улыбнулся.

Впереди показались огни, затушеванные дождем. Они стояли недалеко друг от друга, словно боясь остаться в одиночестве.

– Уже недалеко, – облегченно выдохнул человек. – От этой деревни километров десять будет, да и дорога там асфальтированная. А время десять.

– Успеем, – уверенно сказал Пашка. – Самое трудное одолели.

«Сели», не доехав до огней немногим меньше километра. Зад машины скособочился сначала на одну сторону, затем на другую и резко осел. Свет фар уперся в небо.

Пашка чертыхнулся, выключил скорость и выпрыгнул из кабины. Грязь под ногами жадно чавкала. Ветер, пропитанный дождем, залезал за отворот куртки, в рукава, прижимался к телу. Пашка поежился, присев на корточки, заглянул под машину и выругался так, как это умеют делать шоферы в таких случаях. Прислушался. Где-то рядом, прячась за темнотой и дождем, тягуче и неприветливо шумел лес.

– И осталось-то совсем ничего, – зло проговорил Пашка, саданув ногой по скату. Посмотрел в сторону деревни, пробормотал:– Сходить за трактором? Пока дотопаешь, пока тракториста найдешь, пока... – сплюнул и растерянно оглянулся.

Хлопнула дверца. Раздались туго чавкающие шаги.

– Крепко сели? – спокойно спросил человек, подходя.

– Да уж крепче некуда, – раздраженно отозвался Пашка, поднимая ворот куртки. – Ладно б, хоть поближе к деревне, а то...

– Не бойсь, парень! Двое – не один. Не из таких передрыг случилось выбираться, да еще где – в поле, а тут лес рядом. А лес – он мужик свой. Он всегда поможет.

– А толку? – Пашка выругался. – Темень – хоть глаз выколи, дождь, ветер... Чтоб ему!

– Не скули! – резко сказал человек. – Среди мужиков это не принято.

Резкий порыв ветра вырвал рукав из кармана плаща, яростно рванул, словно стараясь оторвать.

Пашка вздохнул, тоскливо посмотрел в сторону деревни. Человек деловито запихал рукав в карман, хлопнул Пашку по плечу, весело сказал:

– А ты хвастался, что сто тридцать сил нас везут. Вот тебе и сто тридцать! – И озабоченно:– В общем, давай сделаем так: натаскаем из лесу еловых лап, еще чего. Подложим под колеса, а там видно будет. Одним словом, как бы там ни было, а прорвемся. Пошли! – и зашагал к бровке.

– Чего уж там, – пробормотал Пашка, шагая следом. – Я сам.

– Я тоже подсоблю, – сказал человек, не оборачиваясь. – Одна рука – это тоже рука.

Лес встретил неприветливо. Огромный и мрачный, он тяжело

раскачивался, словно собираясь в дальнюю дорогу. Высоко над головой, кажется, что в самом небе, шумели вершины.

Тщетно пытаясь спрятать лицо от колкой хвои, ощущая, как за шиворот словно из душа льется холодная вода, Пашка стал ломать еловые лапы. Человек был где-то рядом. Слышался треск сучьев под его ногами, тяжелое дыхание.

– Вот дьявол, – громко, но без раздражения уронил он. – Одной рукой не сломать. Знаешь что, ты давай накладывай мне на нее. Так вернее будет. Хорош! – и он, прижимая ветки рукой к груди, осторожно зашагал к машине.

Пашка пошел следом...

– Теперь должно хватить, – сказал он, когда принесли по четвертой охапке. – Садись за баранку и слушай меня. Значит, так. Сначала дай полный назад и сразу на тормоз, и держи так, пока не скажу. Понял?

Пашка кивнул, забрался в кабину, включил заднюю передачу, дал полный газ и, когда колеса забуксовали, резко нажал на тормоз, громко спросил:

– Ну как?

– Нормально, – послышалось из темноты. – Держи так. Я сейчас.

Пашка слышал торопливые шаги, кашель, удары по чему-то мягкому – видно, человек ногой вдавливал хвойные лапы под колеса.

– Теперь потихоньку вперед, но не буксуй. Так! Теперь снова назад и на тормоз. Молодец! А теперь дави вперед на всю железку! Давай... давай!

Мотор взревел, и машина через силу, но выкарабкалась на твердую дорогу. Свет фар вернулся на землю.

– А ты говорил! – надсадно дыша, но весело сказал человек, залезая в кабину. Лицо и рука у него были красные и грязные. – Двое – не один. Тут главное – не раскисать. А теперь, друг, жми. Должны успеть.

Едва они тронулись с места, как у горизонта из-за тучи выглянула луна. Свет ее был таинственный и добрый.

– Нет чтоб на полчаса раньше появиться, – проворчал Пашка. – В гостях засиделась, что ли...

– Чай, верно, с подружками сербала. Ишь, улыбается, – проговорил человек, снимая с головы мокрую, в грязи шляпу.

За деревней по асфальту машина побежала легко и охотно, жадно и нетерпеливо нащупывая светом фар километровые столбы.

Человек неожиданно глухо застонал, откинулся на спинку сиденья. Пашка надавил на тормоз, испуганно посмотрел на него:

– Вы чего?

Человек торопливо сунул под язык таблетку, немного погодя с извиняющейся улыбкой сказал:

– Двигатель-то у нас в груди не вечный. Он у меня в последнее время перебои давать начал... Спасибо, карманный медсанбат вручает. А ты давай потихоньку... Давай...

Впереди показалось зарево огней.

Перрон был черный. В лужах отражался свет фонарей. Народу было мало. Дождь кончился.

Стоя в стороне, Пашка видел, как из вагона вышел пожилой мужчина, как они сдержанно обнялись, замерли и стояли так, ни слова не говоря, пока не объявили отправление.

«Так он что, с нами не поедет? – изумленно подумал Пашка, когда мужчина поднялся на ступеньку вагона. – Он что, проездом? И мы из-за каких-то трех минут столько мучились?»

Пашка повернулся и пошел к машине. Нетерпеливо пофыркивая, она просилась в обратный путь. Сидя в кабине, положив руки на руль и глядя в ветровое стекло, Пашка видел, как человек шел к машине. Что-то изменилось в нем, помолодел, что ли.

– Вот и встретились с другом, – радостно сказал он. – Спасибо тебе, парень. Спасибо!..

– Чего уж там, – пробормотал Пашка.

Небо очистилось от туч, и светили звезды. Они были тщательно вымыты дождем и весело перемигивались, и их было много, так много, что хватит не на одно поколение хороших людей.

ЛЮБА

Он вернулся. Вот он, рядом, у порога. Он ничуть даже не изменился. Стоит и смотрит на нее, Любу. Смотрит так, словно видит ее в первый раз, – оценивающе, снизу вверх. Смотрит и молчит. А может, и сказал уже что-то, но Люба не слышала. Люба стоит и не знает, что это с ней. Не знает, почему же не делает к нему те быстрые шаги, не тыкается лицом в грудь, не замирает... Не делает то, о чем так мечтала все эти долгие два года? Почему не плачет от счастья, почему не выбегает на улицу и не зовет сына, его сына, о котором он совсем ничего не знает? Почему? Ведь вернулся же он, вернулся к ней, Любе, к сыну, и как сквозь сон слышит удивленное:

– Ты не рада, что я вернулся?

– Почему же, рада, – тихо говорит Люба. – Проходи.

Люба смотрит, как он опускает на пол чемодан, как, тяжело ступая, проходит к столу, садится и медленно осматривает ее маленькую, полученную сразу же после рождения сына комнатку, слышит:

– Ты одна живешь?

– Одна, – быстро отвечает Люба.

– Ну, и как жила?

Люба отворачивается, торопливо заслоняет телом лежащие на подоконнике колготки, смотрит в окно, за которым во дворе в песочнице играет сын.

– Как жила, – повторяет Люба, по-прежнему глядя в окно. – По-разному я жила...

Ей хочется рассказать ему, как спешила с работы домой, как, перепрыгивая через две ступеньки, бежала к своей комнате в надежде получить от него письмо, как плакала, потому что письма не приходили. Хотела рассказать, как лежала в роддоме, как приходили подружки, но не приходил он, самый нужный ей человек. Хотела рассказать, как болел сын... Хотела, но передумала, просто трянула головой и весело сказала:

– Хорошо жила. Ну, а ты как там, на Севере?

– Нормально, – он пожал плечами. – Работал.

– Вот... – он неторопливо достал и бросил на усыпанный хлебными крошками стол две пачки денег. – На все хватит.

«Столько бы писем он мне прислал...», – подумала Люба.

– Почему писем не писал? – спросила.

– Да, знаешь, времени не было, – небрежно ответил он.

«Хоть бы извинился, – с надеждой подумала Люба. – Хоть бы словечко сказал. Самое коротенькое...»

– Ну, а теперь мы заживем, – он подкинул деньги, – как все люди, по-человечески. Верно?

Люба не ответила.

– Ты чего? – он встал, подошел к ней, положил руки на плечи. – Не рада?

Люба посмотрела в его глаза, они были совсем другие, совсем даже не похожие на те, что два года назад. Тепла в них не было. Они просто смотрели, не спрашивали. И Люба отстранилась. Он поморщился.

– Все понятно...

«Господи, – со страхом подумала Люба, – ведь уйдет сейчас, уйдет. Что же это я. Ведь опять одна останусь...»

– Тебе видней, – лениво уронил он, нагибаясь за чемоданом.

– Ты ничего не понял. Неужели ты так ничего и не понял? – отчаянно прошептала Люба.

– А чего понимать-то? Все и так понятно... Ну, бывай...

Люба стояла, смотрела на дверь, слышала, как, удаляясь, прозвучали его шаги, как замерли они у входной двери, как их сменили легонькие шажки, и на пороге, толкнув дверь обеими ручонками, появился сынишка.

– Мама, а кто это приходил?

И Люба, холодея сердцем, глядя в окно вслед ему, выдохнула:

– Так, сынок, дядя один...

НЕЖНОСТЬ

А. Г. Нагибиной

– Надо идти домой, – громко сказал Павел самому себе. – Надо идти! Надо! – яростно выкрикнул он от полного бессилия перед этим коротким литым словом. – Надо! Надо! Надо! – ронял он после каждого шага, почти физически ощущая, как оно, слово, подталкивает его в спину, к дому...

Но чем ближе становился знакомый двор, тем тише и реже проносил он это слово и наконец замолчал, остановившись в нескольких шагах от подъезда. Он снова до болезненности отчетливо представил, как он вот сейчас, отсчитав два десятка ступенек, поднимется на второй этаж, позвонит, услышит торопливые шаги и увидит ее: веселую, радостную, довольную тем, что выписалась из больницы, что она здорова, и совсем не знает, что она неизлечимо больна и что жить ей осталось... А он знает. Знает и ничего, совсем ничего не может сделать, кроме одного – ждать со страхом, когда это случится. Он с необыкновенной ясностью увидел ее счастливое лицо, улыбку, услышал веселое: «А вот и я! Не ждал?» Ощутил теплые руки, мягкие губы и такой знакомый запах волос. Он глухо застонал.

– А я? – растерянно пробормотал он и оглянулся, спрашивая совета. Но двор был до гулкости пуст. Светили окна. – Что буду делать я? – прошептал он. – Как мне разговаривать, как вести себя, зная, что ее скоро не станет? Чтоб она ни о чем не догадалась? Притворяться? Только бы хватило сил.

Медленно, держась за перила, Павел поднялся на второй этаж, подошел к знакомой двери, прислушался, протянул и пугливо отдернул руку. «Я же не знаю, что она дома. Откуда мне знать? Я сегодня в больнице не был. Я был на совещании... Я часто приходил поздно. Она знает».

Он открыл дверь. Она стояла посередине прихожей, красивая, в своем лучшем платье.

– Ты?! – воскликнул он как можно удивленной. – Вера! Тебя выписали?

Она весело рассмеялась:

– Да! – шагнула навстречу и доверчиво прижалась к нему.

Она и раньше встречала его так, но раньше это было привычно, и он полушутя, полусерьезно говорил: «Ну вот, разнежилась». А сейчас ему хотелось стоять вот так долго-долго. Он вдруг понял, что, может быть, стоит с ней так последний раз, что это, может, никогда больше не повторится. И он, как тогда, в первые месяцы совместной жизни, мягко и крепко обнял ее.

От ее волос пахло лекарством – запахом беды. Что-то упруго, до слез в глазах, перехлестнуло горло, и он невольно погладил ее волосы, чего никогда не делал за последние годы, считая это ненужной сентиментальностью.

– Соскучился? – она взглянула на него, и он увидел припудренные синяки под ее глазами.

– Очень.

– Я тоже.

Она мягко отстранилась, засуетилась:

– Ты голоден, наверное. Раздевайся.

Медленно раздеваясь, он смотрел, как она суетилась на кухне, и невольно поймал себя на мысли, что старается отыскать в ней что-нибудь незнакомое: в поведении, в движениях, – и не находил. Она так же неторопливо, наморщив лоб и закусив губу, накрывала на стол, послунявив палец, притронулась к стоящей на газовой плите кастрюле. И вдруг поймал себя на том, что вот это движение видит в первый раз.

– Ну, за мое благополучное возвращение, – весело сказала она, поднимая рюмку.

– А тебе можно?

– Это почему нельзя? – тряхнула она головой. – Раз я здорова, мне сейчас все можно. Вот возьму и напьюсь. Как ты тогда, помнишь?..

Она говорила и говорила, рассказывая о знакомых по больнице, о лечащем враче, о том, кто навещал ее...

– А ты чего это такой? – неожиданно замолчав, обеспокоенно спросила она. – Заболел?

– Это я-то заболел? – он вымученно улыбнулся. – Устал просто. Работы... – он провел рукой по горлу. – Знаешь...

И он стал врать, стараясь говорить как можно убедительней. Она слушала, подперев ладонью щеку, улыбаясь, хмурясь...

– Сегодня, ради твоего возвращения, посуду мою я, – сказал Павел, когда они встали из-за стола.

– А может, заодно и полы вымоешь? – она лукаво сощурилась.

– И вымою.

Он мыл посуду. Намыленные тарелки скользили в руках, и одна, упав на пол, разбилась.

– К счастью, – торопливо сказал он. – Посуда бьется только к счастью.

– Давай еще одну, – быстро согласилась она. – Только нечаянно.

Но нечаянно не получалось.

Она спала. Он с беспокойством прислушивался к ее дыханию. Она дышала глубоко, ровно. В спальне было тепло и тихо. Голубой свет уличного фонаря, процеживаясь сквозь тюль, наполнял комнату хилым светом, и висевшее на противоположной стене зеркало казалось болотной лужицей. Деловито тикал будильник. Он осторожно повернулся лицом к ней. Она сладко почмокала губами, вздохнула и привычно положила голову на его плечо. Ему вдруг захотелось крепко-крепко прижать ее к себе. Прижать так, чтобы она вошла в него, чтобы они стали одним целым. И это желание было таким сильным, что он, зная, что она просыпается от малейшего прикосновения, закрыл глаза, сделав вид, что спит, и осторожно прижал ее к себе. Он долго держал ее так, а когда отпустил, она обняла его за шею, вздохнула и затихла...

Утром, проснувшись, он хотел встать первым, но потом передумал: «Надо, чтобы все было так же, как и раньше». Когда зазвенел будильник, он не пошевелился. Сквозь смеженные ресницы видел, как она, сонная, медленно встала и, шлепая по полу стоптанными тапочками, пошла на кухню. Услышал шум льющейся воды, звон посуды.

«Мне же на работу, – со страхом подумал он. – Меня целый день не будет дома. А врач сказал, что это может случиться в любой момент, в любой момент...»

– Может, мне отпуск взять? – лениво протянул он, когда они завтракали. – Устал как черт.

– Отпуск? Весной? Ты что? – она округлила глаза. – Мы же дого-

варивались, что пойдем летом. И не выдумывай. Месяц остался. В конце июня возьми.

– Можно и в конце июня, – неохотно согласился он, вставая из-за стола. – Ну, а ты что делать будешь?

– Я? – она махнула рукой. – Дел хватит. Квартиру убрать, по магазинам походить. Знаешь, как я по магазинам соскучилась. Вот сейчас сниму все деньги с книжки и растрачу.

– Трать, – кивнул он.

– А на отпуск?

– А на отпуск оставь.

– На обед придешь?

– Наверное. Как работа.

– Приходи. Я что-нибудь сготовлю.

Время до обеденного перерыва тянулось медленно. Павел с ненавистью смотрел на стрелки – они казались приклеенными. Домой бежал... Перепрыгивая через ступеньки, взбежал на этаж, позвонил. За дверью было тихо. Чувствуя, как холодеет сердце, торопливо воткнул ключ в замок. В квартире было тихо. Вкусно пахло едой. Ему захотелось закричать: «Вера!», но он сдержался и окликнул негромко. Из комнаты послышался скрип кровати, шаги, и на пороге прихожей появилась она, заспанная:

– А я приустила что-то. С непривычки. Все кости болят.

Приподнявшись на цыпочки, она поцеловала его и, осторожно ступая, прошла на кухню.

– По магазинам ходила? – спросил он, повеселев.

– Ходила, – она обернулась. – Полчаса в очереди простояла, сапожки хотела купить и, как назло, не досталось. Зато, – она прошла в комнату, на пороге поманила пальцем, – смотри, что я тебе купила. Нравится?

– Нравится.

– Носи на здоровье. Еле достала. А правда, красивая? К ней любой галстук подойдет. И еще я купила книгу. Знаешь, какую? Блока!

– Ну, ты у меня молодец!

Прошла неделя, прошло две недели, месяц. Она была такой же. «А может, врачи ошиблись? – все чаще думал он. – Не боги же они, в конце-то концов!»

Она умерла, когда он был на работе. После похорон он много

дней не ночевал дома. Когда вернулся, в квартире было пусто. Он постоял, сел на диван. Диван был старый, и на нем еще была вмятина от ее тела, а на подлокотнике лежал томик Блока. Бездумно он взял его в руки, перелистал. И увидел записку:

«Милый Паша, я скоро умру...»

Он глухо застонал и вцепился пальцами в диван, в то место, где она обычно сидела.

ВРЕМЯ

Егор посмотрел на часы, в окно, нахмурился, сунул в карман лежавшее на столе курево и вышел из теплоты дежурной комнаты на перрон. Поеживаясь от утренней прохлады, крикнул:

– Мефодьевна?!

Сидевшая на скамейке старая Васса подняла голову и, подслеповато шурясь, равнодушно откликнулась:

– Это ты, Егор?

Егор облегченно вздохнул.

– А я уж, грешным делом, подумал, случилось с тобой что. Пассажирский-то, поди, час как ушел. Что домой-то нейдешь?

– Ты пошто поезд-то так рано отпустил? – с укоризной, словно не слыша вопроса, спросила Васса. – Я и словечком-то с ним обмолвиться не успела.

Егор махнул рукой и, усаживаясь рядом, раздраженно сказал:

– Опаздывал. К конечной время наверстывал, едрена корень. Взяли в привычку с маленьких станций время отбирать, будто здесь людям расстаться, что плюнуть. А на больших станциях как ни опаздывает, а положенное отстоит. Как же!

Васса зябко поежилась, посмотрела на холодно отвечающие рельсы, на стоявший поодаль семафор и, спрятав ладони в рукава плюшевой жакетки, застыла.

Егор искоса взглянул на нее и, хотя прекрасно знал, куда уехал ее сын, участливо спросил:

– Куда поехал-то?

– Город какой-то строить, – почти прошептала Васса.

– Далеко?

– Они же теперича близко не уезжают. Им куда подальше.

Егор нахмурился, вытащил папиросы.

– Это точно. Моя вон пигалица тоже лыжи из дому навострила. Поеду, говорит, на новую стройку. А я ей: ты, говорю, сначала себя как положено выстрой, а то не посмотрю, что титьки выросли, так ремнем отпощу... Да-а. А твой-то надолго уехал?

Васса вздохнула, взглянула на Егора серыми, с голубой каемкой старости глазами:

– Сказал, что ненадолго.

– Если ненадолго, то это ничего, это терпимо, – подбодрил Егор и, выпустив густое облако голубоватого дыма, спросил: – Домой-то чего нейдешь? Простынешь. Я вон мужик, а и то прохватывает.

– А куда идти-то? – то ли спрашивая, то ли отвечая, чуть слышно промолвила Васса.

Егор удивленно посмотрел на нее:

– Как это куда? Домой!

– Домой, – горестно вздохнула Васса. – А кто меня там ждет, дома-то? Пустота да тишина.

Егор крикнул. Хотел еще что-то сказать, но замолчал на полуслове. Задумался.

– Слышь, Егор, – после продолжительного молчания окликнула его Васса.

Тот вздрогнул. Щелчком отправил папиросу в сторону, обернулся.

– Я, Егор, вот думаю, а одного в толк взять не могу. Кто же мне, старухе, этакое бессердечное наказание принес. Одну оставил... Разве ж я за жизнь-то свою обидела кого или, может, что не так сделала? А может, и сделала что, да за суетой да хлопотами и не заметила. А ОНО заметило, вспомнило...

Егор некоторое время смотрел на склоненную голову старой женщины, из-под клетчатого платка которой выбивались седые пряди. Потом недоуменно спросил:

– Кто ОНО-то? Бог, что ли?

– Не знаю я. Может, Бог, а может, и не Бог. Не знаю я. Но ведь одна же я осталась. Вот она я, здесь. А сын уехал. Сам видел. Не может же быть того, чтобы человека ни за что ни про что наказывали.

Егор хмыкнул. Потер подбородок, согласился:

– Это верно. Наказывать – надо знать, за что.

– Я так думаю, Егор, что всю жизнь ко мне это одиночество подбиралось. Тихохонько, незаметно. Оно и мужа моего, Григория, если помнишь, на фронте жизни лишило, и меня состарило, а теперь вот и сына отняло.

– Кто отнял-то? – рассердился Егор. – Выдумываешь ты все, Мефодьевна. Сама подумай. Бога нет? Нет! А, кроме Бога, люди по своей неграмотности, как мне известно, ничего не выдумали. Какая же тогда, разреши у тебя спросить, сила это все делает? А?

Васса не ответила.

– То-то, – удовлетворенно пробасил Егор. – А вот если...

– Бум-м! – оборвал Егора чистый литой звук.

Васса вздрогнула. Егор вертанулся. У висевшего слева от входной двери, ведущей в зал ожидания, станционного колокола стоял мальчишка.

– Я вот тебе, едрена корень! Счас все уши оборву!

Мальчишка заулепетывал по тянувшимся в сторону деревни деревянным мосткам.

– Что за пацаны! – удивленно проговорил Егор. – Их хлебом не корми, дай в колокол звякнуть. – Взглянув на Вассу, обронил: – Пойду я. Делов еще много. А ты домой иди. Жизнь, она и есть жизнь. Она без нашего согласия прет сквозным до самой конечной безо всяких остановок, и все дела...

Когда за Егором хлопнула дверь, Васса, опираясь обеими руками о край скамьи, встала и, тихохонько ступая по прихваченной морозцем земле, подошла к колоколу. Звук, исходивший от него, показался ей удивительно знакомым. Она была уверена, что слышала его не только сейчас, а всю жизнь, и что именно он, и никто другой, принес ей все то, что выпало на ее долю.

Из-за висевшей над самым горизонтом тучи выглянуло большое оранжевое солнце. Серебряный бок колокола стал золотистым. Она постояла, неуверенно протянула руку, взяла свисавшую из его нутра холодную веревку.

Бум-м! – разнеслось над станцией. Она наклонила голову, слушала, пока тишина не впитала последний звук. Дернула посильней.

Бум-м-м! Уверенно отпихивая и без того шарахнувшуюся в разные стороны тишину, понеслись к лесу, деревне, солнцу вздрагивающие от нетерпения и собственной силы звуки. Хлопнула дверь.

— Я вот тебе! — закричал полным негодования голосом выскочивший Егор. Но, увидев стоявшую у колокола Вассу, замер, приоткрыл рот и, оглянувшись, словно желая спросить у кого-нибудь: «Что это с ней?», выдал: — Ты это чего, Мефодьевна?

Но старуха, не отвечая и даже не взглянув на него, повернулась и засемила к деревне.

Она вспомнила. Часы! У нее в избе точно так же бьют часы — большие, круглые, в деревянном футляре. Теперь она знала, кто виноват в том, что жизнь ее не удалась, знала, кто отнял у нее мужа, сына, оставил одну. И знала, что нужно сделать.

Мостки, покрытые каких-то два часа назад тонким ледком, с приходом солнца оттаяли, идти было хорошо. Не отвечая на приветствия, чуть согнувшись, придерживая рукой сползающий платок, она спешила к своей избе, стоявшей в середине деревни.

Отворив калитку и забыв запереть ее, поднялась по ступенькам крыльца. Остановилась на пороге, успокаивая затрепетавшее, непривычное к быстрой ходьбе сердце.

В избе было тепло и тихо. Пахло пирогами. Из комнаты сына доносился еле слышный голос радио. Спокойно тикали часы. Держась рукой за стенку, она вошла в комнату, опустилась на диван, долго-долго глядела на часы. Невольно припомнила всю свою жизнь — с того самого дня, когда отец подарил ей на свадьбу эти часы.

...Была весна. Было много гостей, солнца. Так же, как сейчас, в избе накрыли длинный стол, уставив его едой, бутылками с вином. Вышел из соседней комнаты отец и протянул ей часы и маленький блестящий ключик...

Васса пошевелила пальцами и словно ощутила в руках теплый ключик и тугость пружины, услышала веселый голос отца: «А теперь мы поставим время, чтоб точно, чтоб в ногу».

А потом она принесла табурет, и отец вбил в стенку два гвоздя: большой — для часов и маленький — для ключика. Вспомнила их радостный бой, услышанный вместе с веселым «горько». А потом...

Васса вздохнула. Она возненавидела их. С бессильной яростью смотрела она на часы, когда ранним утром они принимались бить и будили ее, невыспавшуюся, усталую. Били требовательно и насмешливо, словно издеваясь, заставляли, пересиливая боль в пояснице, плечах, встать и окунуться в круговерть длинного, полного больших и малых дел дня. И как неохотно, словно делая одолжение, отбивали они время сна...

Не раз мечтала Васса, чтоб они сломались. Но, верно, хороший мастер делал их, потому что дни шли за днями, а они били и тикали, били и тикали – и кто знает, сколько еще времени жило в них. Но понемногу она научилась не замечать их и уже равнодушно смотрела, как муж по утрам заводит часы.

Во второй раз вскинулись они радостным боем, когда принесла она в дом своего первенца...

Васса улыбнулась, приложила кончик платка к губам...

Какое растерянное и глупое от счастья лицо было у Григория, как суетился он, как неумело держал на руках сына и с мольбой смотрел на Вассу, боясь пошевелиться, а она, донельзя счастливая, смеялась...

Васса взглянула на часы, отвернулась, приложила ладошку к сердцу – оно успокаивалось.

А потом... За нахлынувшими заботами она перестала замечать часы. Да и они о себе не напоминали.

Напомнили в тот страшный день, когда она, с малышом на руках, стояла у порога, провожала мужа на фронт, зареванная, обессиленная от свалившегося горя. Ударили громко и радостно, словно хоча, а когда принесли похоронку – едва не затанцевали на стене. Васса вспомнила, как запустила в них подвернувшимся под руку валенком. Что-то недовольно загудело у них внутри, но часы как ни в чем не бывало продолжали тикать. И она смирилась, и уже сама продолжала заводить их тугое сердце, потому что малыша надо было кормить вовремя, потому что надо было ходить на работу. И еще множество других дел требовало точного времени. Рос сын. О войне вспоминали все реже. И сын уже сам заводил их блестящим ключиком и все чаще вместе со словом «мама» говорил нетерпеливо: «Время, мама, время!»

Всю жизнь она прожила под их диктовку. Сама вот постарела, сердце больное, а они – как будто и не минуло столько лет...

Васса тяжело поднялась, принесла из кухни табурет и, с трудом поднявшись на него, протянула руки к часам.

Замерла прислушиваясь. Из комнаты сына доносился голос диктора: «Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует двенадцати часам московского времени».

Васса слушала и смотрела на часы, невольно насторожившись. Коротенькое «пи» слилось с уверенным боем часов. Бум-м! И понеслось неизвестно куда, без возврата. Бум-м! И не было в их бое злости, а полное понимание ее, Вассино, горя, и чудилось ей, что часы как бы извиняются перед ней, как бы говорят: а что сделаешь, Васса, что сделаешь? Жизнь такая.

Медленно, очень медленно сняла Васса со стены ключик, открыла крышку часов и осторожно завела их по-прежнему тугое сердце, чувствуя, как крепчает с каждым поворотом ключа и ее, человеческое, материнское...

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МАМЫ

– Мама? – раздался осторожный голос. Анастасия не отозвалась. Послышался скрип кровати, мягкие шаги. Сквозь ресницы Анастасия увидела выглянувшее из-за двери лицо младшего сына.

– Спит, – прошептал он.

И снова в маленькой соседней комнате послышались сдержанные голоса ее сыновей.

– Устала мама...

Она узнала голос старшего. Некоторое время было тихо.

– Давайте спать. Завтра наговоримся.

Кто-то из сыновей глубоко вздохнул, тяжело повернулся.

– Хорошо как! – вновь послышался голос старшего. – Пахнет домом. И мама рядом.

– Завтра домом займемся. Сарайкой. Уедем же снова. А мама останется.

Это сказал средний, самый молчаливый из троих.

– Может, к себе возьмем? А что?
– Не поедет она, – с сомнением проговорил старший.
– Это почему же не поедет? – запальчиво спросил младший.
– Тише ты! Это тебе не с кафедры выступать, – сердито прошептал старший. – А не поедет, потому что... Впрочем, тебе все равно не понять.

– Это почему же? Ты понимаешь, а я не пойму?

– Я сам не могу объяснить.

– Уговорим!

– Раньше она нас уговаривала, а теперь мы ее. Странно.

Понемногу голоса смолкли, и стало совсем тихо. Лишь сдержанно шумел за окном старый тополь.

Анастасия осторожно встала, подошла к дверям. Еще вчера такая тихая и пустая комната шумно дышала, ворочалась. Старший спал один. Средний и младший вместе. Она долго смотрела на них. Подошла и мягко поправила одеяла, поцеловала сыновей, как в детстве. Они не проснулись, лишь у каждого легла на лицо улыбка.

Мать постояла и вернулась к себе. Подошла к столу, села на стул. Подперла ладонью щеку.

В окно светила луна. Свет ее отражался на трех маленьких бутылочках, стоявших на комод. Тяжело поднявшись, подошла к ним. Взяла в руки. Бутылочки негромко звякнули. В них было самое современное лекарство. Так сказали ей сыновья. Бутылочки были прохладные, но вскоре согрелись в ее ладонях. Она прошла с ними к большому сундуку, подняла крышку и положила их под старую шинель мужа.

Негромко, так, как плачут старые люди, всплакнула и снова прошла к детям. Села на скамеечку и тихо прошептала:

– Хорошие вы мои...

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Письмо было от матери.

В первые дни жизни в городе Венька ждал их с нетерпением, а получив, читал торопливо и жадно. Но уже через полгода вскрывал неохотно, насмешливо улыбаясь, наперед зная о том, что там будет написано.

Каждое письмо, а приходили они каждую неделю, мать начинала всегда одинаково: «Добрый день или вечер, мой ненаглядный, любимый сыночек Венечка! С сердечным приветом к тебе и наилучшими пожеланиями здоровья и счастья пишет тебе твоя мама. В первых же строках своего коротенького письма спешу сообщить, что я, слава Богу, жива и здорова, чего и тебе желаю. Спешу сообщить, что живу я хорошо...»

Концовки писем также мало чем отличались друг от друга: «...А в последних строках своего письма очень даже тебя прошу, Господом Богом заклинаю, не водись ты, сыночек, с плохими ребятами, не пей водки, уважай старших и береги себя. Ведь ты один остался у меня на всем белом свете. Помру я, ежели с тобой что случится. На этом и кончаю. Пиши, сыночек. Целую тебя, твоя мама».

И поэтому Венька читал только середину. Читал, снисходительно морщась, удивляясь тому, чем мать живет. Ну что за событие в том, что к Пашке Воронцову забралась и перепортила всю капусту соседская коза, что Валька Утешева вышла замуж не за Степку Рожкина, а за Кольку Замятина, что в магазин наконец-то привезли долгожданные полушалки, которых здесь, в городе, бери – не хочу.

Прочитанное письмо Венька бросал в тумбочку и забывал до очередного, слезного, в котором мать все тем же Господом Богом просила ответить.

...Венька сунул конверт в карман и по длинному, шумному в послерабочее время коридору общежития пошел в свою комнату.

Сегодня была получка. Ребята собирались в город: гладили рубашки, парили брюки, интересовались, кто куда пойдет, кто с кем встречается.

Венька нарочито медленно разделся, умылся, оделся и, дождавшись, когда комната опустеет, закрыл дверь на ключ и сел к столу. До-

стал из кармана записную книжку, купленную еще с первой полочки, шариковую авторучку, отыскал нужную страницу, задумался...

Буквально час назад, по дороге в общежитие, он встретил знакомого из деревни. Перекинувшись парой слов, поинтересовавшись Венькиным заработком и житьем, знакомый, укоризненно покачивая головой, сказал:

– Ты бы хоть матери денег послал. Зима на носу. Дрова надо привезти, напилить, наколоть. А ей на ее пенсию... Сам знаешь.

Венька знал.

Прикусив губу, посередине листка вверх он тщательно вывел 126 и провел вниз вертикальную линию. Над левой колонкой написал «Надо», над правой «Сколько». Подумал, достал календарь, подсчитал количество дней до аванса и в левом столбике вывел 12, а в правом знак умножения, цифру четыре и сумму 48. Дальше пошло быстрее: долг – 10, брюки – 30, сберкнижка – 20, кино, танцы – четыре дня по два рубля на день – 8. Остаток – 10 рублей.

Венька хмыкнул. Десятка. Смех один посылать матери такую сумму. Засмеют деревенские. Потер подбородок и решительно вывел напротив остатка – «на мелкие расходы». Подумал: «С аванса вышла».

Отложив ручку, сунул записную книжку в карман, потянулся и вспомнил о письме. Зевая, поглядывая на часы, достал конверт, вскрыл, достал письмо, развернул. На колени мягко упали три рубля...

ДОБРОТА

Мы играли в домино, когда он тронул меня за плечо и попросил:

– Можно вас на минутку?

Раздосадованный, я неохотно уступил место за столом другому.

– Бога ради извините, – сказал он, когда мы отошли в сторону. – Но у меня к вам большая просьба.

– Ира! – раздраженно крикнул я играющей в песочнице дочке. – Не пачкай платье! Мама будет ругаться.

– Хорошо, папа, – охотно и легко отозвалась она и сразу же забыла о своем обещании.

– Слушаю вас, – я мельком взглянул на его продолговатое, изрезанное морщинами лицо, которое пересекал чуть заметный шрам.

– Понимаете, – он нервно поправил очки. – Просьба... Довольно-таки необычная.

«Да не тяни ты резину!» – я посмотрел на покинутый стол, за которым мужики энергично стучали костяшками.

– Не могла бы ваша девочка поговорить по телефону с моей женой?

– С вашей женой?! – я удивленно посмотрел на него. – Но о чем?

– Понимаете, – он переступил с ноги на ногу. – Давайте присядем на эту скамеечку. Ноги, понимаете, совсем плохи стал.

Мы сели на скамейку и некоторое время молчали...

Я знал этого старика. Знал постольку-поскольку, как, впрочем, знал друг о друге и каждый житель нашего длинного многоэтажного дома, прозванного «муравейником» и за количество жителей, и за множество квартир.

Мне было известно, что величают его Вадимом Степановичем, что живет он в крайнем подъезде, в однокомнатной квартире вместе со своей женой. Говорили, что она у него чем-то больна. На улице ее никогда не видели.

Встречались мы с ним редко, по обыкновению утром: я шел на работу, а он в магазин занимать очередь за молоком.

– За сливками, Вадим Степанович? – шутливо спрашивал я вместо положенного «здравствуйте».

– Ценой, сынок, сливки кусаются, – отвечал он, улыбаясь беззубым ртом. – За молочком.

Во дворе он появлялся редко и только по вечерам. Садился где-нибудь в стороне и молчал.

– Да-а, – со вздохом ронял кто-нибудь из мужиков. – Старость не радость.

– Правильно говорят, – добавлял другой, – что змея состарится – на ней лягушка будет верхом ездить.

– И кто только придумал эту старость, – подхватывал третий. –

Пускай года, но дряхлеть-то зачем. Мне тут одна, – кивнул в сторону дома, – «примадонна» жаловалась на своего больного мужа. Не жив, говорит, потому что безнадежен, и не мертв, потому что о нем нельзя забыть. Вот и мучаюсь...

– Понимаете, – наконец-то старик нарушил затянувшееся молчание. – Жена у меня больна. Профессор сказал, что это ей война о себе напомнила. Ранена была моя старуха два раза, у немцев в лагере больше трех лет сидела... Болезнь у нее какая-то по телу рассыпалась: на руках, лице. Врачи говорят, что не заразная. Мы уж и справку принесли, а невестка внучку к нам не пускает, говорит, что пускай подрастет, чтоб иммунитет выработался, – он горько усмехнулся, снял очки, вытер кончиком платка глаза. – Покуда вырастет, мы со старухой в земле лежать будем. – Тяжело вздохнул, добавил: – Видеть внучку старуха хочет. Хоть бы голосок ее услышать, говорит...

– А сын? – я сломал невесть откуда появившийся в руках пруттик. – Он-то чего молчит?

– А что сын, – он потерянно махнул рукой, – такой и сын.

– Но о чем они будут говорить?

– Они очень даже хорошо поговорят, – он живо повернулся ко мне. – Уверяю вас.

– Ну хорошо, – я поднялся.

– Вот номер телефона, – он протянул мне бумажку. Я позвал дочку, сказал ей, что пойдем звонить бабушке...

– Длинные гудки, – дочка вскинула на меня глаза.

– Жена с трудом ходит, – прошептал старик, – от табуретки к табуретке.

– Подожди еще, – я прикрыл дверцу...

– Бабушка! Здравствуй! Это я, Ира! – глаза у дочки заблестели.

Старик вздрогнул.

– Хорошо, – дочка смешно наморщила лоб. – Гуляю. Мама суп варит, а папа рядом стоит и на меня смотрит... Мы в мороженку ходили... Не-е, не заболēju... Придем, бабушка... Обязательно. До свидания, – дочка привстала на цыпочки, повесила трубку и выскочила на улицу.

– Бабушка обижается, что я к ней не прихожу, – она взяла меня за руку. – Что ты обещал, а сам не приходишь...

Я оглянулся. Старик уходил, горбясь сильнее обыкновенного, в сторону «муравейника».

Я закурил, представил стоящую у телефона старую женщину, разговаривающую по телефону дочку, а между ними большой сииий день, взрослых, вечно спешащих куда-то людей, забывших о самом главном, без чего жить нельзя, – доброте.

– Ну что ж, – сказал я. – Пойдем сходим к бабушке...

БЕЛАЯ НОЧЬ

Он стоял у окна, из которого был виден городской парк. Сегодня, в отличие от других дней, из парка доносилась светлая музыка. Он открыл форточку. Закурил.

– Сколько раз я должна просить тебя не курить в квартире?! – резко сказала жена, входя в спальню. – Говоришь, говоришь, как об стенку горох.

– Все! Больше не буду, – торопливо произнес он, бросая окуроч в форточку.

– В форточку! – она всплеснула руками. – Да закрой ты ее. Сквозняк!

Он ничего не ответил.

– Ложись-ка лучше спать, – сказала она, подходя к кровати. – Завтра на работу.

– Белые ночи, – негромко проговорил он, покашливая и по-прежнему глядя в окно. – Помнишь, мы с тобой познакомились в это время, на танцах.

– Господи! Нашел что вспомнить! – фыркнула она, снимая с кровати покрывало.

– Может, пойдем, побродим по городу? – робко предложил он. – Белая ночь все-таки.

– Чего-о?! – изумленно протянула она. – Дети мы с тобой, что ли?

– Тогда я один пойду.

– Один! А умней ты ничего придумать не мог? – она широко зевнула. – Ложись лучше.

– Да не хочу я спать! Не хочу, понимаешь?! – раздраженно проговорил он.

– Вольному воля, – она снова зевнула.

Он искоса посмотрел на нее и пошел в прихожую одеваться.

– Смотри, долго не шлейся, – бросила она ему вслед. – На улице много хулиганья... Я переживать буду... Слышишь?

– Слышу, – буркнул он, надевая плащ.

Танцы закончились, но в парке было много народу.

Он вошел в одну из аллей, сел на скамью. Закурил. Мимо шли пары. Он провожал взглядом каждую и с грустью вспоминал о том, как когда-то они с женой вот так же гуляли по этим аллеям и какой-то старичок смотрел им вслед. Они еще удивились тому, почему он здесь, в парке, ведь пора белых ночей не для стариков.

Он докурил сигарету, тяжело поднялся и медленно обошел все потаенные уголки, что были ему знакомы, что помнились. Но в одном целовались, в другом, обнявшись, тихо разговаривали, и везде он чувствовал себя лишним.

Он глубоко вздохнул и пошел к скамье, на которой молодежь никогда не засиживалась, потому что стояла она на самом открытом месте парка.

Еще издали он заметил на ней женщину. Она сидела, опустив голову, перебирая букетик желтых цветов, что во множестве росли по краям аллей.

– Да, пожалуйста, – негромко сказала она, когда он подошел и спросил, не занято ли.

– Благодарю вас, – сказал он.

Залив был спокоен. В его светлой глади отражались облака. Пристань, обычно шумная, молчала.

– Хорошо-то как, – тихо заметила женщина.

– Хорошо, – согласился он.

– А вы знаете, – она искоса посмотрела на него, – я всегда прихожу сюда в эту пору. Понимаете, что-то необъяснимое тянет.

– Я тоже, – согласился он.

Она снова искоса посмотрела на него, неуверенно проговорила:

– Вы извините, пожалуйста, но я вас уже где-то видела. Вы случайно не были на семинаре учителей? Прошлой весной?

– Был, – сам не зная, зачем и почему, вновь обманул он.

– Значит, мне память еще не изменяет, – она улыбнулась и протянула руку. – Давайте познакомимся. Катя... Екатерина Владимировна.

– Михаил, – произнес он.

Она кивнула и, перебирая пальцами цветы, начала рассказывать, как трудно стало работать с детьми, что они теперь рано взрослеют и что им, учителям, надо быть как никогда требовательными к себе.

Он кивал, соглашаясь, а сам старался вспомнить, где мог ее видеть: он знал точно, что видел и что было это давно. Он мысленно перебирал совещания, встречи, но никак не мог вспомнить.

По глади залива пробежала рябь. Женщина зябко передернула плечами. Он снял плащ и протянул ей.

– Спасибо, – она грустно улыбнулась. – Вы знаете, Михаил, правда, это было давно, но мой муж в эту пору точно так же подал мне плащ. И все было так же, как и сейчас. Правда, мы сидели на другой скамейке, там... – она показала рукой в глубину парка.

– Время прошло, – выдохнул он.

– Время, – грустно согласилась она. – И ничего с этим не поделаешь.

Мимо них прошла пара. Они проводили ее взглядом и одновременно вздохнули. Женщина рассмеялась. Он – тоже. И заметил, что глаза у нее блестят так, словно в них попало солнце. Он посмотрел на небо. Солнца не было.

– Может, и мы пойдем? – робко предложил он, помолчав.

– А вас жена ругать не будет? – спросила она, глядя в сторону залива.

– А вас муж? – спросил он и заметил, как потускнели ее глаза.

Они пошли вслед за парой. Немного погодя она взяла его под руку:

– Вы не возражаете?

– Нет, что вы! – торопливо ответил он.

Шли по аллее. Над головами чуть слышно шумела листва.

– Поздно уже, – заметил он. – Вас муж и в самом деле ругать не будет?

– Раньше меня спрашивали: тебя мама ругать не будет? – женщина невесело рассмеялась, отрицательно покачала головой: – К сожалению, не будет.

Они дошли до конца аллеи, и женщина остановилась.

– Мне пора, – сказала она, мягко убирая руку.

– Уже?

– Меня ждут...

– Ждут, – повторил он. – Можно я вас провожу?

– Проводите.

Они шли долго. Было тихо кругом и светло. Шли молча...

– Ну вот я и дома, – женщина остановилась. – До свидания и большое спасибо.

– Это вам спасибо, – торопливо сказал он и, помолчав, глядя под ноги, добавил: – Но почему так грустно?

– Грусть пройдет... Ничего... – тихо сказала она. Коснулась ладонью его щеки и побежала, держа в руке косынку.

Он проводил ее взглядом и неохотно зашагал к дому...

Разделся с шумом, но жена не проснулась.

Лежа в кровати, он долго смотрел в окно, стараясь вспомнить, где он мог ее видеть. И лишь засыпая, понял – в юношеских мечтах. И что для счастья надо было совсем немного – только глазастого сердца, которого никогда не бывает в молодости...

А в окно смотрела белая ночь, и до рассвета было еще далеко.

ПРАВО РЕШАТЬ

Утро наполнено матовым светом, тишиной и падающим снегом. Пугливо, словно боясь, что могут обидеть, он робко ложится на темно-зеленый лес, дорогу и медленно шагающего по ней человека...

На этой дороге, с начала зимы не чищенной от снега, не было километровых столбов, и о том, сколько пройдено и сколько осталось еще идти, Андрей узнавал по приметам, тем, что невольно запомнил тогда, летом, когда впервые шагал по ней вместе с отцом, неся в руке большую хозяйственную сумку с нехитрым плотницким инструментом и тем, что мать собрала поесть.

Давно позади остались сосна с прибитым к стволу красочным указателем «Дачный поселок “Мечта”», деревянный мосток через ручей, неряшливо сколоченная из толстого горбыля скамейка, возле которой однажды отец подобрал и упрямо тащил до дачи кем-то обретенную длинную дюймовую доску, ежеминутно повторяя: «Это надо же! Такая доска! Та-акая доска!», а поворота, за которым лежал дачный поселок, все не было и не было...

Шел тяжело, оставляя на снегу не след шагов, а глубокую неровную борозду, вытирая концом шарфа потное, красное лицо...

Поворот, похожий на небрежно поставленную запятую, появился за небольшим отлогим подъемом. Снега на нем было мало, потому что слева и справа от него раскинулись болота, и ветру было где разгуляться.

Он прибавил шаг, не сводя глаз с видневшихся между деревьями крыш. Остановился, когда поворот кончился и дачный поселок стал виден как на ладони.

Он был очень красив – этот дачный поселок. Разноцветные, тщательно ухоженные домики хорошо смотрелись на фоне снега. Но красота эта была лишена полутонов и, верно, поэтому выглядела плакатной.

Глядя на домики, он вспомнил деревню, куда ездил прошлым летом на сенокос и в которой жил больше месяца. Маленькая, неказистая, с темными покосившимися избами, она, по какой-то необъяснимой причине, выглядела намного красивей. Может, потому, что хлебом, парным молоком и еще чем-то необыкновенно близким пахло в избах... Может, потому, что была она похожа на старую, честно прожившую жизнь женщину. А этот...

Он посмотрел на поселок и сплюнул в снег.

В этих, ухоженных, пахло духами, одеколоном и колбасой. Вспомнил свой первый приход сюда – на этом месте лежал большой, густо заросший цветами луг, и громко, грубо выругался...

С широкой лапы стоящей рядом с дорогой ели глухо шлепнулась пышно взбитая подушка снега. Над поселком, едва не задевая холмистых труб ленивыми крыльями, молча пролетела и скрылась где-то за озером ворона.

Он проводил ее взглядом и зашагал дальше...

Дачи смотрели на него поверх безмятежно развалившихся у их стен сугробов стеклянными глазами окон.

Он подошел и остановился напротив небольшой, похожей на красочный кубик дачи, огороженной, как и все, забором, на калитке которого висел маленький, в общем-то совершенно беззащитный замок.

Он криво усмехнулся, как собачонку по носу щелкнул по замку пальцем, подтянулся на руках и перелез через забор.

Ноги по колено вязли в снегу, когда он шел мимо маленькой теплицы, о которой отец прожужжал ему все уши, вдоль аккуратных рядов крыжовника, смородины, а где-то там, под снегом, лежали грядки с клубникой и еще черт знает с чем.

Крыльцо было занесено снегом. Он раскидал его ногами. Огляделся. Вокруг были только тишина, лес, и ни над одной из дач не тянулся к небу живой дымок.

Ему вдруг показалось, что он на кладбище, но только на секунду, не больше, потому что сразу понял, что это «кладбище», в отличие от настоящего, оживет с приходом тепла...

Дверь открылась, визжа как поросенок. Он переступил порог и тщательно закрыл ее за собой...

В доме было холодно. Намного холодней, чем в лесу, и льдисто пахло одеколоном. Сквозь прихваченные морозом окна цедился сухой серый свет. Напротив порога, деля дачу на две половины, стояла плита с широким дымоходом. У окна – крохотный кухонный стол, покрытый чистой, в причудливых узорах клеенкой, на нем – керосиновая лампа. Рядом со столом – табурет.

– Ну, здравствуй, Госпожа Дача! – громко и зло проговорил он. – Давно мы с тобой не виделись. Да-авно.

Шагнул к столу, неторопливо достал и положил на него длинную белую свечу, стеклянную банку из-под кофе, в которой плескалась солярка, спички. Взглянув на часы, подошел к окну. Сквозь образовавшийся на стекле глазок увидел берег озера, баньку и перевернутую вверх дном плоскодонку, на которой, задрав голову к небу, раздраженно кому-то выговаривала ворона.

– Закурить, что ли, – громко произнес он, отворачиваясь от окна. – Покурить, а там уж...

Нервно чиркая спичками, раскурил сигарету, зажег свечу, присев на корточки, уронил с нее несколько капель парафина и установил на полу.

Огонек ее, не колеблясь, упрямо тянулся вверх. Он протянул к нему ладони и ощутил тепло. Его вполне хватало, чтобы согреть руки, но не больше...

Это была дача его родителей, и он пришел, чтобы сжечь ее. Это был единственный способ избавиться от нее. Единственный – он понял это вчера вечером, когда, уложив дочку спать, ждал возвращения жены с работы...

В квартире было тепло, тихо, и он, насколько позволяла память, вспомнил все, с самого начала, по порядку, с того самого дня, когда отец рано утром позвонил ему и радостно, словно выиграл сто тысяч, сказал, что им с матерью выделили земельный участок.

– Понимаешь, Андрюха! – радостно говорил он. – Участок! Будет нам теперь с матерью где время проводить! Что там ни говори, а провести лето на природе куда лучше, чем в городской квартире. Верно?

– Верно, – согласился он.

– Вот и я говорю, – радостно продолжал отец. – А место какое! Прелесть, а не место. Огородик маленький посадим, времянечку поставим на случай непогоды. Верно?!

Через неделю отец попросил помочь выкорчевать пни.

– Понимаешь, – говорил он, – пней до черта. Камни я попытаюсь, а вот пни... Здоровьишко у меня, сам понимаешь...

Здоровье отца оставляло желать лучшего, да и мать часто прихварывала.

Пней было много и все осиновые, их корни, в отличие от елки, не расстилались, а стремились вглубь...

Отец изменился. Раньше при встрече они говорили о разном, а теперь с порога отец заводил разговор о даче.

– Ты же обещал, что поставишь времянку и только, – однажды хмуро спросил он у отца.

– Да, знаешь... – замямлил он, глядя в сторону. – Люди рядом строят, а мы что, хуже?

Чем больше становилась дача, тем реже и реже заходил в гости

отец, но все чаще обращался за помощью – достать, привезти. Накупил книг по садоводству.

То, что дача заменила родителям и его – сына, и его дочку, и его жену, он понял в свой день рождения, когда отец впервые за много лет не поздравил его... Потом он забыл поздравить с днем рождения внучку, а последние два года совсем ее не видел; летом – на даче, зимой отдыхает. Как-то он серьезно поговорил с отцом.

– Слушай, сын! – раздраженно ответил тот, укладывая в сумку гвозди, какие-то обрезки жести. – Я тебя вырастил. Я тебя поставил на ноги. Имеем мы с матерью право прожить остаток своих дней так, как нам хочется, или нет?!

– А внучка? – спросил он.

– Что – внучка? – отец пожал плечами. – Внучку мы любим. Вот выберем свободное время и нагрянем с матерью.

Он ждал, но времени они так и не выбрали... Дача все требовала и требовала себе, как бездонная бочка...

А вчера дочка спросила: «Где бабушка и дедушка?» Он не знал, что сказать. Ответить, что их нет, – значит, похоронить живыми. Сказать «есть», а где они?

Дача! Он не думал, что можно так возненавидеть вещи, что вещи имеют такую силу.

Как-то он позвонил отцу и сказал: брось, мол, эту дачу.

– Может, мне и жить бросить?! – зло проговорил он в ответ. – А?!

Раньше в выходные дни он с семьей всегда ходил в гости к родителям, а сейчас, после нескольких бесполезных приходов, сидел дома. Правда, как-то съездили на дачу и пожалели об этом. Потому что только и слышалось обеспокоенное: «Не задевай кусты, не трогайте, ягоды еще не созрели!» И разговоры шли не о жизни, а о том, сколько и какого удобрения надо, когда что зацветет, сравнения – сколько урожая собирает владелец соседней дачи, почему продает клубнику...

– Чего ты удивляешься? – сказал ему однажды знакомый, когда он пожаловался на то, что происходит. – У тебя хоть старики дачей занялись. А тут парню двадцать с небольшим, в дачу ударился, превратился в маленького кулака, правда, под другим соусом – владелец дачи. Продовольственную программу помогают решать, а

духовную гробят. Люди вообще перестали общаться друг с другом. До чего дошло, – знакомый коротко хохотнул, – дочка мать с днем рождения, Восьмым марта поздравляет через газету, хотя живет в четырех остановках автобуса от нее... А ты мне – дача...

Он тяжело встал. Огонек пламени испуганно вздрогнул и успокоился. Он постоял и прошел на другую половину дачи. Здесь тоже было серо. Привалившись спиной к дымоходу, он смотрел на вещи: кровать – ту кровать, на которой когда-то спал вместе с отцом. Спать он с ним не любил, потому что отец не разрешал шевелиться. «Лег спать – спи, – сердито говорил он. – А ногами дрыгать нечего!». Диван, на котором они с сестренкой прыгали, когда отец с матерью, уходя на работу, оставляли их одних. Комод, из которого он таскал конфеты... Все вещи напоминали о детстве. Его детстве, которое было похоже на красивый фантик.

Он закусил губу, подошел к комоду, открыл верхний ящик и с удивлением увидел, что там, как и раньше, лежат конфеты, но не ириски, как прежде, а шоколадные, дорогие. Они были твердыми и холодными. Потрогал стоящий на комодке будильник со светящимся циферблатом. Тот самый будильник, который он уронил и за который получил хорошую взбучку.

Ему на какое-то время показалось, что он вернулся в детство. Провел взглядом по стенам и на одной, напротив окна, увидел фотокарточку, ту, что отец сделал сам в день его совершеннолетия. Рядом висели фотокарточки внучки, его жены, сестры – они висели в ряд...

Он снова закурил, сел на диван и долго смотрел в пол, роняя пепел.

Было тихо и холодно, и казалось, что все вокруг внутренне сжалось в ожидании чего-то непоправимого.

– А, так и не так! – зло проговорил он. – Все равно это не выход. Нет, наверное, не выход...

Он медленно, глядя в одну точку, завел будильник, но не стал ставить точного времени.

Часы затикали громко и решительно, словно выговаривая кому-то за что-то.

Взял свечу, сунул в карман банку с солярой и вышел...

Обратно идти было намного легче. Он шел быстро, не оглядываясь, сунув руки в карманы, ощущая полное бессилие перед самим собой...

Снова пошел снег. Он падал медленно и безнадежно.

КОМЕНДАНТ БАЗАРА

В нашем городе его знали все. Знали, что пьяница, что нигде не работает, что кличут комендантом базара и что у него всегда при себе граненый стакан, штопор и кусок лески для вытягивания пробок из бутылок. Ни фамилия, ни имя, ни то, где он живет и бывает ли сыт, а тем более – почему пьет, конечно же, никого не интересовали. Почему? Да потому, что, во-первых, он никому не мешал жить так, как им хочется, а во-вторых, людям было приятно знать, что есть человек, который хуже их. И даже те мужики, что наполнялись водкой чаще и куда больше, но работали и имели семьи, отзывались о нем с усмешкой, а при встрече снисходительно хлопывали по плечу, роняли:

– Ну, как жизнь, комендант?

Спросив, оглядывались по сторонам, словно приглашая посмотреть и послушать, что скажет этот, лишний для общества человек.

Он пожимал узкими плечами, глядя под ноги, бормотал:

– Живу вот.

– Ну, живи, – разрешали ему. – Живи, комендант! – и, стараясь шагать прямо, шли к тем, кто их ждал, к дому.

Он ходил, чуть подавшись вперед, глядя прямо перед собой. В большой сетке, висевшей на локте, в такт шагам звякали разнокалиберные бутылки, которые принимали у него в любом продуктовом магазине даже при отсутствии тары.

Если окликали, останавливался, но никогда не подходил к окликнувшему, ждал, когда подойдет тот.

Узнавали его издали и куда быстрее, чем иного знакомого.

В любое время года он был одет в темно-зеленое демисезонное пальто, резиновые сапоги, серую спортивную шапочку.

Что там скрывать, при виде его и у меня губы кривились в пре-

зрительной усмешке. Я много раз старался, но никак не мог понять, как можно человеку докатиться до этого...

...В тот день я возвращался с работы домой поздно. Город спал. Автобусы не ходили. Пряча нос и рот от лютого холода в воротник меховой куртки, я быстро шагал серединой улицы, залитой оранжевым светом фонарей, мимо зданий с погасшими окнами, окоченевших тополей, мечтая о том, как вымоюсь в ванне, напьюсь крепкого горячего чая и завалюсь спать. И спать буду – пока не устану, благо завтра выходной день, жены с дочкой нет – уехали в отпуск.

Я увидел его, подойдя к перекрестку. Он стоял у газетного киоска, втянув голову в плечи, сунув руки в карманы, и смотрел вдоль улицы.

Я оглянулся. Она была длинной, пустой и безмолвной. В самом конце ее, улыбаясь дочиста вымытой рожицей, висела луна.

– Привет, комендант! – громко сказал я, останавливаясь. – Кого ждешь?

– Из котельной выгнали, – хмуро уронил он, переступив с ноги на ногу.

– Так ведь замерзнешь!

Он не ответил.

– Слушай, комендант, – сказал я неожиданно для самого себя. – Пошли ко мне. Переночуешь.

– Пошли, – тускло уронил он, ничуть не удивившись.

Мы зашагали. Он шел быстро, какой-то припрыгивающей походкой. Снег под его ногами скрипел коротко и жгуче.

– Не люблю зиму, – выдавил он, едва шевеля губами.

– За что же?

– Дни длинные, а ночи короткие.

– По-моему, это летом, – усмехнулся я.

– Для тех, кому тепло...

В подъезде было тихо. У одной из дверей, на полке, лежал не в меру откормленный кот. Услышав наши шаги, он лениво поднял голову, неслышно мяукнул, открыв розовый рот, и остался досыпать, блаженно вытянувшись.

– Раздевайся, – сказал я, когда мы вошли в квартиру.

– Спасибо, – сипло пробормотал он.

Я включил свет в прихожей, в кухне, поставил на газовую плиту чайник, громко спросил:

– Ванну примешь?

– М-м-можно... Если это вас не затруднит, – отозвался он, помолчав.

Я включил газовую колонку, открыл кран в ванной и вернулся в прихожую. Он, постанывая, стягивал сапоги.

– Ты чего? – испугался я.

– Ноги отходят, – он виновато улыбнулся.

– А-а, – я облегченно вздохнул и кивнул в сторону ванной: – Заодно нательное выстирай. За ночь высохнет.

Он молча кивнул. Стянул сапоги, вопросительно посмотрел на меня.

– Проходи, – я включил свет в комнате. – Садись.

Он сел на краешек дивана, положил руки на колени. Было тихо. Лишь тикали часы да негромким ручейком звенела вода в ванной.

– Хорошо у вас, – негромко сказал он. – Светло, тепло. И книг много. Можно посмотреть?

– Смотри, – я пожал плечами, принес и бросил ему под ноги тапки. – Надень. Пол холодный.

– Что вы! Тепло! – проговорил он, болезненно морщась.

– Ну, как хочешь. Да! Халат я повесил. Увидишь. Побрейся, а то смотреть страшно.

Мылся он долго. Я вскипятил и заварил чай, достал из холодильника и подогрел суп, расставил тарелки, подумал, махнул рукой и выставил на стол бутылку «Карельского бальзама», купленную женой для лечебных целей.

– Ну как? – весело спросил я, когда он, облачившись в халат, вышел из ванной.

– Хорошо, – он улыбнулся. – Спасибо вам. Вы извините, я столько хлопот вам доставил.

– Ерунда, – я великодушно махнул рукой. – Садись за стол.

Он сел.

– За что тебя из котельной выгнали? – спросил я, наливая суп.

– Проверяющий пришел. Не положено, говорит, посторонним. –

Помолчав, пояснил: – Он раньше сам кочегаром работал. Пускал. Пили вместе. А теперь вот в люди выбился. – И задумчиво: – Власть, как и беда, человека, как он есть, показывает.

Я внимательно посмотрел на него и с удивлением обнаружил, что он довольно симпатичен и немногим старше меня.

– Как тебя зовут? – спросил я, наполняя рюмки.

– Виктором.

– А лет сколько?

– Сорок.

Он отвечал охотно, словно знал, что я буду его расспрашивать.

– Родные есть?

– Мама, – сдавленно уронил он, отворачиваясь к окну. – Одна она.

Мы замолчали. Мурлыкал холодильник.

– Давай выпьем, – нарушил я молчание. – Что уж там.

Мы выпили и стали есть.

– Ты и женат не был? – то ли спросил, то ли подтвердил я.

– Был, – глухо отозвался он, не отрывая глаз от тарелки. – Умерла она. Любил я ее очень, а она взяла и умерла зачем-то. Похоронили. Ящик водки остался после поминок. В магазин обратно не принимают. Ну и... А сейчас не бросить, да и не хочу.

– А кем работал?

– Садовником.

– Ке-ем?!

– Садовником.

Я недоверчиво хмыкнул, спросил:

– А на что сейчас живешь?

– Бутылки собираю.

– И много?

– Когда как. Летом больше.

– А спишь где?

– Не надо, пожалуйста, расспрашивать. Хорошо? – он посмотрел на меня. Глаза у него были просяще-грустными.

Мы выпили еще по рюмке. Закурили. Курили долго и молча. Он, подперев ладонью щеку, смотрел в окно, за которым были видны фонари да спящие дома.

Я постелил ему на диване, лег сам и заснул... Когда проснулся, он еще спал. Спал, как ребенок, свернувшись калачиком, положив ладонь под щеку.

Стараясь не шуметь, согрел чай, поставил на стол остатки бальзама...

Город уже проснулся. Сновали автобусы, ходили люди. Судя по термометру, мороз спал.

– ...Ну, спасибо вам, – сказал он, когда мы позавтракали. – Пойду я.

– Слушай, Виктор, – сказал я. – Давай-ка сюда свое пальто, а взамен надень это. Оно хоть и старое, но зато зимнее. Бери, бери.

– Ну что вы, – он покраснел. – Как я могу?

– Да что ты как... – я выругался. – А твое давай сюда.

– Вы его только не выбрасывайте. Пригодится еще, – торопливо попросил он. – Ну, до свидания. Еще раз большое вам спасибо.

Я сложил пальто и вынес на балкон.

Прошло время. Весной жена, проводившая генеральную уборку в квартире и на балконе, позвала меня.

– Откуда это? – недоуменно спросила она, тряхнув чужим пальто.

– Да так, человека одного, – промямлил я.

Из пальто выпал вчетверо сложенный листок. Жена подняла его, прочла, потом протянула мне.

«Здравствуй, мамочка! Извини, родная, что долго не писал. Времени не хватает. То одно, то другое. Работаю я на старом месте, в теплице, выращиваю цветы. И самые твои любимые – георгины – тоже. Работы много, и я рад. Помнишь, ты мне как-то говорила, что ничто на земле так не искренне, как цветы? Я помню это. Ну, а ты как живешь, моя хорошая? Как изба? Крыша, наверное, прохудилась? Но ничего, я скоро приеду. Вот только времечко выберу. Сама знаешь – цветы любому не оставишь, цветы понимать надо. Перевод вышлю на днях. Маленький, правда, но ничего. Береги себя. Ты бы только знала, как я по тебе соскучился. Пиши мне, как всегда – до востребования. Целую, твой сын Виктор. Поклоны от меня Дарье Степановне, деду Мише... Всем...»

Вскоре я уехал в командировку, а когда вернулся, узнал, что комендант повесился.

— За счет государства похоронили, — сказал мне знакомый. — На милицейской машине на кладбище отвезли. Ни поминок, ни слез... Ты чего?!

Я повернулся и пошел длинной солнечной улицей. А навстречу мне шли люди. Такие разные люди...

СМОРЧОК

По нему можно было проверять время. Ровно в десять, минута в минуту, когда в гардеробной бани уже густо пахло веником, табаком, а разомлевшие, благодушно настроенные мужики неспешно цедили пиво, сдувая с кончика носа капельки пота, в дверях, словно привидение, появлялась тщедушная фигура в замызганном пиджаке, спортивных брюках с обвислым задом и парусиновых туфлях со стоптанными вбок каблуками.

Некоторое время он переминался с ноги на ногу, шумно шмыгал носом и брел к стоявшей рядом с буфетом пустой бочке из-под пива. Помогая себе одной рукой, садился, другая болталась вдоль тела, будто кусок толстой веревки. Втягивал голову в плечи, горбился и, жалко улыбаясь маленьким личиком с большими мешками под глазами и облизывая полные, в темном налете губы, не отрываясь смотрел на толпившихся у буфетной стойки мужиков. Те косились на него и, снимая со стойки наполненные кружки, отходили неестественно прямо. Наконец кто-нибудь, брезгливо морщась, тыкал ему кружку в руку. Он жадно хватал ее, давясь, выпивал и, вытирая с небритого подбородка желтые капли, сипло бормотал слова благодарности. Вытаскивал из кармана ворох окурков, сосредоточенно выбирал, какой побольше; ловко управляясь со спичками, закуривал, дыша после каждой затяжки словно чертовски усталый человек, оглядывая всех повеселевшим взглядом.

Докурив, слезал с бочки, подсаживался к кому-нибудь и, бесстыдно глядя в рот, предлагал:

— Хочешь, локоть укушу?

Обычно это был незнакомый человек. Завсегдатаи бани знали о его умении и от этих надоевших предложений просто отмахивались.

– Локоть?! – удивленно переспрашивал не знающий его человек и, оглядев, неохотно тянул: – Попробуй...

– А кружечку купишь?

И если тот соглашался, так же быстро добавлял:

– И бутерброд...

Неизвестно, что у него было с рукой, но локоть он кусал свободно. Брал левой рукой локоть правой так, чтобы запястье правой руки ложилось под локоть левой, тянул на себя и кусал. Укусив, отпускал ее, она стучала по бедру и, качнувшись, безвольно повисала.

Взяв кружку и бутерброд, попрошайка возвращался на прежнее место. Медленно, глядя в одну точку, пил, заедая бутербродом. Закончив с тем и другим, останавливал кого-нибудь и восклицал:

– Слушай, что я тебе расскажу...

Рассказывал он обычно о войне, в которой якобы участвовал и за которую якобы имеет медаль «За отвагу». Слушали его внимательно, но с переглядкой. Не хватало фантазии представить, что вот этот сидящий на бочке из-под пива человечек мог захватить в плен немецкого офицера, поднять людей в атаку. Но когда он говорил, что его даже хотели представить к Герою, начинали откровенно смеяться:

– С тебя Герой – как с дистрофика тяжеловес...

Он растерянно улыбался. Смотрел на лица и сначала неуверенно, затем все сильнее начинал смеяться сам и сквозь смех тянуть, спрашивать:

– А может, и вправду этого не было? А-а?!

И не понять было, у кого он об этом спрашивает: то ли у себя, то ли у обступивших его мужиков...

Уходил он перед самым закрытием. Долго и по нескольку раз жал руки, запахивал на груди пиджак, приглаживал редкие, с еле заметной проседью волосы и выходил на улицу. Сгорбившись, шаркая ногами, брел куда-то, придерживая одной рукой ворот пиджака, другая болталась в такт шагам...

Кто он, откуда – никто не знал, да и не интересовался. Знали одно, что кличут Сморчком и что он охотно откликается на эту кличку, ожидая, что за обращением последует угощение.

В тот день он пришел как обычно. Занял место на бочке и стал смотреть на стоявших у буфетной стойки мужиков. Провожая каждую кружку жадным взглядом и по-собачьи заглядывая в глаза, просяще улыбался. Очередь у буфета меняла свою длину, но никто не угощал его пивом.

Сморчок слез с бочки и, толкаясь среди мужиков, то одному, то другому предлагал:

– Хочешь, локоть укушу?

– Да отстань ты со своим локтем! – раздраженно гнали его. – Надел хуже горькой редьки!

Сморчок все с той же улыбкой оглядывался, переминался и, не встретив ни одного сочувствующего взгляда, отходил, чтоб через некоторое время вновь подойти с той же просьбой.

– До чего дошел! Я б на его месте лучше головой в прорубь, – презрительно глядя на потерянно стоявшего у стены Сморчка, громко произнес один из мужиков.

– Пиво кончается! – во всеуслышание сказала буфетчица.

Сморчок вздрогнул. Зашарил по карманам. Растерянно оглянулся. Снова полез в карман пиджака, достал что-то и, зажав в руке, подошел к сидевшему на диване мужчине. Жалобно, словно просящий извинения ребенок, попросил:

– Купи кружечку! Я тебе на блесенки...

Он разжал ладонь. В ней, матово поблескивая, лежала медаль «За отвагу».

– Хорошие блесенки выйдут! Не ржавеет. Сам знаешь...

– Откуда мне знать? – буркнул мужчина, взяв медаль.

Повертел в пальцах. Потер о рукав добротного пальто. Небрежно опустил в карман, достал кошелек и стал медленно вытаскивать из него и складывать стопкой на валик дивана монеты.

Сморчок провожал взглядом каждую. Шевелил губами.

– Бери! – сказал мужчина, кивая на стопку мелочи.

Сморчок торопливо схватил ее. Одна из монет упала на покрытый плиткой пол, звякнула и, описав короткую дугу, закатилась под диван. Сморчок лег на пол, просунул руку между ног сидящих, долго шарил. Наконец достал и торопливой походкой пошел к буфету. Взял наполненную кружку и, словно пугаясь, что отберут, выпил.

– Как думаешь, пойдет на блесну? – спросил мужчина у соседа, показывая медаль.

Тот долго вертел, прикидывал и так и эдак. Почмокал губами, ответил:

– Пойти-то, может, и пойдет... Надпись, конечно, придется напильником... По толщине, в общем-то, нормально, а вот блеска не будет, как ни полируй. Впрочем, попробуй. Я лично с шабера делаю. Правда, возни побольше – металл крепче... – И, взглянув в сторону буфета, испуганно произнес:

– Что это с ним?

Сморчок смотрел на них, порывался что-то сказать, но лишь беззвучно разевал рот, бледнел и, царапая рукой буфетную стойку, медленно сползал на пол. Буфетчица вскрикнула.

– Родные, знакомые есть? – спросил врач, когда уносили прикрытое простыней тело Сморчка.

Все молчали.

– Ну фамилию, имя знает кто?

– Сморчком звали, – неуверенно произнес кто-то.

Врач потер подбородок и последовал за носилками. За ним и все остальные. В гардеробной стало тихо и пусто, и лишь забытая на диване медаль, поймав солнечный луч, швырнула его на покрытую бисером влаги стену.

СДЕЛКА

– Кирилл! Поди-ка сюда!

Посреди пыльной улицы шел человек. Услышав свое имя, он остановился, переступил с ноги на ногу и, загребая пыль стоптанными башмаками, повернул к стоящему у калитки высокому, аккуратно одетому мужчине. Подойдя, хмуро спросил:

– Чего тебе?

– Выпить хочешь? – спросил высокий, слегка отворачивая лицо.

– А кто не хочет? – облизывая полные губы, хрипло тянет Кирилл. И откашлявшись в кулак: – А чо надо-то?

– Собаку застрелишь?

– Собаку? Можно. Только... – Кирилл щелкает пальцем по кадыку. – Сушь великая...

– Куплена, вчера еще купил. В холодильнике, холодненькая! – улыбаясь, говорит высокий.

Кадык у Кирилла прыгает, по опухшему небритому лицу ползет ответная улыбка.

– Ты того, Кирилл, ты недолго, – говорит высокий, передавая ружье и поводок с собакой, – а то, неровен час, уйду куда...

Кирилл хмурится, вскидывая на плечо ружье:

– Ты б того, дал бы мне ее с собой-то?

– Ишь! Нет уж, милый. Сначала дело справь. Бутылка, она денег стоит. Да что ты переживаешь? Дело-то секундное, вернешься – получишь.

Кирилл вздыхает, опять переминается и зло дергает поводок:

– Пошли, псина!

Высокий некоторое время смотрит вслед, сплевывает и, аккуратно притворив калитку, идет в избу.

– Договорился? – спрашивает у него жена, вышедшая на крыльцо.

– С этим-то? Да с ним за бутылку о чем хочешь договоришься, – ухмыляется муж и переводит разговор.

До леса недалеко. «Холодная, это хорошо! Холодненькая, она легче идет!» – думает Кирилл и дергает поводок:

– Да шагай ты, псина, и морду назад не ворочь! Не ворочь, тебе говорю! Собачья твоя жисть, и жалеть не о чем...

В лесу жарко. Пахнет смолой. Тихо.

– Ишь, благодать-то... А тихо-то! Слышь, псина?

Кирилл косится в сторону собаки. Она стоит, опустив морду, не отвечает. Кирилл хмурится, сворачивает вправо от тропинки. Пройдя немного, привязывает собаку к дереву. Садится рядом. Кладет ружье на колени. Вертит головой. Невдалеке, в кустах, тенькает птица. Кирилл вздыхает, стягивает с головы кепку, поглаживает ладонью редкие волосы:

– Хорошо...

Переводит взгляд на собаку. «Поспешать надо бы. А то и вправду, уйдет хозяин куда, ищи...» Тяжело поднявшись, взводит курок, целится. И, неожиданно для себя, кричит:

– Да не смотри ты на меня, собачье отродье! Кому говорю!

Лицо Кирилл краснеет от крика, на шее вздувается вена.

– Какого черта хвостом машешь? А? Я тебя спрашиваю? – И, подскочив к собаке, Кирилл бьет ее ногой. Собака сжимается, прячет морду в лапы. Кирилл в недоумении.

– Да рычи ты, бросайся на меня... Собака ты иль не собака?..

Собака в ответ переворачивается на спину.

– Да я ж тебя! – кричит Кирилл, вскидывая ружье. И – замирает, удивленно и растерянно глядя на собаку.

– Да ты что, псина, плачешь?

Кирилл садится на корточки, гладит собаку. Пальцы у него дрожат.

– Чего ж руку-то лижешь? – спрашивает Кирилл. – Тебя ж бьют, а ты руку лижешь. Как же это? Достоинства у тебя нету, злости нету, какая ж ты собака после этого...

Замолкает, садится, кладет ружье рядом. Обхватывает колени руками и долго сидит, глядя в густоту кустарника, слегка покачиваясь. Собака садится рядом, морда у собаки теплая, она дышит в ухо, словно вздыхая, пугливо ласкается.

– Ишь ты, – бормочет Кирилл. – Ишь, псина...

Отвязывает собаку и, держа рукой поводок, а другой волоча ружье, идет вон из леса, бормоча себе под нос какие-то слова, которых собака – собачьим своим умом – понять не может.

ЛИЦЕНЗИЯ

Из лесу на берег реки вышел лось. Остановился, вскинул большую горбоносую голову, повел длинными закругленными ушами, замер, сильно и глубоко втянул колющий морозный воздух.

Его путь лежал на другой берег реки, туда, где росли молодые осинки, кусты можжевельника. Где-то неподалеку громко и четко барабанил дятел. Лось глубоко вздохнул, выпустил из ноздрей розоватые от света солнца клубы пара, переступил длинными сильными ногами и сначала медленно, а затем все быстрее побежал размашистой иноходью, оставляя на белизне снега четкий след.

Он бежал легко, высоко вскинув увенчанную, словно короной, разлапистыми рогами голову. Ему оставалось совсем немного до берега, когда услышал, как что-то затрещало у него под ногами. Инстинктивно метнул свое тело вперед, но задние ноги не ощутили привычной твердости, и он рухнул в черную неприветливую воду, приминая неповоротливые льдины, взметая мириады брызг, которые, замерзая на его спине и боках, принимали вид белых шариков.

Вскинув передние ноги, он со страшной силой опустил их на кромку льда – и так раз за разом. Но сила ударов слабела...

В это время на берегу появился человек. Лось, насколько позволяла ему ширина полыни, заметался и, собрав последние силы, сделал отчаянную попытку выскочить на лед, но ноги сорвались, и он вновь рухнул, выталкивая на снег широкие полотна воды.

Человек какое-то время молча смотрел на него, затем снял и положил на снег вещмешок, сверху – ружье, достал топор, осторожно ступая, подошел к краю полыни и размахнулся. Лось дернулся, закрыл глаза. Послышался удар, за ним другой – удары следовали без остановки. Прорубая во льду в сторону берега что-то вроде узкого коридора, человек снял фуфайку, скинул шапку. Лед был не толст, но крепок.

Прорубив, человек отошел к вещмешку, бросил топор. Лось выбрался на берег. У него не было сил даже стряхнуть воду. Он сделал шаг, другой в направлении молодого осинника по розовому, изрезанному множеством теней снегу, и в это время страшный удар в голову заставил его подогнуть передние ноги. Неохотно соглашаясь со случившимся, он опрокинулся набок, вытянув морду в сторону недобро загудевшего леса. Из того места, где раньше был глаз, хлестала кровь...

Человек в это время, озираясь и вкладывая в стволы ружья патроны, пробормотал:

– Вот и не пропала лицензия...

ПРОТАЛИНКА

Он спал в комнате, на диване. Рядом на стуле стояла пепельница, лежали папиросы и спички.

Раньше он спал в спальне вместе с женой, а сейчас на его месте видела сны его повзрослевшая дочь. Мать приняла ее под крылышко в один из дней, когда дул северный ветер и в комнате было холодно.

– И тебе не стыдно? – язвительно спросила у него жена. – Родная дочь мерзнет, а ты нежишься в тепле...

Через несколько дней ветер сменился, в комнате стало даже теплей, чем в спальне, но жена его не звала. И дочь молчала...

Диван был мал для его крупного тела, но он быстро привык к этому неудобству, и теперь ему нравилось спать одному: не надо было выслушивать бесконечные жалобы жены на нехватку денег, ее желчные рассказы о знакомых, вымученные охи по поводу ею же самой придуманных болезней. Он мог засыпать спокойно, думая только о своем, читать и курить сколько захочется. Ему нравилось просыпаться среди ночи и, устроившись поудобней, слушать тишину, ту тишину, что приходит в квартиру, когда в ней спят люди, и с удовольствием думать, что до утра еще далеко.

Иногда он вспоминал свою жизнь. Вспоминал жадно, стараясь в однотонной серости прожитого отыскать голубую проталинку. И не находил...

...Он спал. И во сне, слушая тихую печальную мелодию, горько, с тоской плакал. Он не помнил, что заставило его проснуться, но, открыв глаза, с удивлением, смешанным с испугом, заметил, что всхлипывает, что по лицу его катятся слезы.

– Плачу?! – громко спросил он самого себя, глядя широко раскрытыми глазами в глубокую темноту. – Я плачу? – Удивление звучало в его голосе. – Плачу! – признался он немного погодя, вдумываясь в это почти забытое с годами слово. И вдруг ощутил непонятную боль по какой-то давней утрате.

У него было что-то дорогое и светлое... Было, было! Но почему-то ушло, навсегда ушло, оставив тоску и заглушаемую жалость к самому себе...

– Да что это со мной? – растерянно прошептал он, чувствуя, как снова наворачиваются на глаза непрошенные, но и не сдерживаемые слезы. – С чего бы это?

И вдруг вспомнил. Вспомнил тихую печальную мелодию, ту, что слышал во сне. Сердце, словно радуясь этому, сладко заныло.

– Ну хорошо, – продолжал он вслух, и слова гулко разносились в большой комнате. – Хорошо. Я вспомню все. Ну и что? Что изменится в моей жизни от этого? Ровным счетом ничего... Но ведь она приснилась мне... – растерянно пробормотал он. – Приснилась же... И это что-нибудь да значит...

Он встал и подошел к окну.

Город спал. Окно смотрело на проспект.

Он уже не плакал. Но боль от незаслуженной обиды жизни, глухая тоска не покидали его.

В тишину упал робкий стук. Он стал настойчивей, смелей, и вот беспощадный ливень смело шарахнул по оконному стеклу, проспекту, городу... Он слышал, как с хрустом, словно солома, ломались струи дождя, ударяясь о карниз. Открыл форточку. Шум дождя стал отчетливей. В лицо пахнуло влажной прохладой и запахом цветущей сирени.

И он вспомнил. Вспомнил сразу.

В ушах вновь зазвучала тихая печальная мелодия, и перед мысленным взором предстала юная девушка, которую он когда-то любил и которая любила его. Он не женился на ней только потому, что она была хроменькой.

Вспомнил теплый летний вечер и их двоих, рядышком сидящих на берегу узкой тихой речки. Вспомнил имя: Шура, Шурочка Петухова. Вспомнил волосы любимой – пушистые, пахнущие сиренью, ее губы – они тоже пахли сиренью... И грустный голос:

– Ты знаешь, я так люблю эту мелодию...

Ее лицо, такое печальное, и слова:

– Не надо меня целовать... Мне так хочется плакать...

...Он сидел на диване до самого утра. За окном, не умолкая, шумел дождь, в комнате горько и сладко пахло сиренью...

И только перед самым рассветом понял, что, сам того не замечая, все эти годы был согрет той первой своей любовью. Юная нежная девушка, запах сирени, забытая музыка – единственная проталинка в его жизни.

СЧЕТ ЗА ОДИНОЧЕСТВО

Утро. Тихо. Дверь в прихожую приоткрыта, и мне хорошо слышны шорох телефонного диска и хрипловатый голос хозяина квартиры, у которого я больше месяца назад снял одну из трех комнат.

– Междугородная? Здравствуйте, девушка... Мне, пожалуйста, Мариуполь... Спасибо...

Все! Больше мне, при всем желании, не заснуть. После разговора по телефону он, нещадно шаркая ногами и что-то бормоча, как неприкаянный будет ходить из комнаты в комнату, двигать стулья, включать и выключать радио, а то придет ко мне – жаловаться на судьбу.

Я уже знаю, что он почти всю свою жизнь проработал бухгалтером, что ему шестьдесят семь лет, что имеет два ранения, что у него большое сердце, что жена однажды утром ушла от него к другому мужчине, который когда-то был его другом, а дети, повзрослев, разъехались кто куда. Знаю и то, что после выхода на пенсию его с работы никто не навещал и даже не звонил, что живет он один, и многое, многое другое...

Я неохотно встаю с кровати, надеваю брюки и иду в прихожую.

В ней царит полумрак и пахнет валерьянкой. Он, горбясь, в рубашке навыпуск, спортивном трико, сидит на стоящей рядом с телефонным аппаратом маленькой скамейке и, поправляя прикрепленный за ухом слуховой аппарат, близоруко щурясь, перелистывает страницы потрепанной записной книжки. Пальцы его рук, длинные, тонкие, дрожат.

– Доброе утро, Валентин Иванович! – громко и нарочито бодро говорю я.

– Здравствуй, – взглянув на меня, он, как во все предыдущие дни, протягивает записную книжку, – прочитать не могу.

И на этой странице адрес настолько неразборчив, что я с большим трудом разбираю название города, номер телефона и фамилию.

— Благодарю, — он наклоняет голову, покрытую седыми, коротко подстриженными волосами.

Я умываюсь, когда звонит телефон.

— Не отвечает, — слышу потерянное. — Тогда дайте, пожалуйста, Новгород... Спасибо большое...

В Мариуполь он звонит каждый божий день с какой-то непонятной настойчивостью. Первое время ему отвечали, но раз за разом разговоры становились короче, и вот — молчание.

— Не отвечает Мариуполь, — он жалобно улыбается.

— Наверное, дома никого нет, — утешаю. — Лето на дворе. Уехали куда-нибудь.

Одеваюсь и подхожу к окну. Из него виден железнодорожный вокзал и голубой клочок озера, на берегу которого стоит белый катер.

Снова громко звонит телефон.

— Да!.. Я это, Пашенька, я... Здравствуй, милый!.. Здоровье? Ничего здоровье... Сам-то как?.. Ну и слава Богу, слава Богу... Приехал бы хоть на денечек... Да... Я понимаю, — голос его потускнел. — Звони хоть... Нет, не заходят... Не знаю я... Старый стал, ненужный... Ну, до свидания, милый, до свидания...

Негромкий щелчок, тишина, затем снова шорох телефонного диска и голос:

— Мне, пожалуйста, Ленинград.

В Ленинграде живет его дочь. Я видел ее. Она приезжала — расфуфыренная, властная. Снова звонит телефон.

— Это ты, Юленька?.. Здравствуй... Я это... Отец... Спешишь? Хорошо, я позвоню потом... — продолжительное молчание, негромкий щелчок и снова звонок.

— Переговорили... Хорошо... — голос его дрожит.

Не выглядывая в прихожую, я знаю, что сейчас он снова сидит на скамейке и неслышно плачет, держа в руках записную книжку. Знаю и то, что немного погодя, успокоившись, он снова будет кому-то звонить, может, тому, чей адрес я только что разобрал, или придет ко мне.

Так и есть.

Раздается негромкий стук в дверь. Я оборачиваюсь. Он стоит на пороге – высокий, старый.

– Можно? – глаза у него красные.

– Конечно, Валентин Иванович, – я отхожу от окна.

Он оглядывает комнату, тяжело опускается на краешек стула, молчит и долго смотрит куда-то в угол.

Чистый, теплый свет утра высвечивает каждую морщинку на его продолговатом лице.

Молчу и я.

За стеной равнодушно бьют часы. Следом неожиданно и громко звонят в дверь.

Он вздрагивает, вопросительно и несколько удивленно смотрит на меня, затем торопливо выходит в прихожую, откуда раздается звук открываемой двери и приветливый женский голос:

– Здравствуйте!

Меня разбирает любопытство. За время, что я прожил здесь, к нему никто не заходил.

Я беру со стола чашку, блюдо и выхожу из комнаты. У порога, с сумкой в руке, стоит молодая женщина.

– Доброе утро, – говорю я и прохожу в кухню.

– Я из Госстраха, – сквозь застекленную дверь я вижу, как она достает из сумочки стопку бумаг и ручку. – Страховать будете? – она вопросительно смотрит на Валентина Ивановича.

– Страховать? – переспрашивает он. – От чего?

– Вы что, ни разу не страховались? – она удивленно смотрит на него.

– Не довелось, – Валентин Иванович пожимает плечами. – Все как-то... А сейчас вроде бы и ни к чему...

– Ну что вы! – восклицает она. – Страховать очень выгодно, особенно в вашем возрасте.

Валентин Иванович усмехается.

– Страховать можно от несчастного случая, от пожара, от стихийного бедствия, от...

Валентин Иванович переступает с ноги на ногу:

– Нет, милая, спасибо. Извини за хлопоты.

– Зря отказываетесь, – женщина прячет бумаги в сумку.

Хлопает дверь. Валентин Иванович, грустно улыбаясь, идет в кухню, садится на табурет, качает головой:

– Вот если бы от одиночества... Хотя бы на один день, а так... – и потерянно машет рукой.

Я переминаюсь с ноги на ногу и ухожу в свою комнату.

Немного погодя в прихожей снова раздается шорох телефонного диска. Я беру плащ и выхожу из квартиры. Закрывая дверь, слышу:

– Девушка, мне, пожалуйста, Актюбинск... Спасибо...

На лестничной площадке пожилая полная женщина раскладывает газеты и письма по висящим в ряд почтовым ящикам.

– Слушайте, – неожиданно обращается она ко мне. – Что это за богатей живет в пятой квартире? Который месяц подряд за телефонные переговоры по десятке, а то и по две платит. Это же с ума сойти можно. – Лицо ее в капельках пота. – За двадцать рублей, – продолжает она, – можно ребенка обновку купить.

Я молча прохожу мимо.

– Совсем люди с ума посходили, – слышу удивленное. – Ладно б за что, а то за разговор...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Часы показывали половину десятого. Он никогда не вставал так поздно и удивился этому. Вспомнил, что сегодня его день рождения. Вышел во двор.

День набирал силу. Трава уже не блестела, и растущая вдалеке осина горела холодным огнем. Земля под ней была усыпана листьями.

Он любил осень, она казалась ему цветущей женщиной, доброй хозяйкой, готовящей свое жилье к приходу гостей и льющей слезы просто так, чтобы очистить сердце.

Напившись чаю, он докурил папиросу, оделся и вышел из избы. Постоял на крыльце, припер дверь палкой и зашагал по тропинке.

В лесу было хорошо. Монистом краснела брусника, и вокруг карнавал красок. Где-то неподалеку барабанил дятел.

Он шагал по лесу, засунув руки в карманы полупальто. Под ногами шуршал лист. Пройдя немного, прислонился плечом к стволу сосны. Небо было высоким и голубым.

Со стороны слышались звяканье ведер и голоса. Он пошел в сторону голосов и вскоре увидел женщину с девочкой. Они собирали ягоды. Окликнул. Женщина порывисто обернулась.

Он знал их. Они жили на самой дальней улице поселка в щитовом доме. Он как-то привозил им дрова. Но это было давно.

Женщина всмотрелась. Улыбнулась и облегчено произнесла:

– А! Это ты, Федор! – и, поправляя сбившийся платок, поинтересовалась: – А ты чего здесь бродишь?

Он подошел поближе. Пожал плечами и ответил:

– Так! – и, немного помолчав, добавил: – День рождения у меня сегодня...

Женщина рассмеялась.

– День рождения за столом празднуют, а не в лесу!

Он ничего не ответил. Девочка смотрела на него исподлобья.

– Что, Оля? Не узнала дядьку? – неожиданно вспомнив ее имя, спросил он и присел перед ней на корточки. Девочка ничего не ответила и пододвинулась ближе к матери.

– Твоя-то пишет? – спросила женщина, когда они зашагали рядом.

Он покачал головой.

– Так один и живешь?

– Так и живу.

– Скучно?

– Весело! – ответил он и усмехнулся.

Женщина вздохнула.

– А сама-то как живешь? – спросил он.

– Помаленьку.

– Пишет?

– Алименты шлет.

Они шли молча, время от времени останавливаясь, чтобы собрать ягоды. Когда ведро и корзинка наполнились до половины, пошли в сторону тропинки. Выйдя на нее, остановились.

– Что ж в поселок-то не идешь жить? – поинтересовалась женщина. – Все ж веселей. А то в своей берлоге и разговаривать разучишься.

– С людьми не веселей, – обронил он. Немного помолчав, добавил: – Что в лесу один, что среди людей один. Все едино.

Женщина внимательно посмотрела на него и сказала со вздохом:

– А ты стареешь, Федор. На зиму-то хоть к людям перебирайся!

Он промолчал.

– Может, женщину найдешь, – сказала она. – Не все одному-то быть!

– Ладно, пойду я, – произнес он.

– Счастливо!

Он улыбнулся девочке и, сгорбившись, зашагал по тропинке. Когда отошел немного, женщина прокричала вслед:

– Федор! Вечером заходи! Я грибницу сделаю. День рождения справим!

Он ничего не ответил.

– Смотри, я ждать буду!

Он никогда не думал о старости. И сейчас шел растерянный. Войдя в избу, прошел к столу. Сел, опустив руки на колени. Затем медленно дотянулся до бутылки и налил полный стакан, выпил. Потом лег на кровать, лежал долго и не заметил, как заснул.

Когда проснулся, шел снег. Он был крупный и падал медленно. Было очень тихо. И он подумал, что нет ничего на свете тише падающего снега. Снег был очень белый. Горящая холодным огнем осина потухла и присмирела. И все вокруг стало каким-то робким.

В избе тикали часы. Звук их показался ему необычайно громким и совсем ненужным. Он оглядел избу, затем быстро вышел и, забыв припереть дверь, зашагал по тропинке в сторону поселка, оставляя на снегу крупный и четкий след.

ПОЛЫНЯ

Он сидел за столом. Пил чай и слушал вой непогоды. В избе было тепло. Чуткий язычок пламени вздрагивал, наполняя дом серым светом. Неожиданно в избу ворвался шум и вой непогоды, язычок пламени шарахнулся, грозя исчезнуть. Хлопнула дверь. Шум пропал. На пороге стояла женщина. Она прошла к столу и медленно опустилась на табурет. Снег на ее платке, полушубке таял.

– Что надобно? – спросил он, отодвигая кружку и шаря по карманам в поисках курева.

Женщина подняла голову. По ее лицу текли слезы.

«А может, снег растаял», – подумал он.

Женщина всхлипнула и проговорила, проглатывая окончания слов:

– Андрюшка мой... в лес... утром ушел... все нет.

Он сцепил пальцы и, глядя в угол, спросил:

– Куда?

Женщина торопливо объяснила.

– Значит, нужен стал? Вспомнила, – произнес он и криво усмехнулся.

Она опустила голову и ничего не ответила. Он раскурил папиросу, затянулся, сморщился, смял и с ожесточением отбросил. Опираясь рукой о стол, поднялся, прошел к двери и стал одеваться. Женщина следила за его движениями. Когда он снял со стены ружье и взялся за дверную ручку, она приподнялась.

– Сиди, – сказал он. – Куда тебе. По лесу обоих тащить, что ли?

Женщина некоторое время смотрела на дверь. Затем встала и пошла к окну. За окном в желтом квадрате света барахталась в снегу вьюга. Передернула плечами. Отвернулась. Обвела взглядом избу. Прибавила свет в лампе. Прошла к кровати и стала ее заправлять.

Одно время ей казалось, что она любит его. Но пришел Георгий. Так часто бывает в жизни. Георгий прожил год и ушел. Вольному воля. Женщины говорят: выходи замуж. Хватит. Научена. Да и зачем ей мужик? Алименты Георгий присылает хорошие. В праздники – подарки. Значит, не забыл, помнит. Может, вернется еще, чем черт не шутит.

А он... Лишь бы Андрюшку отыскал. Отыщет. Он все отыщет. А к кому еще было обратиться? Не к кому. Не ее же вина, раз сердце не льнет.

Она приподняла подушку и увидела письмо в белом конверте. Удивилась. Все знали, что он один на свете, да и почерк был знакомый. Она оглянулась, развернула письмо и медленно опустилась на койку. Письмо было от Георгия.

«Привет! – писал он. – Ты, верно, с ума сошел. Мое дело маленькое. Деньги я, что посылаешь для пересылки ей, – высылаю. Они, верно, у тебя лишние? И подарки тоже аккуратно отсылаю. Жалко мне тебя как мужику мужика, да что поделаешь. Ты здорово не горюй, еще отыщешь себе бабу. А к ней не думай свататься, она баба с норовом. Да и я тогда на ней женился так, ради зла к тебе. Помнишь, ты меня на охоте заловил? Я откровенно пишу. Ну, ладно, что было, то быльем поросло. Пока. Георгий».

Рука с письмом упала на колени. Лицо ее побледнело...

Дверь распахнулась, и на пороге появился сын. Она бросилась к нему, обняла и заплакала. Сын уперся руками ей в грудь и, с трудом шевеля посиневшими от холода губами, проговорил:

– Дядя там... Провалился. Сказал, чтоб скорей...

Она выбежала из избы. От избы была хорошо видна речка. Неподалеку от берега темнело черное пятно густой, как деготь, воды... И над ней голосила вьюга.

БЕЛЫЙ САХАР

В войну Саня жил в деревенской избушке, выходившей скотной пристройкой на улицу, а окнами – на огород. Изба была старая, все в ней скрипело. Во время дождей соломенная крыша протекала, приходилось снимать со стены часы и подставлять тазики и ведра. Вместе с Саней жили мама, маленькая Татка и бабушка.

Бабушка была большой чаевницей. Через каждые два-три часа она кипятила на таганке чайник, затем, весело охая, лезла на скамейку и с божницы, где уж давно не было икон, доставала заветную зеленую баночку. Когда, строго поджав губы, она отмеряла заварку,

лицо ее становилось торжественным, словно она читала письмо от папы. В эти минуты бабушка не отвечала на вопросы, и под руку ей лучше было не соваться. Так же степенно бабушка заливала кипятком в серебряный чайничек, ставила его на большой чайник и сверху укрывала матрешкой с непомерно большой юбкой. Чай настаивался долго. Потом, горячий и красный, играл на солнце.

Отхлебнув из блюдечка, бабушка крякала.

– Саня, а Саня... – начинала она.

– Чего? – с радостной готовностью откликался белобрысый Саня.

– Ты знаешь, Саня, – тянула бабушка, – ты поди-ка принеси...

– Да чего? – срывался Саня с табуретки.

– Кусочек сахару!

Саня останавливался как вкопанный, думал.

– А где он, бабушка?

– Да ты уж принеси, – шурясь на блюдечко, говорила бабушка.

– Да нету же сахара у нас, – разочарованно догадывался Саня. – Опять ты обманула, бабушка...

– Ну вот, какой нехороший внук... Не может принести хоть маленький кусочек сахару, – ворчала старушка. – Бабушка его кормит, поит, а он не любит бабушку. А без сахара бабушка умрет. Разве можно пить чай без сахара?

– Да где же я возьму? – с отчаянием шептал Саня.

Его пугала мысль, что бабушка умрет, а он ей ничем помочь не может. А без бабушки, наверное, совсем плохо будет. Папа на войне, мама на работе, от сестренки Татки толку совсем мало – как же без бабушки? И Санька чувствовал, что в глазах начинают шевелиться какие-то шипучие мурашки.

– Ну-ну, – вдруг говорила бабушка, и голос у нее становился ласковым и теплым, как та матрешка, снятая с чайника. – Не дуйся-ка, дутырь... Пошутила я...

Бабушка вставала из-за стола, легонько поддавала Сане ниже поясницы, шла к печке и доставала противень со слегка провяленными ломтиками свеклы.

– Вот он, наш сахар... Садись пей...

Ломтики были мягкие и вкусные. Но сладости в них было, по

Санькиному мнению, маловато. Саня пробовал запихивать в рот сразу по несколько кусков – становилось чуть-чуть слаще.

– Бабушка, а какой сахар бывает?

– Сахар-то? Белый он... Да ты не помнишь разве? До пяти-то лет много ты сахара поел...

– Нет, не помню, – честно признавался Саня. Он напрягал память, но ничего путного не выходило – какие-то скупые картинки: мать в цветах на лугу, отец стругает удилище, потом город, вспышки голубых огней на проводах, зеленая груша, которую он так и не съел в гостях...

Вот войну Саня помнил. В Ленинграде палили зенитки, а по небу плыл маленький самолет, и наши его так и не сбили. Ночью немцы повесили осветительную ракету. Она горела долго и ярко, и все молчали. А самолет гудел. И было страшно. А еще страшнее было на какой-то станции, когда Саня остался один, а немцы начали бомбить. Бомбы визжали, как кошки, когда на хвост наступишь, и даже еще хуже. И земля тряслась. И наших не видно. А потом несли носилки, закрытые простыней, и с них капало. А потом они уехали далеко, и тут войны нет. Но и сахара нет... И хлеба тоже. А вот картошка есть, и огурцы скоро поспеют, а вчера мама принесла брынзу. Вкуснящая, только соли много.

В июне Саньку отправили в пионерский лагерь.

До города его проводила мама. Там, на улице под пыльными тополями, Саня вместе с незнакомыми ребятами залез в кузов грузовика. Мама подала ему мешочек с сухарями и, когда машина тронулась, долго махала рукой, становясь все меньше и меньше.

Машину здорово трясло. Один мальчик заплакал, и ему дали яблоко. На станции пересели в поезд и поехали в город Горький. Все это Саня запомнил плохо. А вот потом начались удивительные вещи. Утром ребят провели по городу на пристань. Вот где было интересно! Здесь стояло много-много пароходов. Саня уже умел читать. На одном было написано «Ветлуга», на другом – «Буй», на третьем – «Некрасов». Саня и другие ребята сели на самый хороший, самый белый пароход – «Волгарь». Сначала все стояли наверху. Палуба качалась, ветер ходил под рубашкой, а по сторонам плыли деревни, коровы, деревья.

– Это Волга, – сказала тетенька, которая ехала с ребятами в машине.

Это была, конечно, Волга. Тут и спорить никто не стал. Широкая, спокойная, а глубина – не донырнуть нипочем, наверное.

Поспорили потом, когда один высокий городской мальчик сказал, что если прыгнуть за борт, то не утопнешь, потому что пароход остановят и кинут спасательный круг.

– Утопнешь, – возразил Саня. – Будут для тебя пароход останавливать!

– А вот и не утопну! Да я, если хочешь, и всю Волгу переплыву, – поблуднев, ответил высокий городской мальчик. – Хочешь, брошусь сейчас? – И он сделал шаг к борту.

– Я все Лене Ивановне скажу, – плаксиво затанула маленькая девочка.

– Нет, ты скажи, – не отступал высокий городской мальчик, – веришь или нет?

– Верю, – сказал перепуганный Саня, хотя ему и не верилось.

Девочка все же привела ту самую тетеньку, и она прогнала ребят вниз, в каюты.

Саня сидел на теплой скамье, его приятно покачивало. На белом крашеном потолке соединялись и расходились светлые блики, где-то гудела машина. Саня уснул.

Так толком и не проснувшись, он слез с парохода со всеми, топтал немного по лесной дороге и, когда уже настала ночь, лег на кровать в холодные простыни и укрылся шершавым одеялом. Ночью ему снилась Волга.

А утром начался лагерь. Ух ты! Саня сразу понял, что тут будет весело. Когда запела труба, Саня натянул майку, надел тапочки и вышел на крыльцо. Щурясь от солнца, он огляделся. Из всех домов выходили ребята, на высокой мачте бойко трепетал флаг, а кругом стояли сосны. В столовой Саня оказался рядом с высоким городским мальчиком. Тот тоже узнал Саню и улыбнулся тонкими губами. Сانه дали кружку. Он отхлебнул, удивился и спросил у высокого мальчика:

– Что это?

– Какао... Ничего, пить можно.

Сане дали хлеб, на нем лежал желтый квадратик.

– А это?

– Масло! Вот чудик! Ты откуда такой?

Саня ответить не успел – прямо под нос упали два звонких белых кубика. Мальчик, ожидая нового вопроса, смотрел на Саню, готовый расхохотаться.

– Небось, и этого не знаешь?

Саня покраснел, что-то вспыхнуло в памяти, и он неожиданно для себя сказал, не веря в счастье:

– Знаю... Это сахар!

Он не слышал, что ответил ему насмешливый мальчик: он думал. Затем выпил какао, съел хлеб, а сахар зажал в кулаке. Выйдя из столовой, он оглянулся и побежал в спальню. Там никого не было. Саня высыпал в тумбочку сухари и бережно опустил два липких кусочка в освободившийся мешочек, крепко завязал его и сунул под подушку.

Шли дни за днями. Саня купался в речке, ходил на крутой обрыв, с которого когда-то, спасаясь от царских солдат, бросился в воду народный атаман Сокол, лазил на сосны, подружился с девочкой... И каждый день опускал в ситцевый мешочек шесть кусочков сахара. Ему очень хотелось попробовать хоть разок, какой же вкус у этого сахара, но он терпел.

Подружился Саня и с высоким мальчиком. Его звали чудно – Руслан. Руслан научил Саню играть в шахматы, и друзья сидели за ними часами.

– Слушай, Саня, – сказал как-то Руслан, – я видел, что ты сахар копишь. Куда тебе его?

– Бабушке. У нее нету, – объяснил Саня, глядя в сторону.

Руслан помрачнел. Сдвинул рукой шахматы, тихо сказал:

– А мне некому копить. Детдомовский я. Всех разбомбили. И маму, и тетку, и бабушку – не договорив, он бросился в дверь. Саня нашел его за сараем. Руслан стоял у стены и отворачивался от Саньки.

– Рустик, слышь, хочешь, я тебе весь сахар отдам, – пробормотал Саня и, помолчав, добавил: – И ножик.

– А иди ты к черту, – беззлобно ответил тот и заплакал по-настоящему.

В этот вечер они опоздали на линейку, за что их не взяли в кино. Впрочем, кино было плохое – про любовь...

А еще через неделю ребят повезли домой. Снова Волга, хороший город Горький, потом станция Ветлужная, а вот и знакомый городок Варнавик. Отсюда до Санькиной деревни рукой подать, семь километров.

Санька бодро идет, прижимая к груди заветный мешочек. При расставании Руслан добавил в него свои три порции, и теперь мешочек полон. Стелется под ноги мягкая полевая тропинка, по бокам ее – то рожь выше Санькиной головы, то луговые цветы лютики. Ныряет тропинка в овраги, выбегает на пригорок, а Санька поет и думает: «Я несу бабушке сахар».

Вот и околица деревни, а третий дом – Санькин. Санька смотрит ревниво: «А что тут без меня изменилось? Вот лопушок вылез из-под сарая, вот крапива у крыльца разрослась. Ужо я ее приведу в порядок!»

Летит Санька на крыльцо, распахивает двери. Бабушка сидит у стола, читает книгу.

– Бабушка! – орет Санька и бросается к ней. Бабушка роняет очки. И вот уже ее теплые, домашние руки обнимают Саньку, бабушка и плачет, и смеется.

– Да чего ты мешок-то свой не выпускаешь, брось ты его!

– Это тебе, бабушка, – он протягивает мешочек.

– Да ладно, ладно, потом уж, – отмахивается бабушка. – Дай хоть поглядеть на тебя. Вырос-то как, Боже мой, вылитый Володя!

– Нет, ты посмотри, бабушка, – говорит обиженный Санька.

– Да чего у тебя там?

– А ты посмотри!

Саньке весело. Бабушка берет мешочек, долго возится с тесемкой, затем заглядывает внутрь. А Санька так и пляшет от нетерпения.

– Сахар, – шепчет бабушка, – пиленый сахар. Так это ты сам не ел? Ах, Саня, Саня...

Руки у старухи трясутся. Будут еще Саньке и объятия, и слезы, и выговоры, а сейчас бабушка сидит на лавке и шепчет:

– Ах, Саня, Саня...

У ПРИСТАНИ

До прихода катера оставалось еще добрых полчаса. Я вошел в деревянную будку на причале. По потолку, проскальзывая сквозь щели настила, метались солнечные зайчики. Положил на скамейку рюкзак и вышел на берег.

Земляники возле пристани не было, а углубляться в лес я не стал, боялся опоздать на катер. Было тихо и жарко. Я лег в тень густо разросшихся кустов. Лежал, слушал непривычную для меня, городского, тишину. Неподалеку от меня, касаясь друг друга локтями, шли юноша и девушка. Шли медленно.

– Сколько времени? – спросила девушка, останавливаясь.

– Половина второго.

Девушка вздохнула. Обвела взглядом залив.

– Что ты вздыхаешь, Ань? Вернись! Не навеки же расстаемся.

– Я – так. Ничего, – тихо ответила девушка. И, тряхнув головой, рассмеялась. – Просто так...

Взяв юношу за руку, весело потянула в сторону пристани. Они скрылись в будке. Некоторое время было тихо.

– Ты мне будешь писать?

– Да.

Они вышли, облокотились на перила. Густой гудок пришел с озера. Девушка вздрогнула.

– Идет.

– Да. Идет.

– Как быстро.

– Это тебе кажется.

– Знаешь что? – произнесла торопливо девушка. – Давай бросим монету. На счастье! Говорят, кто монету бросит, обязательно снова окажется на том же месте...

Юноша пожал плечами, достал из кармана монету и, широко размахнувшись, бросил в воду. Она блеснула на солнце и бесшумно ушла на дно. К пристани подходил катер. Девушка спокойно смотрела на него. Она – верила.

А я подумал: а кто знает? Как монета легла там, на дне? Орлом или решкой?

СТАРИК

Старик сидел у окна и молча, словно видел это первый и последний раз, смотрел, как уходит солнце. Оно было не большое и не маленькое, как раз по земле.

Солнце уходило неохотно, будто надеялось еще остаться в этом дне, но старик знал, что оно уйдет. Старик давно уж понял, что на свете всему, кроме солнца, неба и земли, приходит конец, последний час, как пришел он для его сына там, на фронте, как пришел к его старухе, а теперь терпеливо ждет его.

«Солнце не человек, – подумал старик. – Оно уйдет и вернется, даже если я умру».

О смерти старик думал без страха. То ли читал где, то ли жизнь подсказала, но смерть он представлял как сон без сновидений.

«Если я усну и проснусь – значит, это был сон, – думал он. – А если нет – то смерть. Но об этом сам я никогда не узнаю, потому как только живые знают, что на земле существует смерть».

А солнце все уходило. И вот уже виден только отсвет его. Но еще розовеют разбросанные по черному словно деготь полю лоскутки снега, еще видны лужи на дороге, которая, торопливо вырвавшись из деревни и разрезая надвое поле, исчезала в лесу.

Старик поднял глаза. За окном, на самом кончике сосульки, робко проклюнулась бледно-розовая капля. Нетерпеливо набухая, она подрагивала, словно боясь, что не успеет сорваться, затем промелькнула мимо окна теплой каплейкой света и, звонко чмокнув у завалины, поставила точку долготе дня.

Старик смотрел, ждал – может, появится еще одна, но остро отточенное теплом дня острие сосульки холодно поблескивало, серело, сливалось с небом. «Видать, последние крохи тепла собрал для нее день», – подумал старик.

При мысли о тепле ему вдруг стало холодно. После смерти жены старик никак не мог согреться, хотя и одевался тепло, и печь топил по несколько раз в день, а потом понял. Понял, что ничто на земле не вернет ему того тепла, которое и не хотела, да унесла с собой его старуха... Старик поежился, втянул голову в плечи, застыл.

Дорога слилась с полем. В небе над лесом появились первые звезды. В избах неспешно, один за одним, гасли огни.

Старик любил смотреть, как засыпает деревня.

В избе стало темно, лишь никелированная спинка кровати, стоявшей в спальне у окна, тускло поблескивала. И там, в темноте, устало и равнодушно тикали ходики, а под печкой, замирая, тихо-хонько скреблась мышь. И старику вдруг показалось, что на стене тикают те самые часы, которые он купил когда-то со своей большой получки, хотя он знал, что те часы, бережно завернутые старухой в тряпицу, он сам давным-давно отнес на чердак. Показалось, что и мышь под печкой скребется все та же, что поселилась в новой, им срубленной избе много лет назад. Показалось вдруг, что все настоящее – лишь только сон, что не было войны и что сидит он сейчас и ждет с работы жену, что вот сейчас, сейчас послышатся во дворе, затем в сенях ее легкие быстрые шаги, обовьют его шею мягкие теплые руки, защекочат лицо ее пушистые волосы, и он услышит вздрагивающий от счастья, от боязни разбудить набегавшегося за день сына шепот: «А вот и я! Заждался?»

Старик невольно прислушался, но, кроме тиканья часов да царапанья мыши под печкой, ничего не услышал и почувствовал, как больно сжалось сердце. И была это такая боль, что ему захотелось не закричать – нет, заголосить, да так, как голосила его жена в тот холодный летний вечер, когда принесли похоронку... Но старик не закричал, не заголосил, слез у него не было, потому что выплакал он их тайком от людей, когда принесли похоронку, когда умерла жена. Он просто вздохнул. Вздохнул так, как вздыхают только старые люди о дорогом, безвозвратно ушедшем.

Старик долго, не шевелясь, смотрел в наполненную тишиной и темнотой избу, затем, тяжело опираясь обеими руками о подоконник, поднялся и, с трудом передвигая плохо гнущиеся ноги, прошел в спальню, сел на кровать, лицом к окну.

В это окно смотрели другие звезды. Их было много, и они были очень красивы на черном небе. Глядя на них, старик вспомнил, что в молодости, и тоже как-то по весне, тесно прижавшись друг к другу, сидели они с женой и смотрели в это окно на эти звезды. Вспомнил, что тогда в избе пахло свежей сосной и им было хорошо.

Хорошо от того, что на свете были они, была любовь, были люди и звезды. А потом на звезды смотрел их сын, и там, среди звезд, он отыскал самое красивое, как говорил он, на всем небе созвездие Волосы Вероники.

«Оно и сейчас еще там, – подумал старик. – А сына нет».

Долго сидел он так, бережно вспоминая ушедшее.

«И чего сижу? – неожиданно спросил он у самого себя. – Чего жду? – и даже оглянулся. – Ждать-то мне чего? Один я...»

И вдруг понял, ясно, отчетливо понял, что ждет возвращения солнца. Ждет привычно, с нетерпением, как ждал всегда...

На востоке, над лесом, нежно заалело небо. И в этой нежности растаяли колючие звезды. Медленным, неудержимым половодьем разлилась над землей утренняя зорька, стирая с неба и с земли остатки ночи. И явилось солнце.

Старик жадно уловил всем своим телом, соскучившимся за ночь по солнечному теплу, его первый, пока чуть теплый луч.

«Печь истопить надобно», – подумал старик с привычной заботой и совсем даже не помышляя о смерти, о том, что жизнь прошла.

Во дворе было прохладно и хорошо пахло талым снегом. Рассыпанные кое-где лужицы были прихвачены тонким ледком и мягко похрустывали под ногами. У поленицы старик остановился, глубоко вздохнул и почувствовал, как сладко закружилась голова. Поленья скользили и падали, и он несколько раз наклонялся, чтобы поднять их.

«Избу бы надо подлатать», – деловито думал он, сидя за чашкой чая и слушая, как потрескивают дрова в печи.

Прошедшая ночь уже казалась ему сном, который то ли был, то ли не был.



«Все больше тянет
в одиночество. Забраться
бы куда-нибудь в глубину
леса, поставить избушку
у какой-нибудь ламбушки
и жить. Жить и писать
среди леса. Уж кто-кто,
а он мешать не будет...»

Б. Кравченко



«Боря очень любил людей, он
получал множество писем из
разных городов, ждал их и на
все старался ответить. Он лю-
бил жизнь и умел радоваться
жизни. А как он заразительно
смеялся...»

*Л. Кравченко,
жена писателя*





«Его герои из этой самой что ни на есть простой жизни. Те, кто строит и сеет, варит и стирает. Но писатель застает человека в тот момент, когда его настигают вечные вопросы, на которые он, как ни силится, не может найти ответ и мучается из-за этого».

Е. Маркова.

«Такая вот жизнь...»



Родничок

ИЗ РАССКАЗОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ПЕРИОДИКЕ

ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ

Личность кондопожского писателя Бориса Евгеньевича Кравченко (1945–1990) по-прежнему притягивает к себе читателей и исследователей. Его рассказы находят отклик в душе людей любого возраста. Это является доказательством того, что это живая литература, литература сегодняшнего времени.

Проблемы нравственности, исторической памяти, отцов и детей, Родины, деревни, природы – центральные для творчества Б. Кравченко. Они звучат особенно остро в его произведениях.

В рассказах писателя поражает любовь к человеку из разных слоев общества 70–90-х годов XX века. Героями рассказов становились рабочие, интеллигенты, деревенские жители, старики, ветераны, бомжи, «чудики», «странные» люди. Б. Кравченко создал целую галерею русских характеров. В его творчестве ощущается удивительная, шемная боль за судьбы русских людей. Открытие человеческой души стало основной задачей художника. Самобытность автора заключается в его особой манере мышления и восприятия окружающей жизни.

17 лет с нами нет талантливой писатель Бориса Кравченко, – и 17 лет с нами, во всей полноте, живет его образ.

За свою недолгую творческую жизнь он написал четыре книги: «Забывтое тепло» (1981), «Такая вот история» (1982), «Среди людей» (1986) и «Дополнительное расследование» (1989). В 1995 году увидела свет уже посмертно книга «Письмо». А спустя десять лет вышел сборник материалов о жизни и творчестве Б. Е. Кравченко «Жил в Кондопоге писатель» (2005).

Многие произведения Б. Кравченко были опубликованы на страницах кондопожских газет «Новая Кондопога» и «Авангард», в республиканской и центральной печати.

В раздел «Родничок» включены рассказы из периодики, которые не вошли в сборники писателя.

*Заведующая информационно-библиографическим отделом
Кондопожской центральной городской библиотеки
Н. Г. УРВАНЦЕВА*

ПОЧЕМУ ТУЧКА ПЛАЧЕТ

Далеко-далеко, в лесу, на берегу маленького и очень красивого озера, жила бабушка Сказка. Ласковая, добрая, а иногда строгая – как все бабушки на свете.

Жила бабушка в очень красивом домике. Стены у него были голубенькие, крыша красная, а окошки зелененькие. А рядом, в соседних домиках, жили герои всех сказок на свете – Аленушка с братцем Иванушкой, Иван-царевич, Кот в сапогах и даже Баба Яга с Кошечем Бессмертным. Баба Яга иногда хотела ругаться, ссориться, но бабушка Сказка не разрешала.

Летом, когда ласково светило солнышко, бабушка Сказка выходила из своего домика, садилась на крылечко и грелась.

Был у бабушки очень хороший друг – Ветерок. Быстрый, теплый и очень добрый. Он прилетал к бабушке Сказке и говорил, кто и где хочет послушать сказки. И вот однажды он прилетел и сказал бабушке, что в одном городе мальчик и девочка хотят услышать самую интересную сказку на свете. И еще сказал Ветерок, что мальчик и девочка никогда не плачут, слушаются маму и папу. Сказал и улетел по своим делам.

– С кем послать сказку? – горюет бабушка. И вдруг видит – летит по небу тучка, маленькая, пушистая и белая-белая.

– Тучка, – говорит бабушка, – отнеси-ка девочке и мальчику сказку.

А тучка была маленькая, но очень гордая. «Вот еще, – подумала она. – Я и сама могу придумать». И ответила бабушке Сказке, что она сама сказку придумает. И полетела дальше. Летит – думает, думает, а придумать не может. И от обиды, от горя, оттого, что не послушалась бабушки Сказки, потемнела и заплакала горько-горько. И ее слезы застучали по крыше домика, в котором жили мальчик и девочка.

ВОЛНЫ

По озеру бегут, догоняя друг дружку, маленькие волны. Они похожи на лесенку в метро, которая никогда не кончается. На своих спинках они несут солнечные лучи. Бегут и улыбаются. Они спешат к золотистому берегу, который ждет их. Вот добежала одна, лизнула берег прохладным упругим язычком. И ласково, как маленький котенок, замурыкала в разноцветных камушках.

ЗВЕЗДА

Она упала ранним вечером в глазастую лужу. Упала и застыла. Ей было, наверное, очень холодно. Какой-то мальчишка подошел к луже, наклонился и долго смотрел. Потом присел, опустил ладошки. Осторожно поднял их. В ладонях уютно лежала звезда. Ей было тепло. А капельки падали в лужу. Он развел ладони. Звездочка дрожала в луже. Еще и еще раз он повторил это. Но уже не улыбаясь, а задумавшись. Он, наверное, думал о том, что звезда не может жить в ладонях...

УТЕС

Стар был утес. Но по-прежнему не сводила с него глаз говорливая речка, несущая воды в неведомые края. Ох, многое бы хотела сказать она утесу! Но стирали набегающие волны слова, и лишь только отголоски их, береговое журчание доносилось до ушей утеса. Больно и горько было реченьке – и в такие минуты ласкалась она своей прохладной упругой щекой о его каменную грудь, дотрагиваясь пальцами брызг до морщин на его потемневшей тверди. Но молчал старый утес. И только ночью, прижавшись к его груди, она чувствовала тепло. Тепло дня, которое он сохранил для нее.

РОСА

Говорят, что роса – это слезы ночи. Но никто не знает, отчего плакала ночь. И какие это слезы: счастливые или горестные? Утром ее слезы похожи на голубику – их склюют птицы, выпьет солнце. Или я осторожно солью росу себе в ладонь с длинного зеленого язычка луговой травинки, поднесу ко рту – и ощущение чистоты и свежести не покинет меня до самого вечера. И мне покажется, что это – радостные слезы. Не потому ли, выпив их, радостней, веселей, звонче поют птицы, ярче светит солнце? Потому, что роса – признак хорошего утра, чистого, светлого, как сама жизнь.

СЧАСТЬЕ

Говорят, продавал когда-то на базаре заезжий мужик счастье.

Узнал об этом народ, сбегался. Глазеют. А мужик стоит, товар расхваливает.

– Покупайте, – кричит, – люди, счастье, дешево продаю! Гривенник кулечек! Купишь – не надо будет всю жизнь по матушке земле следом за ним шагать. Покупайте, цена небольшая.

Стоит народ, молчит, в карманах руками медяки перебирает, но никто шага не делает, никто денег не протягивает.

– Да что вы, люди, с ума посходили? – снова кричит мужик. – От счастья отказываетесь?!

Выступил тут вперед седой старичок и говорит:

– Может, ты и добрый человек, но не надобно нам купного счастья. Ненастоящее оно – не свое. Свое хоть и потом дается, да крепкое оно, надежное. Его уж ни за гривенник, ни за тыщу, ни за какие деньги не продашь. А от такого счастья счастья не жди.

– Правильно! – зашумел народ. Поглазели еще ради интереса да и разошлись. А на гривенники купили – кто детишкам сладостей, кто кое-что для хозяйства.

ЧИК И ЧИРИК

Жили на свете два маленьких воробышка. Одного звали Чик, а другого – Чирик. Они были так похожи друг на друга, что все воробы их путали. Оба маленькие, оба в чудесных сереньких шубках, у обоих черные, как бусинки, глаза, и оба прыгали. Разве тут отгадаешь, кто Чик, а кто Чирик? Конечно, очень трудно. Но скоро, очень скоро все, даже очень старенькие воробы, перестали их путать.

И знаете почему?

Оказалось, что Чик очень жадный. Увидит кусочек хлеба, подлетит к нему и кричит: «Мое-мое!» И кричит до тех пор, пока все друзья не улетят. А сам есть совсем не хочет.

Или принесет ему мама игрушку-пушинку, а он как закричит: «Мое, чик, чик!» Вот такой жадина. И никто с ним не играл, никто его не любил.

А Чирик был совсем другим: увидит кусочек хлеба, подлетит и кричит: «Летите ко мне, я хлеб нашел, кушайте, пожалуйста». Принесет ему мама игрушку – он ее своим товарищам отдаст, пусть играют. Ведь одному играть скучно и неинтересно.

Вот какой был Чирик! И все с ним играли, все его любили.

ЗВЕЗДА ПУТЕВОДНАЯ

Падают, падают, падают с темного неба серебряные звезды. Только не падает наша с тобой загаданная звезда. Горит в небе маленьким голубым огоньком. Звезда, которой подарили мы свои первые юношеские мечты. Пусть горит она вечно, чтобы ночью для потерявшего дорогу стать настоящей путеводной звездой.

ВДВОЕМ

Было очень поздно. Но они не знали об этом. Им было хорошо вдвоем. Они сидели и молчали. Ее ладони, маленькие, узенькие, лежали в его широких, сильных. Он осторожно перебирал ее пальцы, гладил их. А она сидела, склонив голову к нему на плечо, и улыбалась. Они были счастливы.

А в окошко смотрела одинокая луна — ей, холодной, хотелось немного погреться у чужого счастья.

1972 год

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ УХА

Предсказания начали сбываться с первых шагов по льду озера.

— Вот увидишь, — бурчал он мне, — хлебнем мы с ним горюшка и ни черта не поймает. Брать с собой на рыбалку новичка — самое богопротивное дело. Они же ничего не умеют, кроме как есть уху из чужой рыбы...

— Товарищи, — раздался жалобный голос Ивана Ивановича, — где лунку-то сверлить будем?

— Началось, — вздохнул Андрей. — Теперь только успевай показывать. — И, сложив ладони рупором, закричал: — Где стоишь, там и сверли, я на прошлой неделе здесь ерша поймал на два килограмма!

Некоторое время было тихо. Иван Иванович в благоговейном молчании затих перед лункой. Молча ловили и мы.

— Слава Богу, — прошептал Андрей, — затих наш рыбачок и, кажется, надолго.

И в этот момент, как будто нарочно, раздался жалобный крик:

— Товарищи, у меня мотыли замерзли, как же я ловить буду?

Андрей, больше всего ценивший на рыбалке тишину, разозлился.

— Нет, ты послушай!

И закричал:

– А ты их за щеку, за щеку. Живо отойдут!

Я улыбался. Но, видя, что Иван Иванович и вправду запихивает коробку с мотылями в рот, оторопел.

– Засовывает, – испуганно проговорил я.

– Ну и пусть засовывает, – равнодушно ответил Андрей, – по крайней мере, кричать не будет.

Рыба не клевала. Под вечер рядом со мной, уткнув головы в снег, торчали два хилых ерша. Столько же поймал и Андрей.

Разводя костер, Андрей чертыхался:

– Уху – и ту дельную не сварить... Если только побольше лаврового листа бухнуть да перцу?

Подвешивая котелок, Андрей пренебрежительно кивнул в сторону сидевшего у лунки Ивана Ивановича:

– Ловит! Черта лысого он поймает!

И вдруг разнесся радостный вопль. К нам, путаясь в полах шубы, бежал Иван Иванович. Он размахивал руками. В одной трепыхалась большая рыбина. Мы переглянулись.

– Да... – сказал я.

– Ребята, товарищи, – лепетал Иван Иванович, держа в вытянутой руке здоровенного окуня – килограмма на полтора. – Понимаете, сiju, вдруг ка-а-ак дернет! Я его тащить, и – вот!

Иван Иванович смотрел на нас восторженными глазами, ожидая похвалы.

– Дистрофик, – пренебрежительно проговорил Андрей, – разве это рыба? На прошлой неделе, помню, на десять килограммов поймал. Вот это был окунь, смотреть приятно, а твоего уважающая себя кошка есть не будет. Только и годен, что в уху.

– Как в уху? – переспросил Иван Иванович. – Что вы, мне его домой надо, жене показать, как-никак первый улов!

– А она все равно не поверит, – убежденно проговорил Андрей.

– Как не поверит? – лицо у Ивана Ивановича вытянулось.

– А вот так! Если бы ты приехал без рыбы – поверила бы, а с таким окунем – нет. Скажет, что в магазине купил, там как раз свежая рыба продается, и попробуй докажи.

– Но вы же видели? – вопросительно и в то же время растерянно проговорил Иван Иванович.

– Ничего мы не видели, – с адским спокойствием ответил Андрей, садясь на корточки перед костром.

– Что же делать? – Иван Иванович растерянно смотрел то на меня, то на Андрея.

– Вы, Иван Иванович, как маленький. Что делать? Вспороть брюхо да в котелок.

– Не дам, – проговорил Иван Иванович, отчаянно прижимая окунь к своей груди, и отступил назад: – Не дам, что хотите делайте!

И тут Иван Иванович, споткнувшись, опрокинулся на спину, окунь выскочил у него из рук и, описав замечательную дугу, звонко шлепнулся в прорубь, которую Андрей продолбил, чтобы набрать воды. Иван Иванович вскочил на ноги. Ошалелыми глазами посмотрел на прорубь.

– Я же говорил, надо было ему брюхо вспороть, – тихо сказал Андрей.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Молодой следователь Вася Щеглов сидел за столом, сжимая обеими руками взлохмаченную голову. Настроение было отвратительное, и причиной тому – нераскрытая кража.

Единственный свидетель дед Евстафий, сторож, ничего путного сказать не мог. Только одно он знал точно, а именно, что за время дежурства не спал и никуда не отлучался. Но факт оставался фактом: магазин был ограблен. Сколько Вася ни бегал, ни расспрашивал – бесполезно. Через неделю надо было ехать в центр, докладывать. А чего докладывать?

Вася глухо застонал. Из дому не выйдешь, всяк с вопросом лезет: «Ну как?» – и улыбаются. Кто снисходительно, кто ехидно, как бы говоря: молодой, куда ему! Спасибо, хоть бабка Дарья, прозванная в поселке «справочным бюро», не лезет с вопросами. От ее острого языка трудно скрыться. Уж что-что, а это Вася знал по собственному опыту. И вдруг от озарившей его мысли он вскочил, забежал по комнате.

Она! По всей логике – она, больше некому. Стоп, не спешить,

разберемся по порядку. Первое – не попадаете на глаза, второе – не болтает, как раньше, третье – глаза бегают при встрече, и, в-четвертых, – платок новый носит.

«Для начала достаточно, остальное выяснится при допросе. Я из нее живо все вытяну, – думал он, шагая к избе Дарьи. – Она у меня попляшет, я ей вспомню, как болтать при людях, что я по ночам около дома Наташки Гурьевой отираюсь».

Дарья была дома и, как сразу заметил Вася, его приходу не удивилась, а вроде бы даже обрадовалась.

– Проходи, касатик, давно я тебя ждала, давно, – ласково говорила он, глядя на него маленькими остренькими глазками. Слова, которые Вася хотел сказать, застряли в горле, он поперхнулся и, послушный жесту сухой, длинной руки Дарьи, прошел в комнату.

– Посиди, я мигом, вот только самоварчик разожгу, – проговорила Дарья, – попьем чайку, поболтаем.

– Не о чем нам болтать, – сурово проговорил Вася, вытирая лицо платком.

– Как не о чем? – удивилась Дарья. – Зачем же ты пришел тогда? – И, видя, что Вася махнул рукой, засеменила на кухню.

Через минуту Дарья сидела напротив и с любопытством смотрела на него. Вася вертел головой, но убежать от ее остренького, словно буравчик, взгляда не мог.

– Ну что, касатик, – немного помолчав, спросила Дарья, – нашел вора-то? – И, не дожидаясь ответа, неторопливо и уверенно ответила: – Не нашел и не найдешь.

– Это почему же? – обиженно проговорил Вася.

– А потому, – наставительно протянула Дарья, – что ты молодой – раз, во-вторых, человек в поселке новый, в-третьих, не знаешь людей.

– Зато ты, Дарья, знаешь даже больше, чем нужно, – обиженно ответил Вася.

– А как же! – охотно согласилась Дарья, – я здесь, почитай, годков двадцать пять живу, грех не знать. – И, сурово глядя на Васю, добавила: – Хватит тары-бары разводить, доставай свой синенький блокнотик, ручку красненькую и пиши, что вор – Володька Мясоедов.

– Да ты что, бабка, с ума сошла под старость лет? – вскричал Вася, вскакивая со стула.

– А ты, милоч, не кричи, не на собрании находишься, ты лучше послушай, что я тебе скажу, – спокойно проговорила Дарья. – Вот факты, касатик, факты.

Вася медленно, чувствуя, как колотится в груди сердце, опустил-ся на стул. А Дарья, не обращая на него внимания, так же неторопливо продолжала:

– «Беломор» курите в поселке лишь ты да Володька. А у лесенки, что ведет на чердак, папироска валялась. Я как взглянула на лесенку – вижу, к ней комочки белой глины присохли, и глина такая только у Володьки Мясоедова на дворе. А тут наемднн он в город ездил. Полуботиночки новые привез. Купил, говорит, – бабка усмехнулась. – Кого провести захотел – Дарью? Я на следующий день в город съездила. А там таких ботиночек нет и не было, в нашем магазине были. Вот так, милоч. Еще нужны факты, аль не надо?

Вася сидел, раскрыв рот.

– Да, чуть не забыла: похоронил он все ворованное у заброшенной каланчи.

– А это ты, Дарья, как узнала? – спросил Вася потеряннм голо-сом.

– Просто, милоч, просто. Зашла к ним в гости, а в сенях лопата стоит. А к ней, извиняй меня, старую, лошадиный помет вместе с землей прилип. А у каланчи-то старой Евстафьевых мерин пасется. А ты чего не записываешь-то? – строго спросила Дарья, – забудешь ведь.

– Не забуду, – пробормотал Вася.

– Так иди, заарестовывай его, негодника.

– Может, вместе пойдем? – просительно проговорил Вася.

– А чего не пойти, пойдем, дело-то благородное, – охотно согласилась Дарья. – Вот только самоварчик на стол поставлю. Заарестуем да и чайку попьем.

СПОР

Еще по дороге заспорили Семен да Степан. Уже не помню, отчего спор зашел, но вот о чем спорили, да чем спор кончился, не забыть.

А спорили о том, кто первым рыбу поймает. Рыбаки оба заядлые, опытные.

Больше Степан горячился.

– Я, – кричит, – первый поймаю!

Ну, а Семен говорит:

– Я!

Километра два прошли – все спорят. Слушал я, слушал – надоело.

– Хватит, – говорю им, – спорить, река-то – вон она.

Замолчали.

– На что спорили-то? – спрашиваю.

Степан неохотно так бурчит:

– На леску японскую да блесну зеркальную.

Ясно, думаю. Буду за Семена болеть. Если ему леска достанется, значит, и мне перепадет, человек не жадный.

Метров за сто до реки Степан вдруг как побежит – и вприпрыжку, вприпрыжку – это в шестьдесят-то лет! Смотрю, и Семен следом, мелкой рысью, да ходко так, от Степана ни на шаг! На бегу удочки разматывают, червей насаживают. Опыт! Забросили одновременно. Стоят. Глаз от поплавка не отводят. Дышат тяжело, лица потные.

Я курсировать начал от одного к другому, руками отмахиваюсь от комаров. Час прошел. Вижу, Степан нервничать начал. С ноги на ногу переступает, глазами в сторону Семена косит. Глубину менять начал. Сменит, забросит – подождет чуток и вытягивает. А Семен как забросил, так и держит, лишь конец уса жует.

Надоело курсировать. Подошел к Степану, сел. Советовать боюсь. Человек горячий.

Слышу, Степан зашептал что-то. Я приложил руку к уху – слушаю.

– Господи, клюнь, свечку поставлю... – и жалобно так.

Фыркнул я. Религию вспомнил, атеист старый! А Степан обер-

нулся да как зыркнет – аж холодно стало. Вижу, поплавок-то Степанов дерг, дерг – и в сторону! Шутка ли – удилище в дугу, леска аж звенит. Подтащил Степан рыбину к берегу, за жабры взял. А лещ-то с добрую сковороду. Степан поворачивается да ехидно так говорит:

– Неси-ка, Семен, блесенку!

Переменился тот в лице, а делать нечего – спор есть спор.

А Степан подносит леща к самому своему лицу и тем же радостным голосом заканчивает расчеты с Богом:

– Черта тебе лысого, а не свечка!

И только он это сказал, рыбина у него в руках дрыг – да на землю. Хвостом дернула – и в воду. Степан за сердце схватился. Ну, думаю, если валидол забыл – помрет. Нашлись таблетки. Я тоже принял одну.

А тут и у Семена клюнуло. Вытащил он удочку, а на крючке ерш висит... Худющий, ребра видать, а поди-ка – рыба! Взял Семен этого ерша в ладонь да и говорит, тоже ехидно (что за люди!):

– Где тут у тебя, куманек, лесочка-то?

– Семен, да ты же половину уса своего съел! – кричу.

А ему хоть бы что, улыбается. Петухом по берегу ходит, леску рассматривает.

И ведь какой человек оказался, болел я за него, болел – и все зря. Не дал лески. На лещей с ней ходит.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Скоро придет сын, а «делов» еще много. Не приготовлены котлеты, не накрыт стол. Правда, много ли надо двум мужчинам, чтоб посидеть, поговорить, но все-таки... Ведь не кто-нибудь придет – сын. Увидев накрытый стол, он ласково обнимет отца, потрется, как в детстве, щекою о его щеку и скажет: «Ну что ты, папа, беспокоишься? Зачем? Ведь нам с тобой главное – увидеть друг друга».

Вспомнив это, он улыбнулся. Его лицо, изрезанное сетью глубоких морщин, разгладилось, посветлело.

Исхудалыми руками он осторожно вынул из глубины шкафчика две рюмки на тонких длинных ножках. Подарок сына. Говорит,

хрустальные. А звенят и вправду чудно, с перезвоном. Поставил на стол. Рядышком. Они всегда сидят рядышком. Ему приятно чувствовать плечо сына – сильное, верное. Как-то спокойней рядом с ним. Да, молодость...

Поставив рюмки, взглянул на часы. И заволновался. Пора бы! Может, на работе что? Инженер. Не шутка.

Сел на диван, лицом к двери. Стал ждать. Шаги сына он узнал бы из тысячи – сильные, уверенные.

Шло время, а сына не было. Когда часовая и минутная стрелки легли друг на друга, он был почти уверен – не придет. Уверен в том, что что-то помешало ему. Бывает... Но в глубине души таилась капелька обиды. День рождения все-таки...

Отчего-то стало холодно. Он тяжело поднялся с дивана. Взглянул на стол, печально улыбнулся. И тут услышал шаги сына. Быстрые, сильные. Пришел! И Бог знает куда улетели печаль и тревога, стало тепло и радостно. И все было так – сильные руки сына на плечах, его щека у его щеки и слова:

– Зачем беспокоиться, отец? Много ли нам с тобой для счастья надо! Посидеть, поговорить, главное – увидеть друг друга.

ТРЕТИЙ В СЕМЬЕ

– Гриша, – негромко сказала мать, теребя бахромку скатерти и не поднимая головы. – Дмитрий Иванович будет жить с нами.

Гришка молчал, отвернувшись к окну, за которым все шумел и шумел дождь. Свет уличного фонаря, желтый, словно лимон, пробивался сквозь кисею штор, наполняя комнату ярким светом.

– Зачем он? – обронил Гришка, не поворачивая головы. – Разве нам вдвоем плохо было? – И застыл в ожидании ответа.

Но мать молчала. Из кухни, в которой остался сидеть «он», доносился сочный звук падающих из крана капель.

Гришка не понимал мать. Ему хотелось вскочить и кричать, кричать. Ему было неприятно видеть ее такой маленькой, робкой. Он привык видеть мать сильной, уверенной в себе. Такой она была при отце. Но отец умер, и вот мать привела «его» – отчима.

Резко повернувшись, Гришка приготовился выложить все и... не смог. Затем тихим голосом спросил еще раз:

– Ну зачем он нам, мама? Ну зачем? Если тебе трудно, я пойду работать. Нам же хорошо было вдвоем, правда?

– Правда, – ответила мать.

– Ну вот видишь! – повеселел Гришка.

– Ты хочешь, чтобы он ушел, да? – спросила мать каким-то незнакомым голосом и подняла глаза.

Глаза у нее были большие и темные, а не голубые, какие он привык видеть.

– Ты пойми, мама, я не смогу полюбить его, понимаешь, я не могу представить, как он будет жить, распоряжаться всем, что построил, купил отец.

– Я понимаю, – тихо проговорила мать, – но я люблю его.

– А отца?! – почти прокричал он, вставая, и заметил, как сжались плечи матери.

– Люблю, но его нет, – ответила мать, медленно поднимаясь из-за стола. И неожиданно для Гришки приникла к нему и заплакала.

И он, словно окаменев, лишь гладил мать по голове и растерянно бормотал:

– Ну что ты, мама, ну, хватит...

– Он хороший, – сквозь слезы шептала мать, – вот увидишь, – и, подняв на сына полные слез глаза, робко улыбнулась.

Гришка долго не мог заснуть в тот вечер. Перебирал в памяти дни, прожитые без отца, и не находил ничего такого, чем бы он мог огорчить мать. И мать всегда была спокойная, ласковая.

Так и уснул.

Утром Гришка проснулся от таких знакомых и давно не слышанных звуков. В первое мгновение он ничего не понял, а когда понял – ему стало спокойно и чуточку завидно. И все встало на свои места.

В соседней комнате счастливо смеялась мать – впервые за два года.

ПОЗДНИЙ ЗВОНОК

Он долго стоял перед дверью, не решаясь позвонить. Затем быстро, словно пугаясь, что не успеет, ткнул пальцем кнопку.

Послышались шаги, и женский голос спросил:

– Кто там?

– Мне бы Васильевых... – проговорил он неожиданно охрипшим голосом.

– Минуточку! – ответила женщина.

Ему стало жарко. Сейчас выйдет ее мать, и он позовет Олю. Если спросит, отчего так рано, он скажет, что уезжает и пришел попрощаться. Это он скажет матери. Оле он скажет совсем другое. Скажет, что во всем виноват, и попросит прощения. И она простит его! Конечно, простит! Ведь она же сама говорила, что любит его. Простит ему ту глупость с проверкой, когда он после ее признания попросил своего друга проводить ее и... поцеловать. А друг сказал ей об этом.

Он скажет ей, что любит ее, очень любит! И что больше никогда не обидит ее. И они снова по вечерам станут подолгу стоять в этом подъезде, в котором всегда темно и пахнет яблоками, и он будет целовать ее и говорить самые хорошие слова.

Он замер. Раздался щелчок замка, и на пороге появилась незнакомая женщина. Некоторое время она молча смотрела на него, затем сказала:

– Васильевых? Нет Васильевых! Уехали, молодой человек!

– Как уехали? Куда? – спросил он растерянно.

– Извините, но они мне этого не говорили, – и, внимательно посмотрев на него, покачала головой: – Надо было раньше, молодой человек!

В ПУТИ

Автобус тронулся. Побежали назад и вскоре скрылись огни вокзала. Водитель погасил свет. Густая россыпь городских огней ясней впечаталась в окна. Огни убегали, их становилось все меньше, и вскоре они сменились стеной леса, тускло освещаемой отсветом фар. Пассажиров было мало.

Переднее сиденье занял старик невысокого роста, в полушубке, в большой самодельной шапке с опущенными ушами. Когда свет встречной машины прилипал к его лицу, он щурился, и тогда лицо его, изрезанное морщинами, сжималось, словно меха у гармошки. За стариком расположился плотный мужчина в надвинутой на лоб папахе. Глаза его были закрыты, можно было подумать, что он спит. За ним устроилась пожилая женщина. Она держала на коленях большую хозяйственную сумку.

На задних местах, прижавшись друг к другу, сидели юноша и девушка. При свете были видны темные глаза девушки и лицо юноши – круглое, узкоглазое. Все молчали. Ровно работал двигатель, да иногда пробегал по всей длине автобуса свет фар от встречной машины, чтобы через мгновение исчезнуть.

– Куда едешь, отец? – спросил шофер после того, как проскочила очередная машина.

Старик повернул голову и вопросительно посмотрел на водителя.

– Куда едешь, спрашиваю? – чуть громче переспросил шофер.

– К дочке, сынок. К дочке. Вот телеграмму получил.

Суетливо зашарил рукой за отворотом полушубка. Достав телеграмму, разгладил рукой.

– Вот пишет: «Приезжай, отец, внуку посмотреть». Встречать, говорит, будем.

– Девочка, значит, – после короткого молчания проговорил шофер.

– Она.

– Мальчик-то лучше, – уверенно проговорил шофер. – Сын есть

сын, с какой стороны ни взгляни. Подрастет – с ним и в баньку, и на рыбалку, и поговорить есть о чем. А девчонки – они что? – шофер махнул рукой. Вздохнул.

– Так, так, – согласился старик.

Шофер хмыкнул и поинтересовался:

– Сколько лет-то, отец, дочке?

– Лет-то? – переспросил старик. И, пожевав губами: – Двадцать восемь прошлый год праздновала.

Шофер свистнул.

– В семнадцать годков замуж вышла. Мы со старухой отговаривали ее. Да она уперлась – и ни в какую. Я, говорит, по любви выхожу. Мы поначалу боялись. Молодые... Ан нет, все ладно вышло. А то, что рождает много, это ничего. – Старик махнул рукой: – Ежели все хорошо да ладно, дети, они не в тягость.

Женщина вздохнула, усталым движением поправила платок, сняла с колен и положила на пол сумку. Прижалась лбом к стеклу.

– Они поначалу порешили у меня жить, – усаживаясь поудобней, проговорил старик, – да я отказал.

– Мало места, что ли?

– Не-е. Изба у меня просторная. Пятистенная. Да я так рассудил. Жизнь-то, она что? Она хитрая да коварная. А ежели ее не понять, век в обиженных ходить будешь. Вот по этому разумению дал я им на первое время денег да и сказал: «Полюбитесь друг другу. И счастье-то свое сами ложите, что избу – бревнышко к бревнышку. Чтоб, значит, полностью своим было, да чтоб окрепли сами, да любовь ваша, ежели она есть, проверилась». Старуха моя в слезы. Месяц не разговаривала. Да ничего, отошла...

– А что ж, батя, один едешь?

– Померла старуха прошлой весной. Царство ей небесное.

Старик перекрестился.

Шофер кашлянул.

– А ты говоришь, у мамы жить будем, – шепотом проговорил юноша. – Слышь, что дед говорит?

Девушка прикрыла его губы ладонью и наклонилась к нему.

– Сейчас я для тебя дед! Понял? – И быстро поцеловала, кося взглядом на сидевших.

Впереди за деревьями замелькали огни. И через некоторое время высыпали все сразу. Старик подался вперед.

– Твоя, что ли, остановка? – спросил шофер, видя, что старик засуетился.

– Моя, сынок! Моя! – радостно проговорил старик.

– Ну, показывай дом, – сказал шофер.

– Вот он, сынок, видишь? Окно большое.

Автобус остановился. Шофер со стариком вышли.

– Ну, пока, дед, – шофер протянул руку и кивнул в сторону избы: – Жаждались, наверное.

– Приехали, что ли? – шумно пошевелившись, испуганно спросил плотный мужчина. Вгляделся в окно: – Не-ет! Ну и слава Богу. Нам спешить некуда. – Шумно зевнул, устроился поудобнее.

– Счастье-то настоящее лишь на перегонах и узнаешь... – сказал, садясь за руль, шофер. – Ну, поехали, что ли, до следующего дома, где счастье живет.

ЗА ШИШКАМИ

– С ума сошел, что ли? – воскликнула Дарья. – В этукую-то жару. Сомлеешь ведь!

Прокл ничего не ответил. Затолкал в карман свернутый в трубку мешок. В сенях с полки взял когти и неспешно вышел из избы. У калитки его догнала Дарья. Протянула узелок, тяжело дыша:

– Еду-то забыл.

И, глядя вслед неторопко уходящему Проклу, подумала: «Постарел Проклушка. Ой, постарел. А нет, ершится. Сидел бы лучше дома. На кой ляд шишки? И так уж четыре мешка насобира!».

Выйдя на дорогу, Прокл оглянулся. Дарья стояла у калитки и смотрела на него. Прокл взмахнул рукой. Поправил висевшие на руке когти и зашагал в сторону леса по окаменевшей от невыносимой жары тропинке, скользнувшей с широкой полосы дороги. Тропинка вела к дальней вырубке. До нее было километра три. И там, немного в стороне, за болотом, стояли кедры, присмотренные Проклом прошлым летом. По разумению Прокла, шишки там должны

быть. Кому захочется в такую даль ради мешка шишек тащиться на солнцепеке!

Тропинка шмыгнула через густой кустарник, скатилась в овраг и легла поперек поляны, за которой мертвым пятном лежала выруб-ка, утыканная почерневшими пнями. Но она уже оживала. Прокл видел молодые побеги, жавшиеся к отрешенно смотрящим в небо черным пням.

Кедры стояли рядом. Высокие, литые. Кроны были усыпаны шишками. Прокл довольно улыбнулся. Вытащил из кармана мешок и бросил у кедра. Поискал и нашел палку. В меру длинную и по руке. Надел когти и медленно, прижимаясь телом к стволу, полез, глядя вверх.

Добравшись до вершины, Прокл осмотрелся. Шишек было много. Сначала он потряс ветки. Шишки падали, но мало. Пришлось сбивать их палкой. Ближние сбил быстро. Дальние, висевшие на концах ветвей, приходилось доставать, наклонившись всем телом в их сторону. Сбивать было трудно, размахнуться мешали ветви.

Когда шишек почти не осталось, стал спускаться. У нижней ветки край пиджака зацепился. Чертыхнувшись, Прокл стал отцеплять. Разозлившись, дернул сильнее – и вдруг почувствовал, что опрокидывается на спину. Рванулся телом к стволу. Но его неодолимо опрокидывало. Повиснув вниз головой, он в первое мгновение не почувствовал страха. Наоборот, мысленно поблагодарил судьбу за то, что когти не отцепились. Земля была слишком далеко. Страх пришел позже, когда после нескольких попыток он не сумел подняться. Голова тяжелела. Ветка немного выше ступней казалась далекой – то принимала четкие очертания, то расплывалась.

Он попробовал подняться, цепляясь руками за штаны, но они сползали, оголяя кожу. В ступнях нарастала боль. Прокл почувствовал, что еще немного – и он потеряет сознание.

И ему стало все безразлично. Приподнял голову и увидел свои оголенные колени. На одном – длинный розовый шрам. И он вспомнил, как когда-то лежал на земле, из раны текла кровь. И ему тогда тоже было все равно, и он бы так и остался там, в лесу, если бы не Дарья. Даже сейчас он удивился, как у нее хватило сил дотащить его до поселка. Может, это и было причиной того, что у нее большое сердце.

Он рванулся. Цепляясь руками за ноги, полез. Но руки добрались только до колен. Ствол был близок. Мгновение, неестественно согнувшись, он смотрел на него, рванулся – и вновь опрокинулся на спину, ударившись затылком о ствол. В глазах помутнело. Он заскрежетал зубами. Глаза заливал пот. Поясница! Ему казалось, что он за всю жизнь не испытывал такой боли.

«Веревку бы...» – подумал с отчаянием. И тут вспомнил, что вчера, помогая Дарье развешивать белье, засунул в карман кусок бельевой веревки. Лихорадочно зашарил по карманам. И когда ощутил в одном из карманов ее мягкость, сжал пальцами.

На конец веревки надо было привязать что-нибудь тяжелое, и он вновь зашарил по карманам. Но карманы были пусты. Он зло выругался. Боясь, что не хватит сил, торопливо снял брючный ремень, свернул его, обвязал веревкой. Закусил губу, перебирая руками, добрался до колен и, держа тело одной рукой в таком положении, другой бросил веревку, стараясь обвить ею ствол. Когда это удалось, стал наматывать веревку на руку, не ощущая боли и лишь неотрывно глядя на ствол.

Поднявшись, прижался щекой к коре, намертво сцепив руки по ту сторону ствола. Спустившись на землю, рухнул на нее лицом, тяжело дыша и не ощущая ничего, кроме полного безразличия, слабости и страха, тяжелого, как ствол упавшего дерева. Лег на спину. Вверху, над головой, висела шапка кедра. Темная и молчаливая, как стены покинутого дома.

Встал, собрал шишки. Они заполнили только треть мешка, которого, по расчетам Прокла, не хватало на то, чтобы Дарья съездила на курорт. Не хватало совсем немного. Всего лишь двух третей мешка и высоты кедра...

ФАЛЬШЬ

Вагон был полон.

– Вам ехать недалеко, – сказала проводница, – посидите, пожалуйста, здесь.

И показала рукой на свободное место рядом с высокой, повязан-

ной черным платком старухой. Старуха с любопытством рассматривала нового пассажира.

– Благодарю вас, – проговорил мужчина, окидывая взглядом сидящих, и, поставив чемодан, медленно опустился на край скамейки. Снял шапку, положил ее на колени, откинулся на спинку, закрыл глаза. В купе ехали трое: старуха, молчаливый парнишка, рядом с ним сидела белокурая девушка.

– Так говоришь, милая, – поворачивая лицо в сторону девушки и, видимо, продолжая начатый разговор, произнесла старуха, – на гармошке играть будешь?

– На баяне, – улыбнулась девушка.

Старуха пожевала губами.

– А не тяжело будет? Баян-то, поди, тяжелый. А ты словно тростиночка...

Девушка вздохнула, поправила волосы и, кося взглядом на мужчину, ответила:

– Баян, бабушка, не очень тяжелый, а вот научиться играть тяжело, даже не знаю, получится ли у меня.

– Получится, милая, раз охота есть, – и, подпирая ладонью острый подбородок, продолжала: – Люблю я, когда на гармошке играют. Мой-то старик тоже на гармошке играл. За эту самую гармошку и замуж за него вышла.

Старуха замолчала. Парнишка по-прежнему смотрел в окно. Девушка опустила голову и перебирала пальцами бант. Мужчина сидел, закрыв глаза. Было тихо, лишь слышался перестук колес. Старуха посмотрела на юношу, покачала головой.

– Одно я в толк не возьму, милая, что люди в этих самых симфониях понимают? Я уж слушала, слушала, ну ничегошеньки не понимаю. А дочка говорит, что люди, слушая эту самую симфонию, плачут, смеются. Объясни мне, старой, отчего так получается? Аль талант надобен какой?

Девушка замялась.

– Как вам объяснить, бабушка? Музыку можно понимать так же, как и слова. Одно ляжет на сердце, другое – нет. От одного слова на душе радостно, от другого – плохо. Знаете, мне кажется, никакого таланта не надо. Просто сердце надо иметь такое... – девушка покраснела: – Я просто не знаю, как объяснить.

– Позвольте! – произнес мужчина, открывая глаза. – Вы совершенно не правы. Чтобы понимать музыку, одного сердца мало. Для этого требуется, во-первых, – мужчина загнул палец, – обладать слухом, во-вторых, изучать ее.

– Но...

– Я, – перебил ее мужчина, – преподаю музыку, а вы только будете ее изучать.

Мужчина замолчал. Устроился поудобнее, закрыл глаза. Неожиданно наступившую тишину наполнили звуки негромкой песни. Звуки были грустны и печальны. Это пел юноша, по-прежнему глядя в окно. Мужчина приоткрыл глаза, прислушался и, не меняя положения тела, проговорил:

– Молодой человек!

– Да? – вздрогнув, отозвался юноша.

– В этой песне вы фальшивите, – произнес мужчина, – здесь надо петь вот так. – И он пропел пару строк. Затем повернулся к девушке, спросил: – Вы заметили?

Девушка ничего не ответила. Встала и вышла из купе. Парнишка отвернулся к окну и замолчал. И лишь старуха проговорила:

– Ну и голос у тебя! Слушать тошно, а еще музыке учишь.

– Но позвольте! – вскинулся мужчина.

– Сиди уж, все равно скоро выходить, – махнула рукой старуха.

АЛЫЙ МИР

Летняя ночь. Я лежу у костра. Тихо. Лишь изредка всплеснет рыба. Незаметно начинаю дремать. Сквозь дремоту слышу шаги, но поворачиваться лень. Пригрело. По голосам – двое.

– Вот видишь, – говорит мужчина, – и костерок, а ты боялся...

– Ничего я не боялся, – обиженно тянет детский голос. Видимо, заметив меня, они смолкли.

Через некоторое время слышится шум, они подтаскивают бревно, и голос взрослого:

– Придется нам, Димка, кильку в томате лопать.

Я лежу молча, вроде сплю.

– Вот смотри, Димка, раз художником стать собираешься, красота-то какая... Ты бы смог так нарисовать?

Детский голос, задумчиво:

– Смог бы, пожалуй, только не совсем так...

Доносится шорох. Трещат искры. Видимо, в костер подбросили.

– Пап? – раздается детский голос.

– Ну, что тебе? – недовольно отзывается мужской, – спал бы лучше, а то зорьку проспим.

– Не-е, – тянет детский, – ты вот скажи, ночь черного цвета?

– Ну, черного.

– Заря алого?

– Алого, – отвечает мужской.

– Небо голубого? – продолжает спрашивать мальчик.

– Голубого.

– Лес зеленого?

– Ну, зеленого. Ты что, проверяешь, знаю ли я краски?

– Нет, – отвечает мальчик, – я вот думаю, а что если бы все на земле было одного цвета. Алого, например, как заря. Правда, красиво? Ну вот ты бы какой цвет выбрал?

В голосе мальчика слышится любопытство.

Отец молчит. Я невольно тоже прикидываю. Как заря... Алое небо, алая земля – красиво.

– Знаешь, сынок, – проговорил мужчина задумчиво, – я бы, пожалуй, оставил мир, как он есть, – разноцветным.

– У-у, – разочарованно протянул мальчик, – у тебя что, нет фантазии, что ли...

Потрескивал костер. Шумел лес. Через некоторое время я осторожно поднялся. Отец и сын спали, тесно прижавшись друг к другу, укрытые одной курткой.

А я еще долго ходил по берегу реки, всматриваясь в этот мир, подернутый легким туманом.

ТЕПЛИНКА

Был первый день весны. Много света, теней и холода. Солнце, на которое я понадеялся, собираясь на рыбалку, светило, но не грело. Ноги, обутое в резиновые сапоги, заоченели, и я, вместо того чтобы сидеть над лункой, бегал вокруг, с завистью поглядывая на сидящего неподалеку рыбака, обутого в добротные валенки.

– Слушай, – неожиданно обратился он ко мне, – какого размера обувь носишь?

Я ответил. Он встал, подошел ко мне, скинул валенки и протянул мне:

– Переобувай.

Я пробовал возразить, но... Мы переобувались несколько раз, пили чай из моего термоса и говорили о разном, словно были знакомы очень и очень давно...

ДЕВУШКА

Девушка шла впереди него. Он обогнал ее, оглянулся, задержал шаг и сказал, что у нее очень красивые глаза и, наверно, весеннее имя. На улице было все в ярких солнечных бликах, пахло водой, солнцем. Он хотел еще что-то сказать, но девушка бросила:

– Отстань, папаша!

Когда я подошел к товарищу, лицо его было растерянным. Он смотрел вслед девушке и, ероша волосы, говорил:

– Я же не хотел ее обидеть. И к тому же мне всего лишь двадцать два года...

Немного погодя мы вновь встретили ее. Она шла рядом с парнем, который был старше моего товарища, и выглядела еще красивее.

ВЕТВИ НА ГАЗОНАХ

Ну вот, снова чьи-то руки обкорнали тополя. Ветви их, ждавшие тепла всю зиму, чтоб, смеясь, показать бледно-розовый язычок нового листочка уходящей зиме, – мертвы, и лишь почки, словно кулаки, намертво сжаты в бессилии перед человеческим холодом...

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Билет лежал на столе рядом с газетой, в которой была напечатана лотерейная таблица. Они сидели на диване, обнявшись.

– Значит, так, – бережно прижимая к себе жену, говорил он, – получим деньги, положим на книжку. Сколько мы с тобой уже живем, Наташенька? Десять лет? И повезло наконец. Это нам судьба за любовь нашу с тобой послала. Правда?

– На какую книжку положим? – спросила она, отстраняясь.

– На мою.

– Почему это на твою? – вскинула она глаза.

– Не все ли равно – на чью?

– Раз все равно – пусть лучше будет на моей!

Он хмыкнул. Искоса посмотрел на нее. Поскреб затылок и протянул, глядя в сторону:

– Давай уж тогда пополам.

– Ты что, мне не веришь?

– Верю, – ответил он, – а ты?

Она промолчала. Поднялась. Взяла в руки лотерейный билет, посмотрела его на свет. Нагнулась над газетой, вздохнула:

– И вправду выиграли.

Стало тихо.

– Так на чью книжку положим? – нарушил он молчание.

– Пополам, – быстро ответила она и предостерегающе протянула ладонь, – и не спорь. Так будет верней. Мало ли что...

– Но билет купил я, – робко проговорил он.

– На мои деньги, – отпаривала она.

В эту ночь они впервые спали врозь. И на следующее утро долго

не разговаривали. А потом снова заспорили, укоряя друг друга в неуважении, и наговорили много обидных слов.

На работе им завидовали. Говорили, что им чертовски повезло. Они благодарили.

Вечером пошли в сберкасса

— К сожалению, в газете была опечатка, — сказала им кассирша, — и вам по этому билету причитается только один рубль. Получите, пожалуйста.

ПЕРВАЯ ТЕЛЕГРАММА

Алена сидит за столом и ждет человека, который придет к ней, чтобы отправить телеграмму. Она даже представляет, как это будет.

Хлопнет дверь. Он подойдет к ее окошечку, возьмет бланк и напишет что-то очень важное. А потом протянет ей и, улыбнувшись, попросит: «Примите». Она тоже улыбнется и возьмет в руки первую телеграмму. И в этой телеграмме будут самые добрые слова, самые счастливые...

Хлопнула дверь. Алена разочарованно вздохнула: в помещение телеграфа вошел мальчишка.

— Чего тебе? — спросила она.

— Вот, — протягивая бланк, проговорил мальчишка, шмыгая носом.

Она взяла телеграмму, пробежала взглядом.

— Дяденька сказал, — между тем говорил мальчишка, — чтобы я ее обязательно отправил, а деньги, что останутся, взял себе на конфеты.

Алена не слушала. Она вновь и вновь перечитывала короткий текст: «Мне очень, очень плохо». Она никогда не слышала таких слов от людей. Говорили «трудно», «тяжеловато» и еще много других слов, но таких страшно безвыходных... Но самое странное, что графа «Кому, куда» была пуста. Да и обратный адрес она разобрала с трудом.

— Но, мальчик, — растерянно проговорила она, — здесь нет адреса. Кому посылать?

– А дяденька сказал – пускай пошлют, куда хотят, лишь бы откликнулись.

И доверительно:

– Я его знаю. Он в нашем доме живет. Бабка моя говорит, что он на земле как перст один, а такой молодой. И еще говорит, что он в последнее время как потерянный ходит. Да вы отправляйте скорее, тетенька, меня ребята ждут!

– Что случилось? – спросил вошедший начальник почтового отделения. Взяв из рук Алены телеграмму, он сказал: – Адреса получателя нет. А без адреса не принимаем. У нас такой порядок. – И, окинув взглядом телеграфную, вышел.

Мальчишка вопросительно смотрел на Алену.

– Сейчас, мальчик, – торопливо проговорила она и, склонившись, быстро и четко написала свой адрес.

– А квитанцию? – спросил мальчишка, сжимая в кулаке сдачу. – Он ждет.

Она протянула ему квитанцию. Маленький мягкий листочек бумаги спрятался в детской ладони. Мальчишка ушел. Но тут же опять требовательно хлопнула дверь.

КРАСИВАЯ

Когда я вошел в зал, на стенах которого были развешены картины, девушка стояла в самом углу и, прижав ладони к щекам, рассматривала какой-то портрет.

Она была среднего роста, угловатая, с коротко подстриженными волосами. Девушка обернулась на звук моих шагов, и я увидел ее лицо. Круглое, с маленькими глазами и великоватым, как мне показалось, носом. Я отвернулся и стал рассматривать картины. Их было много. Я переходил от одной картины к другой, а девушка стояла на прежнем месте.

«Что она там увидела?» – подумал я и уже было направился в ее сторону, как дверь в зал открылась и появился парень. Девушка бросилась к нему.

– Понравилось? – негромко спросил парень.

Девушка кивнула и тихо ответила:

– Но это же не я, Коля...

– Не ты? – в голосе парня было удивление.

– Но я же... – девушка замолчала и, видимо, пересиливая смущение, сказала: – Не такая красивая.

– Ты некрасивая? – вскинул глаза парень и, взяв девушку под руку, добавил: – Мне лучше знать.

Они ушли. Я подошел к картине, которую рассматривала девушка. Долго стоял перед ней. На меня смотрело лицо девушки. На портрете она была значительно красивей, чем в жизни, а, впрочем, мне ли об этом судить?

НОВОЕ ПАЛЬТО

Иван Николаевич возвращался с работы. Светили фонари, пахло талым снегом, а на душе чирикали птички. Одним словом – весна. Вчера была получка, и жена – сама! – предложила купить ему новое пальто. Пальто было чудесное! Он сам вчера выбрал его, а жена сегодня купила, и ему страшно хотелось надеть его.

«Завтра я пойду в нем по городу, – думал Иван Николаевич, – и все будут смотреть на меня. Все-таки чертовски хорошо жить на этом свете, что там ни говори! И жена у меня – человек. Такую жену поискать надо, не то что у некоторых. Как она вчера сказала? Ах, да! «Я, Ванечка, с платьем подождать могу, а вот пальто тебе просто необходимо!»

Иван Николаевич шел и мечтал. И когда вечернюю тишину прорезал женский крик о помощи, Иван Николаевич вздрогнул, недовольно поморщился и ускорил шаги ровно настолько, насколько позволяла длина ног. Лихорадочно вышагивая, Иван Николаевич думал: «И чего орет? Подумаешь, десятку отнимут. Вообще-то я должен бы прийти ей на помощь. Ну а что если их там двое или даже трое, а то и четверо? Надо быть фанатиком, чтобы лезть одному на пятерых».

Знакомый запах подъезда успокоил его. Он прислушался. Вечер был тих. Он поднялся на свой этаж, позвонил. Но шум на лестничной клетке заставил его живо обернуться. По лестнице, держась за перила, поднималась его жена.

– Что с тобой? – испуганно спросил он, чувствуя, как замирает сердце.

Жена ткнулась ему лицом в грудь и, захлебываясь от плача, проговорила:

– Ограбили. Пальто новое взяли и деньги – шестьдесят рублей. На что жить-то будем?

Иван Николаевич почувствовал себя дурно.

В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ

Захожу раз к знакомому, что живет в одном из домов нового микрорайона. Вхожу и глазам не верю. Стоит знакомый на коленях перед рыжим котом, в глаза ему смотрит и жалобно так канючит:

– Васенька! Месяц одной сметаной кормить буду! Поделись с хо-зяином, как ты, дорогой, в темноте видеть умудряешься. Поделись! Тебе все жильцы нашего микрорайона спасибо скажут!

Я – назад. Рехнулся, думаю. Вечер долгий, решил зайти еще к одному другу. Зашел – и остолбенел. Стоит мой друг посреди комнаты с таким счастливым лицом, словно «Жигули» выиграл.

– Заходи, – кричит, – глянь, что я купил!

А сам водолазный костюм натягивает.

Неужели, думаю, и этот тоже рехнулся?

В дверь постучали. Сосед, оказывается. Как увидел костюм водолазный, обрадовался, кричит:

– Где купил? Снова по знакомству?

Что такое, думаю, с людьми в новом микрорайоне делается? Ошалели, что ли, от радости, что квартиры новые получили?

Вышел я от друга поздненько. Вышел – и все понял.

Темень, хоть глаз выколи. Воды у подъездов – мама моя родная!

Вернулся к другу, надел водолазный костюм, добрался до сухого места. Правда, набил пару шишек и чуть не сломал ногу, но это ерунда.

Хорошо бы новоселам глаза кошачьи иметь. А вот какими глазами товарищи, ответственные за благоустройство, наблюдают все это – уж и не знаю.

Впрочем, они, скорее всего, в новый микрорайон и глаз не кажут.

ПИСЬМО

Костя дописал письмо, сложил, сунул в конверт и, чувствуя на себе взгляд жены, торопливо написал адрес. Когда письмо было опущено в почтовый ящик, Костя облегченно вздохнул и даже повеселел.

Письмо было другу. В письме Костя подробно описывал, как он провел время в командировке, из которой недавно возвратился. Даже написал пару адресов двух приятных женщин на тот случай, если другу доведется побывать в том городе.

Представив, как друг будет хохотать и даже завидовать, прочитав его письмо, Костя заулыбался. Шутка ли, провести целый месяц так, как ты хочешь! Это ли не награда за все годы, прожитые в тесном домашнем кругу, под неослабным контролем жены? И главное, что никто ничего не знает. Оказывается, и жену можно провести, жаль только, что для этого требуется расстояние в полтыщи километров...

— А тебе письмо, — сказала жена через день, когда он вернулся с работы. — От друга.

— Так быстро?! — удивился Костя.

— Хочешь, прочту, о чем пишет? — спросила жена и, не дожидаясь его согласия, медленно начала читать:

«Здорово, Юра! Я наконец-то наслаждался жизнью, встряхнулся, так сказать, а то, знаешь, моя (это я, значит, пояснила жена) порядком надоела».

И, отложив письмо в сторону:

— Ну, а теперь, дорогой, расскажи обо всем своими словами.

— Но как это? — растерянно пролепетал Костя. — Я этого не хотел!

— А так, мой ненаглядный. На конверте ты написал свой домашний адрес и, что еще интересней, мне! Это у тебя, видать, от глупости или от чего другого. Но в этом я разберусь позже.

ХУДОЖНИК

С утра шел дождь – мелкий, теплый. Настроение у меня упало: поход на озеро откладывался. Но к обеду выглянуло солнце, и день стал чистым, словно тщательно вымытое окно.

До озера было недалеко. Половина пути шла лугом, другая – лесом. Солнце, как обычно бывает после летнего дождя, жарило вовсю, и над землей поднимались испарения. Трава на лугу была высокой, ярко-зеленой и блестела, словно покрытая лаком. Я снял сапоги и носки и зашагал напрямик по траве. В лесу пахло грибами, деревом.

Озеро появилось неожиданно. Еще издали я заметил фигуры людей. Их было двое. Один сидел на стволе поваленного дерева, лицом к озеру. Второй, немного в стороне, стоял у самой воды с удочкой в руке.

На краю леса я вырезал удилище и, на ходу очищая его от ветвей, направился в их сторону. Подойдя, поздоровался. Тот, что сидел на бревне, обернулся и негромко ответил. У него было широкое лицо, черные солнцезащитные очки. Второй приветственно махнул рукой.

Я наладил удочку, забросил. Затем воткнул удилище в берег и подсел к мужчине в солнцезащитных очках. Поплавок на моей удочке спокойно торчал из воды. Я вытащил папиросы, закурил и, протягивая мужчине, предложил:

– Закуривайте.

– Нет, спасибо.

– А что ж вы не ловите? – поинтересовался я, пряча папиросы в карман. Он пожал плечами и ничего не ответил.

– Хорошо как! – сказал я немного погодя.

– Да, очень хорошо, – отозвался он. – Я только поэтому и пришел сюда. А сколько красок! Вы видите? Нарисовать бы все это акварелью. Знаете, так, чтоб все как бы плавало в воздухе. Вы видите, какие тени! Это очень красиво на воде. Особенно когда вода светлая. А когда вода голубая, в ней очень красивы облака и береза. Знаете, такая, что в народе плакучей зовут. Это создает настроение.

Он еще хотел что-то сказать, но поплавок на моей удочке шевельнулся, и я поднялся, пробормотав:

– Извините...

Вытащил рыбу, бросил ее на берег и зашагал в сторону второго мужчины.

– О чем это ты с ним разговаривал? – поинтересовался он, когда я подошел поближе.

– О красках, – ответил я равнодушно. – Он, верно, художник, да и неплохой.

– Кто? – удивленно спросил мужчина, тараща на меня глаза. – Он? Да ты что! Он же слепой...

1976 год

И ЗАЖГЛАСЬ ЗВЕЗДА!

Весной, когда расписывают веселыми строчками млеющую от тепла и ласки землю ручьи и небо голубей голубого, пришла к красавице Купавушке и доброму Даниле любовь. Чистая, как родниковая вода, и горячая, как летнее солнце. Перед свадьбой, как было принято у их народа, пошли они, взявшись за руки, к высокой горе, чтобы, взобравшись на ее вершину, зажечь на небе свою звезду.

Путь к вершине опасен и труден, и только те, у кого в сердце настоящая любовь, доберутся и зажгут звезду. И тогда будет она гореть над всем миром, и узнают люди, что еще одно счастье живет на земле. Но если уйдет любовь, погаснет звезда, и никогда больше не зажечь ее...

Долго взбирались они на вершину, то проходя над пропастью по тонкому бревнышку, то лезли по отвесной стене, а когда казалось, что нет больше сил, брали друг друга за руки, перевязывали раны, смотрели на небо, которое сегодня должно стать еще красивее, и вновь шли.

И вспыхнула звезда! Новая звезда среди мириад уже зажженных.

Но вот однажды почувствовали они, что уходит от них любовь, словно солнце в конце дня, и что нет сил удержать ее. Как-то вечером посмотрели они на небо и увидели, что поблекло оно, и, не

взглянув друг на друга, разошлись. А люди смотрели им вслед и прятали слезы.

Сколько времени прошло, никто толком не знает, но говорят, что вернулась к ним любовь, говорят, что пришла она к ним, когда седина украсила их головы и походка стала осторожной. И однажды увидели люди, как идут они, взявшись за руки, к высокой горе.

– Куда вы? – спрашивали их люди. – Вам же не дойти, а если доберетесь, то не хватит сил вернуться назад.

Но ничего не сказали в ответ Купавушка и Данила.

И вот однажды увидели люди, что вновь вспыхнула звезда, и она была такой же чистой и яркой. И посветлели лица людей.

Долго, очень долго еще ждали люди Купавушку и Данилу. Но они так и не вернулись...

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

Держась рукой за сердце, он с трудом добрел до входной двери. Открыл ее. Коридор был гулок от пустоты. Когда выше этажом раздался звук открываемой двери, облегченно вздохнул. Негромким голосом остановил спускающегося парнишку:

– Вызови «скорую». Плохо мне что-то.

Вернувшись в квартиру, лег на диван. И черт его дернул так резко разогнуться. Теперь не может встретить жену. Вот будет номер. Она приедет, а он в больнице. А у нее тоже больное сердце. Зря вызвал. Вроде легче стало.

Раздался звонок в прихожей. Он тяжело поднялся. На пороге стояла жена. Они поцеловались.

– Что ж ты не встретил меня? – спросила она с упреком.

– Понимаешь, я только что с работы...

Она внимательно посмотрела на него и с беспокойством спросила:

– А что ты бледный такой?

– Работа. Завертелся совсем.

В прихожей вновь раздался звонок. На пороге стояла девушка в белом халате.

– Вызывали? – спросила девушка.

Жена удивленно посмотрела на него. Он пожал плечами, пробормотал:

– Нет! Зачем...

– Что такое?! – огорченно произнесла девушка, – второй вызов, и снова ложный. Зачем так люди делают?

Они закрыли дверь, прошли в комнату, и жена долго рассказывала, как лечили ее там, в санатории.

А врач, вернувшись в больницу, записала в большой толстой тетради: «Ложный вызов», вздохнула и проставила время.

ЧУДАК

Он пришел ко мне вечером. Мы давно не виделись, и я искренне обрадовался его появлению. Мы пожали друг другу руки, и я предложил ему раздеться. Но он отказался. Я пододвинул стул, и он сел.

Он ничуть не изменился. Я спросил:

– Ну как ты?

Он пожал плечами и ответил:

– Нормально, как все, – и, оглядывая мою квартиру, сказал:

– А ты ничего живешь. Значит, устроил жизнь?

– Устроил вроде.

Он немного помолчал и спросил:

– Таня где?

– Замужем Таня. За Лешкой. Да ты знаешь его.

Он поморщился, как от зубной боли:

– А где живут?

Этого я не знал. Он посидел немного и ушел. На следующий день я встретил Лешку.

– Слушай, – сказал он. – Вчера приходил этот, ну, как его? Помнишь, он еще просил Таню выйти за него замуж...

– Ну?

– Так вот, пришел. Посидел полчаса и ушел. Хоть бы слово сказал. Чудак какой-то!

– А Таня ничего не сказала?

– А что она скажет? – удивился Лешка. И, качая головой, произнес: – Есть же чудачки на свете. Ездят по свету и все пытаются вернуть то, что давно в других руках.

Я ничего не ответил.

ИГРА

Я стоял на автобусной остановке. Рядом на скамейке сидели пожилая женщина и маленькая девочка в розовом пальтишке и вязаной шапочке, из-под которой выглядывала рыжая челка. Женщина сидела молча, держа в руках маленькую полураскрытую коробочку, в которой лежала медаль «За отвагу».

Девочка же, болтая ногами, тараторила без умолку. Мимо проезжали автомашины. С их окон прямо к нам под ноги прыгивали солнечные зайчики. За спиной, у стены большого дома, сладко причмокивала капель.

Неожиданно девочка замолчала. Посмотрела на женщину. Огляделась. Увидев меня, наклонила голову и, видимо, не найдя в моей внешности ничего интересного, отвернулась. Автобуса все не было.

– Бабушка! – громко сказала девочка, притрагиваясь к локтю женщины, – давай поиграем.

– Давай, – вздохнула женщина, аккуратно закрыла коробочку и спрятала ее в ладони, – ты же все равно не отстанешь.

– Видишь дом? – начала девочка игру, видно, давно придуманную и понятную только им.

– Ну, вижу, – неохотно ответила женщина, думая совсем о другом.

– А вот небо, – быстро добавила девочка.

Женщина вздохнула.

– Ну что ты? – капризно спросила девочка.

– Видишь солнце? – спросила женщина.

Девочка посмотрела на солнце, зажмурилась и радостно выкрикнула:

– Вижу!

– А вот люди, – добавила женщина и чуть заметно улыбнулась. Девочка строго сказала:

– Только поиграем, пока кто не пропадет, и чурики не говорить. Хорошо?

– Хорошо, – покорно согласилась женщина.

– Видишь снег?

– Вижу.

– А вот ручеек, – быстро добавила девочка.

Первой начала задумываться женщина. Наконец она шутливо подняла руки и, улыбаясь, сказала:

– Все, Ася! Сдаюсь!

Девочка захлопала в ладоши, поерзала на скамейке, наморщила нос, быстро спросила:

– Видишь Асю?

– Конечно, вижу, – рассмеялась женщина и чмокнула девочку в щеку.

– А вот бабушка! – воскликнула девочка и, соскочив со скамейки, весело запрыгала. Наконец, запыхавшись, взобралась к женщине на колени и, прислонясь к ее груди, затихла.

Женщина прижала ее к себе, склонилась. Маленькая коробочка с медалью оказалась перед самыми глазами. Она долго смотрела на нее, потом негромко произнесла:

– Видишь? Вот Ася, вот я, а...

– Что ты сказала? – встрепенулась девочка.

– Ничего, внучка. Это я так, про себя, – ответила женщина, поглаживая вздрагивающими пальцами коробочку...

Подходил, раскидывая и приминая жидкий снег – остатки зимы, большой, светлый автобус.

ЧЕМ БОГАТЫ...

Много солнца, снега, воды. Напротив одной из деревенских изб останавливаются голубые «Жигули». Вылезший из машины мужчина оглядывается, осторожно закрывает дверцу и, на ходу вытаскивая из кармана меховой куртки сверток, неспешно, плотно ставя ноги на сырую землю, идет к избе. У калитки останавливается. Окна избы смотрят не на дорогу, а под себя, на завалину, сквозь

щели которой видны серые опилки. Небольшой двор обнесен низким, давно нелатанным забором.

Мужчина морщится, сплевывает и, пытаясь не запачкать лакированные полуботинки, добирается до крыльца. Поднявшись по жалобно скрипящим ступеням, стучит в дверь. Прислушивается. Стучит вновь, но уже громче, настойчивей. В глубине избы раздается протяжный скрип. Мужчина одергивает куртку, поправляет галстук. Дверь приоткрывается. В образовавшуюся щель показывается лицо старухи, круглое, дряблое, с покрасневшими веками.

– Картошки не продадите? – спрашивает мужчина.

Голос у него густой, твердый.

– Картошки? – пожевав крупными рыхлыми губами, переспрашивает старуха. – Можно. Отчего же нельзя? Да ты заходи, сынок, в избу-то. Заходи, не стесняйся...

– Сколько мешок? – спрашивает мужчина.

– Сколько дашь, сынок, – машет рукой старуха.

Мужчина хмыкает...

В избе теплый полумрак. У окна, на столе, самовар, блюдец с горкой сушек, наполненная чаем чашка, рядом несколько кусочков мелко наколотого сахара.

– Может, чайку попьешь? – с надеждой в голосе спрашивает старуха, прежде чем снять с гвоздя фуфайку.

– Некогда мне, – роняет мужчина.

– Так оно, сынок, так, – произносит старуха, – поспешать надо. Поначалу вроде все впереди, а как оглянешься – уже позади...

Пока старуха надевает сапоги, мужчина вытягивает шею, заглядывает в соседнюю комнату. Качает головой. Шумно потянув крупным носом, говорит:

– Я во дворе подожду.

В сенях останавливается. Отбросив ногой голик, бормочет:

– Живут же люди...

Следом с ведрами выходит старуха. Они идут мимо поленницы дров, груды чурбанов. На одном из них торчком стоит чурка. Рядом топор.

– Одна живешь? – спрашивает мужчина, когда старуха, доловины засунувшись под навес ямы, начала собирать и расталкивать по углам сено.

– Одна, сынок, как перст одна.

– А старик где? – сдерживая зевоту, интересуется мужчина.

– Муж-то? – с трудом разогнувшись, переспрашивает старуха и, глядя на тонкий лучик света, прорвавшийся через щель в навесе, говорит негромко: – Погиб он, сынок, у меня. Как война началась, так в самый первый день и погиб. Царство ему небесное. Сердечный он был у меня, работающий. Избу эту своими руками поставил. Потому и бросать жалко. А можно бы переехать, в новом доме жилье-то предлагают...

– Ну-ну, – говорит мужчина, освобождая сверток от бумаги. Оказавшиеся в руках мешки долго трясет, затем, покосившись на старуху, выбирает, какой побольше.

Старуха, напрягаясь всем телом, поднимает крышку ямы. Под хлынувшим в глубь ямы светом видна картошка – крупная, ровная. Мужчина заглядывает, трет подбородок, спрашивает:

– Не замерзла?

– Типун тебе на язык! – машет руками старуха. – Накличешь беду-то. Господи! – с трудом опускается в яму. Оттуда раздается веселый голос:

– Хороша картошечка-то, сынок! Поддай ведра-то.

Подав ведра, мужчина потягивается. Аккуратно кладет на край ямы мешок, подходит к чурке, берет топор и, широко размахнувшись, целясь в надколотую середину, с силой ударяет. Топор входит по самый обух. Он пробует вытащить его. Дернув пару раз, отходит...

Поданное старухой ведро наполнено картошкой с горкой. Прикинув ведро на вес, мужчина довольно улыбается. Берет одну картофелину, мнет пальцами, надкусывает, щуря глаза, жует, сплевывает. Попавшие в ведро четыре влажных клубня откладывает в сторону, бормочет:

– Слепая тетеря... Хватит! – кричит он, с трудом завязывая мешок.

Когда старуха вылезла из ямы и, щурясь от света, стала вытирать руки о передник, наброшенный поверх фуфайки, протянул ей четыре картофелины.

– Ты мне, того, мамаша, замени. Ну вот, порядок, – довольно улыбаясь, он запихивает в карман обернутые клочками бумаги четыре клубня. Старуха молча смотрит на него. Мужчина сует ей в руку деньги.

– Мало, сынок, – робко замечает она.
– Больше нет, мамаша, – осклабясь, роняет он, – чем богаты...
– Бог тебе судья, – говорит старуха, когда он, вскинув на спину толстый, похожий на откормленную свинью мешок, шагает к ка-литке.

Положив мешок в багажник и не оглянувшись на избу, мужчина тихо, объезжая лужи, покатил вдоль деревенской улицы. За машиной бросилась с захлебывающимся звонким лаем вынырнувшая неизвестно откуда собачонка.

НЕ ПО АДРЕСУ

До поезда оставалось три часа. Этого времени вполне хватало, чтобы навестить жену друга. Жена, по словам друга, жила неподалеку от вокзала, в небольшом двухэтажном доме.

Он вышел на привокзальную площадь, повернул направо и вскоре стоял на перекрестке. На углу дома висела табличка «Первая линия». «Значит, моя следующая», – подумал он, прибавляя шаг.

Дом находился в конце улицы. Он и вправду был небольшой. По словам друга, жена его была довольно-таки непривлекательной женщиной, к тому же сварливой. Его это мало интересовало, но друг долго и охотно рассказывал, смакуя каждый ее недостаток, и утешал себя после каждой фразы: «Но с этим покончено».

Он поднялся на второй этаж, позвонил. Дверь открыли быстро, словно ждали. На пороге стояла симпатичная женщина с теплыми серыми глазами и вопросительно смотрела на него. Он переступил с ноги на ногу и сказал:

– Ваш муж просил передать...

Заметил, как вспыхнули радостным светом глаза женщины. Она засуетилась:

– Проходите, пожалуйста.

Он взглянул на часы и вошел в квартиру. Квартира была небольшой и чистой. Женщина предложила чаю, но он отказался, сказав, что проездом и что скоро его поезд.

– Ну как он там? – спросила она, садясь напротив.

– Нормально, – ответил он, пожимая плечами.

– Вы знаете, я так рада, что он вспомнил обо мне. Это я виновата во всем. Я понимаю, вам это странно слушать. Но вы бы знали, как мне тяжело одной...

Женщина прижала ладони к щекам и отвернулась. Он поднялся и сказал, что ему пора. И, передавая сверток, добавил:

– Это вам.

– Ой, что вы! – прижимая сверток к груди, выдохнула женщина и, так и не отпуская сверток от груди, проводила его до двери.

Он пошел на вокзал. По дороге не знал, что и думать.

В поезде, от безделья просматривая свою записную книжку, с ужасом понял, что ходил совсем по другому адресу. Надо было идти на Первую линию, а он пошел на Вторую.

НА ЗАРЕ, НА ЗОРЕНЬКЕ

Они идут по тихой в это позднее время деревенской улице. Впереди неторопливо шагает Павлик, неся на плече длинную удочку. За Павликом идет дед. Высокий, сутулый. На плече у деда удочка и холщовая сумка. Улица взбирается в гору. Поднявшись на гору, Павлик останавливается. С горы далеко видать. И куда ни глянь – лес.

Над лесом луна. Круглая, словно кнопка. В лесу, местами, где ламбушки, туман шапкой нахлобучен. До ветра висеть будет. А как ветер – потянется в лес, словно в отдушину. Дед подошел. Дышит тяжело, а глаза блестят. Встал рядом. Удочку на плече поправил. Глаза сощурил, спросил:

– Ночь-то какая! А, Павлик?

– Нормальная, – равнодушно отвечает Павлик, – ночь как ночь.

Уголки губ у деда вздрагивают.

– Нормальная, говоришь? А ты знаешь, что в эту ночь русалки из омутов да бочажин выходят? Хохочут в лесу, на ветвях раскачиваются, а кто их чарам поддастся – защекочит.

– Враки это, – говорит Павлик, а сам к деду ближе становится, глазами по лесу шарит.

– Может, и враки, – соглашается дед и трогает Павлика за плечо. – Пойдем, что ли? Ежели на зорьку опоздаем, ерши засмеют.

Глянул Павлик на деда. Лицо у деда серьезное, а в глазах бусинки скачут. Не понять.

До ламбушки недалеко. С горы спуститься да по лесу малость пройти. Лес высокий, молчаливый. Спит, верно. Каждый хруст громким кажется. Неподалеку от тропинки, под елкой, на зеленой стрелке белый колокольчик – ландыш. Сошел дед с тропинки, сорвал, к лицу поднес. Зажмурился, Павлику протянул. Пахнет ландыш свежо и нежно.

– Самый чистый запах у ландыша-то, – говорит дед.

Невдалеке прокричало. Громко. Страшно. Вздогнул Павлик. Глаза распахнулись – шире некуда. Прокричало и стихло. Только эхом отдалось.

– Испугался?

– Не-е, – тянет Павлик, а у самого губы пляшут.

– Ну и ладно, – говорит дед.

Ламбушка чиста, задумчива. Вода голубовата. Туманом подернута. По берегу березами, словно обручем, стянута.

Удочки забросили. Поплавки красные, хорошо видать. Вот шевельнулся один. Шевельнулся и пропал. Вскинул Павлик удочку. Сверкнула серебром рыба. Теплая, будто из парного молока ее вынули. Скользящая. Трепыхается.

– Молодец, Павлик! – говорит дед.

Клюет хорошо. Успевай вытаскивать.

– Может, хватит, Павлик, рыбы-то? На уху поймали.

– Ну-у, деда-а... – тянет Павлик, – еще немножечко.

А туман порозовел. Небо каким-то застенчивым стало. Березы в воду засмотрелись, оторваться не могут. Луна в небе словно леде-нец растаяла.

– Глянь, Павлик, – кивая седой головой, проговорил дед, – солнце вернулось!

Посмотрел Павлик, а из-за леса солнце красное, как гребень у петуха, выплывает. Лес проснулся, трава залепетала, морщины на лице деда разгладились.

– Вишь, Павлик, что значит тепло да свет?

– Вижу!

– То-то, – улыбается дед, а в глазах у него по солнцу. Большому, теплomu.

– Деда, – спрашивает Павлик, – а у меня в глазах тоже солнце есть?

Дед щурится, заглядывает внуку в глаза:

– Есть.

В глубине леса проснулась и запричитала кукушка.

– Что, Павлик, домой пойдем?

Павлик мотает головой. На воду смотрит. Под водой камешки разноцветные. И по ним солнечные зайчики мельтешат. Домой пошли, когда солнце над головой встало. У воды хорошо было. В лесу каждое дерево зноем пышет. На стволах сосен янтарными кулончиками смола повисла. Птица в листве стонет: «Пи-и-ть, пи-и-ть». Из лесу на дорогу вышли. Деревня. В избе прохладно.

– Кушать-то будешь? – спрашивает дед.

Какое там! Павлик давно в кровати. И снятся ему русалки. Они весело смеются, и у каждой на груди по кулончику и по ландышу в руке. Снится поплавок. Он ныряет. Снится солнце. Большое-пребольшое. И от него столько тепла, что Павлик тает. Слышится голос деда, но что говорит, никак не понять. Только кажется, что очень хорошее, и у него в глазах – по солнцу.

1977 год

ЛЕСНЫЕ КАРТИНКИ

Сосна и ручей

Однажды набрел я на поваленное дерево. Сколько их по лесу непогодой жизни лишено! Одно меня удивило. Не прильнуло оно стволом к земле, а уперлось сучьями и словно под себя заглядывает. Прислушался я: журчит. Подошел поближе, а под деревом – ручей. Неширокий, светлый, беззаботный. Видно, до самой смерти слушала его детский лепет старушка сосна и, умирая, в последний момент, боясь причинить ручью боль, сдерживая хруст в ветвях, застыла...

«Надолго ли хватит у тебя сил?» – подумал я.

А ручей спешил, торопился по своим делам куда-то в глубину леса, и отражался в его светлых водах еще не потускневший бронзовый ствол погибшей сосны.

Мухомор

Что там ни говори, а мухомор – красавец! Можно сказать, чертовски красив, а – дрянь. Только и пользы, что мух травить!

Так и иной человек. С виду – кровь с молоком, а присмотришься – никчемный.

Ожерелье

Несколько капель росы на чудесное кружево паутины – чем не ожерелье для любимой! Именно такое увидел я рано утром в густом березняке. Подумал, оглядываясь на березы: «Вон их сколько, модниц! Спору-то будет – кому надеть?»

Птицы

Много птиц в лесу. Хлопочут, поют. Перелетают с дерева на дерево. А может, это не птицы совсем, а слова, при помощи которых деревья разговаривают друг с другом?

Поганки

Кто из грибников не был обманут внешним видом поганки! Нет, верно, такого. Не избежал этой участи и я. Иной раз, привлеченный ею, лезешь черт знает в какой бурелом, млеешь от сладкого предчувствия: «Вот это гриб!» И все для того, чтобы через мгновение в сердцах садануть по нему ногой...

Что это? Какую цель преследовала природа, подарив им вид хороших грибов? Посмеяться над нами, грибниками, или еще зачем?

ДВОЕ

Осень. Солнечный полдень. Окна ресторана задернуты белым тюлем. Колкий уличный свет процеживается сквозь мелкую вязь занавесок, наполняя мягким светом пустой зал ресторана, чистые и тонкие, как первый ледок, фужеры. За дальним угловым столиком, спиной к двери, сидит официантка. Она смотрит в окно. От тяжести проехавшей мимо автомашины, зябко вздрагивая, позванивают долгоязыые рюмки.

Бесшумно отворилась стеклянная дверь, и в зале появились нескладный мужчина в роговых очках на одутловатом лице и маленькая, словно капелька, девчушка с большим розовым бантом на белокурой головке. Девчушка крепко держится за указательный палец мужчины, таращит большие серые глаза и жметя к его ногам.

– Ну, Мариша, куда мы с тобой сядем? – негромко произносит мужчина, притрагиваясь пальцем к дужке очков.

Официантка оглянулась. Зевнула в ладошку. Достала из кармана накрахмаленного передника зеркальце, посмотрелась и лениво поднялась.

– Сядем здесь! Хорошо! Вот та-ак, – проговорил мужчина, осторожно усаживая ребенка в большое, покрытое черной кожей кресло, и сел напротив.

Постукивая каблуками, на ходу одергивая передник, подошла официантка. Натянута улыбнувшись исподлобья глядевшей на нее девочке, спросила:

– Что желаете?

– Кушать хочешь? – спросил мужчина у девочки.

Та отрицательно покачала головой и, не отводя глаз от официантки, тихо попросила:

– Лимонада.

– Я тебе принесу самого вкусного! Хочешь? – улыбнулась официантка.

Девочка посмотрела на мужчину, перевела взгляд на официантку, молча кивнула.

– Ну и что-нибудь покушать, – попросил мужчина, вновь прикасаясь к дужке очков.

Официантка кивнула, взглянула на девочку и торопливо отошла. Проводив ее взглядом, мужчина повернулся к смирно сидевшему ребенку, спросил:

– Тебе здесь нравится?

– А мама скоро придет? – водя пальцем по скатерти, спросила в ответ девочка.

Желваки на скулах мужчины дернулись. Он отвел взгляд в сторону и, ожесточенно чиркая одну за другой спички, закурил.

– Ты мне завтра говорил, что придет, – коротко вздохнув, сказала девочка.

Мужчина, видимо, хотел поправить, что не завтра, а вчера, но, встретившись взглядом с ребенком, замолк на полуслове. Девочка смотрела в сторону сложенных на маленькой эстраде музыкальных инструментов. Мужчина сидел вполоборота к ней, курил.

– Вот я и принесла самый вкусный лимонад, – весело сказала официантка, – пей, пожалуйста! Его даже крокодил Гена пьет.

Девочка распахнула глаза и, когда официантка наполнила фужер лимонадом, жадно потянулась к нему, обхватила ладошками и, поглядывая то на официантку, то на мужчину, стала пить. Мужчина медленно ел, глядя в одну точку.

– Папа! У тебя болит что-нибудь? – громко спросила девочка. Официантка оглянулась. Мужчина вздрогнул. Положил на край тарелки вилку, удивленно посмотрел на девочку, спросил:

– Почему ты так считаешь?

Девочка выпятила губы, протянула:

– Все думаешь, думаешь... Кушаешь – тоже думаешь.

– Это я так, – после короткого молчания, откашлявшись, ответил мужчина, – это я тебе сказку придумываю.

Девочка недоверчиво посмотрела на него.

– А вот ты помнишь, как меня ругал, когда я тебя обманывала?

Мужчина кивнул.

– А почему сам обманываешь? Мы уже вон сколько без мамы живем, – она показала растопыренные пальчики. – А мама все не идет и не идет!

Мужчина взял из пепельницы потухшую папиросу, размял, коротко взглянул на вопросительно смотревшую на него девочку, закурил.

– Понимаешь, Мариша, – с трудом выдавливая слова, заговорил мужчина, глядя в сторону, – нет у нас мамы. Умерла...

– Умерла? – удивленно спросила девочка, хмурия брови. – А это надолго?

Мужчина кивнул. Ожесточенно смял папиросу.

– А как это – умерла? – снова спросила девочка.

– Ну... Это... – мужчина потер лоб, зябко передернул плечами, – ну, это значит, что ее больше нет...

– Как это нет? – недоверчиво произнесла девочка, – мы есть, а ее нет? Так не бывает. Ты меня, папка, не обманывай!

– Слушай, Мариша, – перебил ее мужчина, – хочешь, мы сейчас с тобой пойдем в магазин и купим самую большую куклу?

– Которая ходит?

– Да!

– И самую-самую красивую?

– Самую красивую...

– Как мама?
– Как мама...
– А кукла не умрет? – наклонив голову, спросила девочка.
– Нет. Куклы не умирают, – торопливо сказал мужчина. – Пойдем, Мариша, пойдём...

И они вышли.

Вновь зал был пуст и полон колкого солнечного света затяжной осени.

1979 год

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

Я собирался на танцы, когда услышал звонок и голос матери:

– Борис! К тебе...

На пороге стоял Андрей, высокий нескладный парень. В нашем дворе он поселился в начале лета. И хотя двор был маленький, а лето подходило к концу, наше знакомство ограничивалось одним словом «привет».

– Привет, – ответил я. – Проходи.

Он переступил с ноги на ногу, снял полуботинки и как-то боком вошел в мою комнату.

– Садись! – Я показал на стоящий у письменного стола стул. Он сел, комкая кепку, оглядываясь по сторонам. Потом сказал:

– Ты живешь в этом городе давно?

– С рождения... А что?

– Понимаешь, – он запнулся, покраснел. – Человека одного надо найти.

– Девчонку без адреса, что ли?

Он еще больше покраснел, кивнул.

– Ну, если девчонку, то это пустяки, – махнул я рукой. – Девчонки на танцы ходят. В крайнем случае у ребят можно будет поспрашивать...

– Нет, нет, – испуганно перебил он. – Ребятам не надо... Я к тебе как к товарищу.

– Ладно, – я снисходительно пожал плечами. – Давай данные. Имя, фамилия, лет сколько.

– Я не знаю...

– Привет! – изумился я. – Пустоту искать, что ли?

Он достал из кармана куртки что-то аккуратно завернутое в газету, бережно развернул.

– Вот фотокарточка.

Я взял фотокарточку и невольно присвистнул. Девушка была красивой. Я не знал, в чем именно заключалась ее красота, но мне было отчего-то радостно смотреть на нее.

– Сама подарила или... того? – как можно равнодушнее поинтересовался я, возвращая фотокарточку.

– Нашел, – тихо ответил он.

– Как нашел?!

– В парке. У меня шнурок на ботинке развязался. Я нагнулся, смотрю...

Мы замолчали.

– Ты ее знаешь? – он посмотрел на меня.

– Нет... Не встречалась.

Он вздохнул.

– Встречу, скажу, – пообещал я.

– И как зовут, узнай, пожалуйста, – робко попросил он.

– Ладно.

– Пойду я, – он бережно завернул фотокарточку, спрятал в карман. У порога обернулся: – Ты только ребятам не говори...

– Могила... Ты сам тоже ищи.

– Я уже месяц ищу.

– Ищу, – передразнил я. – Девчонок надо на танцах искать, в городе, а не сидя во дворе.

Андрей стал приходить ко мне каждый вечер. Переступив порог, вопросительно смотрел на меня. Я отрицательно мотал головой.

– Хотя бы имя знать, – раздраженно сказал я в один из вечеров.

– Ее Ириной зовут, – тихо обронил он, глядя в сторону.

– С чего ты взял? Может, Таней, Людой или еще как.

– Не знаю... Мне кажется...

– Может, и сколько лет знаешь? – насмешливо спросил я.

– Семнадцать.

– Ну, тогда давай фамилию – и завтра ты с ней познакомишься, – сказал я твердо.

Он отвернулся.

– Ты что, влюбился? – уставился я на него.

– Не знаю. Хорошая она...

Шло время. Девушку с фотокарточки мы так и не встретили.

– Слушай, – решительно сказал я ему, когда мы вечером шли по городу, – так мы будем искать до скончания света. Кто знает, может, она из другого города, надо у ребят спрашивать.

И стали мы спрашивать у ребят...

– Откуда она у тебя? – удивленно воскликнул один из них, переводя взгляд с меня на Андрея.

– А тебе не все ли равно? – сказал я.

– Да мне-то не все равно, – равнодушно ответил он, возвращая фотокарточку.

– Кто такая?

– Галька Веселова.

– Где живет?

– Жила, – махнул он. – Два года как померла...

Я посмотрел на Андрея. Он побледнел, медленно повернулся и пошел прочь.

«ПЯТЕРКА» ЗА УРОК

Она вошла, когда все решили, что урока не будет. Расшумевшийся класс притих, встал при ее появлении.

– Здравствуйте. Садитесь, – произнесла она тихо и положила на стол журнал.

Села, передернула плечами, сказала, что прохладно. В классе было тепло, и все переглянулись. Она раскрыла журнал, за шелестом страниц не слышен стал монотонный шум дождя.

– Что мы проходили на прошлом уроке? – спросила она, отыскивая в журнале нужную страницу, и устало провела ладонью по лбу.

Она была молодой и совсем недавно пришла в вечернюю школу.

Говорили, что сразу же после окончания пединститута. Знали, что она совсем недавно вышла замуж. Все помнили тот день, когда она вошла в класс. На пальце ее радостно поблескивало золотое колечко, а глаза блестели тем светом, что был знаком и дорог каждому из ее взрослых учеников. И все радовались за нее. А она ходила по классу и объясняла материал, тихо улыбаясь, и находила такие слова, что не понять материал было просто невозможно. А после занятий она первой уходила из школы, спешила, и все слышали, как торопливо стучали каблучки ее туфель по стынущему от холодных дождей асфальту.

Вместе с дождями приходили и уходили дни. Уже лежали на асфальте пришитые мелким дождем листья, и все чаще заполняли улицы города туманы, и все реже в сером небе просвечивало солнце. Менялись темы уроков. Учительница то обиженно поджимала губы, ставя оценку, то светлела лицом. И все было так, как и должно быть. Но теперь она уходила из школы почти последней, и торопливый перестук каблучков сменился размеренным, неохотным, словно каждым шагом она ставила точку.

– Да, – сказал кто-то из ее учеников в один из промозглых осенних дней, глядя ей вслед. – Жизнь!..

– Не угадаешь, – добавил кто-то, – она такая...

– Так что мы проходили на предыдущем уроке? – спросила она. – Скажите, Степанов.

С первой парты поднялся пожилой мужчина и, откашлявшись в кулак, ответил:

– Лирику Пушкина.

– Правильно, – сказала она, вставая из-за стола, и, подойдя к окну, попросила: – Прочтите то, что вам нравится.

И подумала, что зря, пожалуй, попросила. Она была как-то у него дома. Смотрела, как он живет, какие условия. У него много детей, и квартира была совсем небольшой, и условия для занятий плохие, и работал разнорабочим, а она знала, что значит работать осенью разнорабочим.

Она стояла боком к классу, и все видели ее заострившееся лицо, пальцы рук, нервно потирающие висок.

– Ну, что вы, Степанов? Читайте, пожалуйста, – произнесла она.

Мужчина посмотрел на нее, наморщил лоб и, опустив взгляд, с трудом вспоминая, начал читать:

*Я верю: я люблю; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желанный томный жар,
Стыдливость робкая, харит небесный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.*

Слова заполнили класс, и им было тесно в нем. Она смутно помнила эти стихи и слушала их, приоткрыв рот, чувствуя, что меняется что-то в ее сердце, и хотелось слушать, слушать... Но мужчина замолчал и растерянно произнес:

– Все, больше не знаю.

Она вздохнула.

– Можно, я расскажу, – попросил кто-то.

– Да, пожалуйста! Конечно, – обрадованно проговорила она, подходя к столу и садясь на стул.

Я вас любил: любовь еще, быть может...

Она слушала, прикрыв глаза, и стихи казались ей необыкновенно свежими, особенными, наполненными какой-то необычайной прелестью. И еще поняла, что они ей сейчас необыкновенно нужны, пожалуй, так, как никогда в жизни. И еще удивилась тому, что они читают именно эти стихи, которые ей так необходимы в эту холодную осень. И почувствовала, как медленно возвращается к ней то, что она считала безвозвратно потерянным.

Звонок прозвенел неожиданно.

– Спасибо, – сказала она. – Вы очень хорошо подготовились к уроку. Все! И я всему классу ставлю «пятерку».

И улыбнулась той улыбкой, какой давно они не видели на ее лице.

Когда она вышла, кто-то задумчиво произнес, пряча в папку тетрадный листок с текстом стихотворения:

– Такие вот пироги...

РОДНИЧОК

Димка сидит на здоровенном чурбане и во все горло распевает невесть откуда выкопанную нескладуху:

*Трактор с моста навернулся,
Только шея хрякнула...*

Поет Димка от избытка чувств: как же, идет на рыбалку! На нем пиджак, старые, замызганные брюки, стоптанные башмаки. Он ждет меня.

А я сижу на чердаке, предложенном взамен ремонтируемой комнаты, и неторопливо собираюсь на рыбалку.

– Да замолчишь ты или нет? – раздается во дворе сердитый голос его матери, когда Димка в который уже раз прогорланил одно и то же. – Заладил как попугай: хрякнула да хрякнула. Вот отец сейчас выйдет, он тебе так хрякнет, что неделю на задницу не сядешь.

– Три разка и спел-то, – слышу в ответ недовольный Димкин голос. – Уж и петь не разрешают...

– Господи! Да кто ж тебе не разрешает? Пой на здоровье. Да пой-то хоть разное. Хорошая песня и та, ежели раз за разом слушать, надоедает, а тут – «хрякнула».

Тишина. Шаги. Стук входной двери, и Димка, как ни в чем не бывало, с надрывом затягивает:

*Ах, пойду да утоплюся,
Да на березовом суку,
И кому какое дело,
Куда брызги полетят...*

– Я вот ему, шалопаю, счас утоплюся, – слышу из избы хриплый, с еле заметной трещинкой, какая бывает у долго курящих людей, голос Димкиного отца (верно, дверь в сени открыта). – Артист мне нашелся, едрит твою корень. Ну куды ни глянь – одни артисты... Анастасия! Где ремень?!

– Ремень ему... Без ремня шагу ступить не может.

– Его, обормота, не ремнем, его дрыном учить надо... Аль забыла уже, кто в магазине окно начисто вышиб?

– Окно... Теперь месяц это окно помнить будешь. За окно он уже свое получил.

За окно Димка получил вчера вечером. Я уже засыпал у себя на чердаке, когда хлопнула входная дверь и не предвещавший ничего хорошего голос Димкиного отца произнес:

– Нагулялся?... Я тебя спрашиваю, нагулялся?!

– Нагулялся.

– Ну и как погулял?

– Хорошо.

– Хорошо... Вот стервец... А зачем окно в магазине высадил?

– Я же не нарочно.

– Только и не хватало, чтоб нарочно. Футболист мне выискался, едрит твою корень... Не умеешь, а туда же...

– Мастера тоже мажут, а у них ворота вон какие...

– Мастера за это свое получают, а ты получишь свое. А ну-ка повернись, как положено. А ты не лезь. Заступница мне нашлась...

– За дело попало? Что? Не слышу?

– За дело.

– То-то. А теперь спать. А если еще раз, я тебе голову вместе с ушами отверну.

– Получил, получил... Мало, значит, получил, ежели не понимает, что отец с работы пришел. Где ремень, спрашиваю?

– Тебе надо, ты и ищи.

Я торопливо запикиваю в карман банку с крючками, леску, хватаю рюкзак и спускаюсь по прислоненной к чердачным дверям ветхой от времени лестнице. Машу Димке рукой. Димка неспешно встает, поправляет сползшую на ухо тубетейку, замирает, не сводя глаз с избы, а затем несется ко мне во все лопатки. Едва он успел забежать за угол, как раздается грозное:

– Демид! А ну-ка, поди сюда. Дело есть.

Димка, закусив губу, осторожно выглядывает за угол, сдерживая дыхание, шепчет:

– Ишь, хитрый какой. Ремень-то за спиной держит.

– Все равно получишь. Куды денешься. Слышь?

Димка машет мне рукой и на цыпочках, то и дело оглядываясь, идет к забору.

– Утром все едино всыплю. Заместо физзарядки, – догоняет нас у забора.

– Не всыплет! – уверенно говорит Димка.

– Это почему же не всыплет? – спрашиваю я серьезно.

– Забудет... Впервой, что ли, – небрежно говорит он, поддерживая штаны.

– А если не забудет?

Димка смотрит на избу, смешно морщит белесые брови, вздыхает:

– Ну и пускай. Штанов я все равно снимать не буду.

Сразу за забором – щедро залитое светом уходящего солнца поле. Вкусно пахнет клевером, сомлевшей от дневной жары крапивой. По краю поля – темным орнаментом тропинка.

Через несколько шагов Димка останавливается, садится на лежащий рядом с тропинкой большой плоский камень, хлопает по нему ладошкой, строго говорит:

– Садитесь.

Удивленный, покорно сажусь рядом. Димка озабоченно поджимает губы, спрашивает:

– Спички взяли?

– Взял, – я хлопаю себя по карману.

– Курево?

Отыскиваю курево.

– Теперь вы у меня спрашивайте, – требует он.

– Червей взял? – строго спрашиваю я, хотя прекрасно вижу торчащую из кармана банку с червями.

– Тута.

– Крючки, леску?

– Взял.

– А удочки?! – восклицаю я. – Удочки-то?

Димка машет рукой в направлении леса, гордо говорит:

– У меня на каждой ламбушке удочки заныканы, – и доверитель-

но поясняет: – Мы с батей всегда так делаем. Вдруг что забудешь. Возвращайся потом...

Тропинка, обогнув поле, юркнула в лес и, словно наткнувшись на что-то острое, раскололась надвое. Димка уверенно шагнул на левую.

День уходил. В лесу тихо и жарко. Уходящее солнце золотит стволы сосен, берез. В глубине леса деловито барабанит дятел. Терпко пахнет хвоей, грибами. Тропинка, мягко огибая тугие, отсвечивающие золотом сосны, неспешно скользила в глубину леса. Налетели комары.

Димка шагает впереди меня, размахивая руками. На его спине, тубетейке не меньше сотни комаров. Столько же, если не больше, вьется вокруг.

– Намажемся? – предлагаю я, потеряв всякое терпение от комариной настырности и гнусавого нытья.

Димка останавливается, тянет:

– Вообще-то можно.

Я выдавливаю из тубика в протянутую ладошку мазь.

– Что за комары, – недоуменно говорит он, усердно размазывая по красному лицу мазь. – Кричит: нее-е, нее-е, а сам бац!

– Разве это комары, – пренебрежительно говорю я, с трудом сдерживая смех. – Вот на Урале комары так комары, по полкилограмма каждый. Нос – во-о! – я вытягиваю указательный палец.

Димка, склонив голову к плечу, внимательно смотрит на меня, на палец и после коротко раздумья решительно говорит:

– Таких не бывает.

– Это почему же не бывает? – все так же серьезно говорю я.

Думал, что Димка станет спорить, но он мечтательно произнес:

– Вот бы посмотреть... А кричат они громко?

– Громко.

– А как их птицы едят?

– Так и едят. Сначала нос, потом крылья... Пошли, а то на вечернюю зорьку опоздаем.

– Слушай, Димка, – говорю я после короткого молчания, – тебе сколько лет?

– Ну, девять.

– А ты не обманываешь?

– Вот еще! Что я, девчонка, что ли?

– Не все девчонки обманывают.

– Все! Вон Люська Смородинова – ей одиннадцать, а она говорит, что десять. Мы ее уже отколотить хотели, чтобы не врал.

– Девчонок нельзя бить.

– Зна-аю. Учительница говорила, – тянет он с сожалением.

Тропинка, с трудом протиснувшись сквозь густой кустарник, метнулась вправо, шарахнулась от вывороченного и издали похожего на осьминога пня, выскочила на небольшую поляну и, разделив ее, нырнула в лес.

– Пить хотите? – спросил Димка, оборачиваясь, и, не дожидаясь моего ответа, свернул в сторону.

Я послушно шагнул следом.

– Тише. Слышите? – прошептал он.

Я прислушался. Где-то рядом, в тишине, чуть слышно и ласково журчала вода.

Димка, уверенно шагая, подошел к огромной ели, присел. Среди толстых, узловатых корней прикрытый солдатской каской с рваной дырой на боку жил родничок. Вода в нем была настолько светлой, что я с высоты своего роста видел на дне каждую травинку, камушек.

– Пейте, – великодушно разрешил Димка.

Я снял рюкзак, опираясь обеими руками о теплую землю, прикоснулся к роднику губами и невольно отпрянул. Вода была холодной, словно лед. Я сделал пару глотков и больше не мог, перехватил дыхание.

– Ерошка, – с гордостью сказал Димка.

– Кто Ерошка?

– Он!

– Родник, что ли?

– Да. Мы с ребятами его так называли.

– Но почему Ерошка?

Димка дергает плечами и бережно укрывает родник каской.

– А каску где нашли?

– Там, – он махнул рукой в глубину леса.

Мы вышли на тропинку. Вскоре впереди сквозь частокол деревьев заголубело. Димка прибавил шагу.

Ламба была небольшой, в желтом пояске берега. Вода в ней – голубовато-зеленого цвета. Было тихо. Вдруг на противоположном берегу тяжело всплеснула рыба. Димка вздрогнул, прошептал:

– Щука... Большущая...

Мы устроились на мыске с черным пятном от костра. Пока Димка бегал в лес за спрятанными удочками, я распотрошил рюкзак, приволок из леса сушину.

Удочки, которые принес Димка, были тонкими, длинными, легкими. Я наладил одну, насадил червя, забросил. Поплавок под тяжестью грузила нырнул, выскочил из воды словно ошпаренный и застыл стойким оловянным солдатиком.

Не клевало.

– Сытая, вот и не берет, – разочарованно протянул Димка. – На утренней брать будет.

– Будет ли? – засомневался я.

– Голод не тетка, еще как будет, – уверенно проговорил он.

– Тогда давай костерок разведем.

– Давайте.

Димка сидел у костра, смотрел на огонь, задумчиво морща лоб, порывался несколько раз о чем-то спросить, но замолкал.

Темнело. Гладь ламбы подернулась туманом. Лес придвинулся. Появились первые звезды. В котелке забулькало. Я высыпал в него щепотку чая. Димка пил неторопливо. Старательно дул в кружку перед каждым глотком. Я ни о чем его не спрашивал. Мне было хорошо и просто с ним.

– А в небе углы есть? – неожиданно спросил он.

– Углы? Какие углы? – удивился я.

– Обыкновенные. Как в избе.

– Конечно, нет, – рассмеялся я. – Какие могут быть в небе углы?

– А вы откуда знаете? – он наклонил голову к плечу.

– Да уж знаю, читал.

– Ни одного?

– Ни одного.

– А тот, кто написал, откуда знает?

– Да уж знает, – я развел руками. – Зря не напишут.
– А вы уж и поверили, – протянул он.
– Ложись-ка лучше спать, – решительно сказал я. – А то утреннюю проспишь.

– Не просплю. Не впервой, – уверенно сказал он.

Вскоре Димка спал, свернувшись калачиком. Лицо у него было серьезным и решительным. Что ему снилось? Я укрыл его курткой, принес из лесу хвороста и стал терпеливо ждать утренней зорьки.

1980 год

ЖЕНЩИНА

Она знала, что он уйдет от нее. Не знала только – когда. Каждое утро, отправляясь на работу, он говорил: «Ну, я пошел». «Куда?» – испуганно спрашивала она и замирала в ожидании ответа. «На работу, куда же еще», – хмуро говорил он, и у нее отлегалось от сердца.

А в это утро...

– Ну, я пошел, – сказал он, глядя в сторону.

– Я тебя провожу. Нам по пути, – сказала она и заторопилась.

– Нет. Не надо, – глухо обронил он.

– Уже... – потерянно прошептала она, не сводя с него глаз.

Он молча кивнул, посмотрел ей в глаза и честно сказал:

– Зачем тянуть?

– Ты нашел другую? Да?

– Нет, – он покачал головой. – С моей стороны было бы подлостью, живя с тобой, искать другую...

Ей хотелось сказать ему, чтобы он не уходил от нее, чтобы пожил еще, ну хотя бы еще немного, что она любит его, и совсем даже не ее вина в том, что она не может стать матерью... Ей хотелось закричать, но вместо этого она прижала ладонь к губам и жалобно сказала:

– Можно взять из детского дома....

– Нет, – выдавил он и протянул руку, – прощай!

И таким холодом, такой пустотой пахнуло от этого слова, и так больно стало сердцу, что она побледнела.

– Ну что ж, иди...

Он пожал плечами, неуверенно переступил с ноги на ногу и, не глядя на нее, вышел.

Бессильно опустив руки, прижавшись к входной двери, она слышала, как тяжелыми, неохотными шагами уносит он от нее свою любовь к другой. К женщине, которая, наверное, будет не такой красивой, как она, не такой доброй и, может быть, не такой ласковой, но которая подарит ему то, что хотела, но не могла она, – ребенка. И она по-хорошему, не кляня, позавидовала ей.

Она тихонько застонала, отошла от двери и вернулась в комнату. Над окном мокрыми ресницами висели сосульки, ветка тополя с набухшими почками, теплая полоса солнечного света на полу, а на столе, в пепельнице, – еще дымящаяся папироса...

Постояла, глядя в одну точку, и бездумно, автоматически стала собираться на работу.

На улице было прохладно, пахло талым снегом.

– Господи, – шептала она, глядя прямо перед собой. – За что же он меня так больно?.. Что я ему плохого сделала?

Улица была длинной. Влажно блестел асфальт. У стен домов сладко и жадно, как ребенок, причмокивала капель. Она, словно споткнувшись, остановилась. Работа! Она до боли в сердце отчетливо представила, как вот сейчас будет разносить счастливым матерям их малышей, от которых так тревожно-сладко пахнет молоком. Малышей, которые на разные голоса будут звать своих матерей. Но не ее... Что не она накормит их своей грудью и успокоит. Что не ее муж будет звонить через каждые полчаса по телефону и спрашивать: «Ну, как там моя?..» Не ее муж будет кричать, захлебываясь от радости: «Дорогая! С меня причитается. Ложкин моя фамилия, запомните».

Она почувствовала, как, оказывается, больно бывает сердцу, когда бережно держишь на руках чужую радость. Вдруг до конца поняла, что ей, наверное, никогда не услышать такое простое, но такое нужное, без чего женщине и жить-то как-то неловко, – слово «мама»...

«А детский дом, – подумала она. – Ведь там тоже...»

Она постояла, затем бросилась почти бегом.

И там, на работе, укладывая малышей на каталку, прижимала каждого к груди и шептала:

– Маленький ты мой...

КОЛЬЦО

...Можно было переступить порог и войти в тепло квартиры. Можно было взять и спустить по лестнице стоявшего напротив парня, которого он два года назад честно звал своим другом. Можно было процедить грязное ругательство и ударить стоявшую рядом с парнем женщину. Можно было...

Он переложил из руки в руку маленький, купленный в последний день перед дембелем чемоданчик, пристально посмотрел в глаза женщины, в которых ничего, кроме испуга, не было, протянул руку и жестко уронил:

– Кольцо!

– Витя... – женщина прижала руки к груди. – Я... Я не хотела.

– Я тоже, – резко оборвал он. – Кольцо! У меня нет времени.

Она побледнела и стала снимать с пальца обручальное кольцо.

Оно не снималось.

– Не снимается, – она жалко улыбнулась.

– А ты плюнь на него. Плюнь, и тогда слезет.

На лестничной площадке было холодно и хорошо слышно, как звучно похрустывает снег под ногами прохожих.

– Виктор, – выдавил парень. – Понимаешь... Так получилось. Неожиданно.

– Заткнись.

– Вот, – она неуверенно протянула кольцо.

Кольцо было теплым и тускло блестело. Он взял его двумя пальцами, широко шагнул и выбросил в мусоропровод. Было слышно, как оно, ударившись обо что-то, жалобно тенькнуло и замолчало.

– Вот так, – глухо уронил он, криво улыбнувшись. – Но ты не жалеяй, он тебе новое купит. Дороже. Самой высокой пробы и круглое... Самое круглое... Круглей не бывает, – и, прежде чем уйти навсегда, тихо сказал: – Дверь закрой... Простудишься.

МЕЛОДИЯ ОСЕНИ

Осина зашелестела и обронила ярко-красный лист. Медленно кружась в стылом воздухе, он лег на влажную от росы скамью.

День клонился к закату. Солнце было розовым и холодным. Свет его отражался в рельсах, которые, вырвавшись из-за горизонта, снова устремились к горизонту.

– Опять пришла, – тихо сказала дежурная по станции, глядя в окно на вышедшую на перрон девушку. – Каждый день приходит. Приходит и молчит. А то листья собирает да улыбается так, словно потеряла что-то.

Телефонистка посмотрела в окно, махнула рукой:

– А тебе-то что? Пускай себе ходит на здоровье.

Дежурная промолчала.

– Скоро пассажирский пожалует, – зевнула телефонистка.

– А может, она ждет кого-то...

– Сначала сама дождись, а потом о других думай.

Девушка стояла на перроне, держа в руках гроздь рябины, ворох разноцветных листьев. Она робко и с надеждой смотрела вдоль длинного, как осенний день, поезда.

Когда он отошел, дежурная решила:

– Не приехал?

Девушка опустила голову и чуть слышно сказала:

– Он, наверное, сел в другой поезд.

Состав уходил. В окнах его играло вновь выглянувшее солнце. Вот он скрылся за поворотом, и перестук колес растаял в жадной до тишины осени.

А над поворотом, там, где скрылся состав, в темном и неприветливом небе светилась маленькая розовая черточка, очень похожая на запятую...

РОМАШКА

Вечером небо заволокло тучами, и стал накрапывать дождь. Я спрятал удочки и напрямик через поле зашагал в сторону деревни. Дверь избы, в которую я постучал, открыли быстро, словно ждали, но на лице открывшей мне женщины мелькнуло разочарование. Я объяснил причину своего появления и попросил приступить переночевать. Внимательно оглядев меня, женщина согласнo кивнула.

Когда я вошел в избу, у распахнутого настежь окна с ромашкой в руке стояла девушка. Она обернулась, кивнула и вышла в другую комнату. Женщина вздохнула, мягким движением поправила волосы и с еле заметной горечью сказала:

– Гадает все. Видать, время пришло. Любит – не любит? А разве цветок на это ответит? – И, немного помолчав, спросила:

– Самовар согреть?

Я отказался.

– Как хотите, – сказала она, – а спать на чердаке будете. Пойдемте, провожу.

Я вышел следом за ней в сени и по крутой лестнице поднялся на чердак. Там было прохладно и пахло гнилью. У чердачного окна стояла кровать, покрытая толстым стеганым одеялом. Я лег. По крыше добросовестно барабанил дождь. И так, думая о завтрашнем дне, о неудавшейся рыбалке сегодня, я не заметил, как заснул.

Когда открыл глаза, было тихо, и квадрат окна теплился рассветом. Я уже было собрался встать, как услышал женский голос.

– Не верю я, Коля...

– Мне не веришь? – встревоженно спросил мужской голос.

– Ты же знаешь, – после некоторого молчания заговорила женщина. – Я два раза замужем была. – Голос ее, медленный, с частыми паузами, звучал тускло. – Два раза я своему сердцу поверила, и два раза оно меня обмануло. Как мне верить-то теперь?

Стало тихо. Заныл над головой комар.

– А мое верит, – неожиданно произнес мужской голос, – верит. А зачем оно в таком случае верит? Зачем? Думаешь, и мое вот так, сразу правду мне сказала, не ошиблось? На то оно и сердце, чтоб

ошибаться. Раз ошибется, два – и поймет, где любовь, а где лишь одно слово.

Мужчина закашлял глухо, с надрывом. Откашлявшись, произнес:

– Пойду я, раз так. Что ж делать-то...

Раздались тяжелые шаги.

Я не разобрал, что сказала вслед женщина, но звук шагов стал легок и быстр. Вскоре все стихло. Я слез с чердака и вышел на крыльцо. Женщина сидела на бревне и, наклонив голову, сосредоточенно обрывала лепестки с ромашки. Я кашлянул. Она вздрогнула. Торопливо спрятала цветок. Я поблагодарил за ночлег и покинул двор.

Сразу за деревней лежало поле. На нем росло очень много ромашек. Я сорвал цветок. Он уронил мне на руку прохладную каплю росы.

Мне совершенно незачем было гадать, потому что все было как будто ясно.

ПАРИ

Не помню уж, с чего начался тот наш разговор о женщинах. Говорили мы не спеша, обстоятельно и, как водится, перебрали косточки всем, начиная от «мисс Европы», до... Но начисто избегали суждений о своих женах, зная, что любая из них, будь она хоть того лучше, все же не подарок...

– Да и вообще, – подвел итог нашему диспуту Вадим Рожнов, – мы просто толчем воду в ступе. Разгадать характер женщины – это что разгадать кроссворд в тысячу слов.

Петька Молин, подумав, уточнил:

– В миллион.

Никто не возражал, по собственному житейскому опыту зная, что так оно и есть. Женщина есть женщина. И если говорят, что пути Господни неисповедимы, то пути женщины – вообще беспросветный мрак.

Одним словом, тема была закрыта. Сидели, курили, как вдруг Семен Поташев, самый старший из нас, самоуверенно так заявляет, что о «мисс Европе» он, конечно, имеет смутное представление,

но вот то, что знает свою жену, как свои пять пальцев, – это так же точно, как то, что сегодня вторник, а не среда.

– Не буду распространяться о том, как она готовит, как следит за чистотой в квартире, – ронял он в наступившую тишину бытовки такие неожиданные для нас слова. – Скажу о главном – она совершенно равнодушна к чужим мужчинам.

Разливался он долго. Мы ему не мешали, а когда он свой гимн жене петь перестал, я хотел вежливо поинтересоваться – какую из своих ладоней он имеет в виду? Дело в том, что на правой руке у него не хватало одного пальца.

– Слушай, мужик, – неожиданно сказал Генка Волгин, тот самый Волгин, что был три раза женат и знал женщин на все 125 процентов. – Давай поспорим, что в субботу в час дня твоя жена выйдет из дома под любым благовидным предлогом: в магазин, к подруге, заплатить за свет. Да мало ли зачем! Но при одном обязательном условии – ты не будешь против ее ухода и не расскажешь ей об этом нашем споре. А куда она пошла и зачем, я тебе потом скажу. Ну как, договорились?

– Никуда она не пойдет, – заявил Семен. – В субботу в это время вторая серия картины «А зори здесь тихие...»

– Спорим?

Поспорили. На что? Ясное дело, на что всегда спорили да и споят мужики.

– А чтоб без обмана, – сказал Генка Волгин, – мы к тебе в гости заявимся, примерно в половине первого.

Наступила суббота. В половине первого мы были у Семена в квартире и с умным видом говорили о производстве. Его жена сидела на диване и что-то вышивала. Глядим, стала она посматривать на часы, а без десяти час взяла хозяйственную сумку, сказала, что надо купить хлеба, и ушла.

Едва за ней хлопнула дверь, Семен посмотрел в хлебницу – хлеб был.

– Куда это ее понесло? – заволновался он. – 17 лет живем, а...

– Не волнуйся, – успокоил его Генка. – Минут через 20 придет.

Так оно и вышло. Она пришла 15 минут второго и, ни слова не говоря, села перед телевизором. Лицо ее было злым...

– Все очень просто, – в понедельник объяснил нам Генка. – Семен с ней живет уже семнадцать лет. Что из этого следует? Я был глубоко уверен в том, что за последние годы он не сказал ей ни одного из тех слов, что так нравятся женщинам, от которых они прямо тают. Ну, я взял и написал ей письмо. Что, дескать, так и так, видел Вас в кинотеатре, Вы мне очень понравились, и что мне надо сказать Вам что-то очень важное. И назначил встречу в сквере – на час дня. А письма писать я умею... Особенно о женской красоте... Вот и подумайте, какая женщина, хотя бы ради любопытства, не пойдет посмотреть на мужчину, которому так сильно понравилась и который хочет сказать ей что-то очень важное?

– Да, – он повернулся к угрюмо сидевшему Семену. – Ты там хай не поднимай. Сам виноват... Ласковое слово – оно... – Генка пристынул, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и замолчал.

ДЕВЧОНКИ

В этот вечер долго не гаснут окна в девичьем общежитии. Но упрямо стоят под окнами ребята. Ждут. Ох, зря – не выйдут сегодня девчонки, ждите хоть до утра. Сегодня у них праздник – встреча после долгой – целый месяц – разлуки. Сколько разговоров, сколько событий! Затормошат появившуюся подружку, повернут во все стороны, расцелуют – шум, смех по всем этажам.

Не ворчит на них сегодня всегда такая строгая тетя Даша. Дежурный вахтер сидит за столом, на котором захлебывается телефон, и тихо улыбается – ребят тоже понять можно, сердца не железные. По правде говоря, будь тетя Даша на месте девчонок, еще бы месяц к ним не выходила. Пускай попереживают. Но завтра же выскочит какая-нибудь стрекоза:

– Я ненадолго, тетя Даша!

А стучится в первом часу ночи.

Но девчонки о свиданиях и думать не хотели. До занятий еще целых два дня, а здесь событий столько – с ума сойти можно!

Нюра, эта тихоня, оказывается, чуть замуж не выскочила. И сама же об этом со смехом рассказывает, да с такими шутками, что, будь

парень здесь, со стыда бы сквозь пол провалился. Девчонкам хоть бы что, хохочут – аж слезы на глазах.

А Наташка молчит.

– Что с тобой, Наташа?

– Бабушка умерла.

И пропал смех, будто его и не было. И о Ньюркином женихе забыли, и о своих радостях. К подружке беда пришла. Окружили, молчат.

– Да ты поплачь, – советует кто-то, – легче будет, я это по себе знаю.

– Я хочу, да не могу.

Что ж, и так бывает. Маленькая обида – и слезы ручьем, не удержишь, а придет большая беда – и нет слез, лишь сердце сожмется, да глаза как-то по-другому на мир смотреть начинают.

Молчат девчонки – разве найдешь слова вот так, сразу? И каждая вспоминает маленькую, сухонькую старушку в большом цветастом платке, что приезжала зимой. Ее ласковые слова и удивительно вкусные пирожки. И, наверное, от этого у каждой мокрыми стали глаза. Но они не прячут их друг от друга, да и зачем прятать, если наружу вылилось то, что было на сердце, – участие в беде человеческой.

Нет, не ждите, ребята, девчонок. Они не умеют пока прятать горе внутри, не научились. И не могут вот так, сразу, найти те слова, что необходимы сейчас их подружке. Не сердитесь и не удивляйтесь, если завтра они станут чуточку к вам строже.

1981 год

РАЗГОВОР ДВОИХ

Здравствуй, Наташка-ромашка. Извини, задержался, работы было много. Какая у тебя теплая ладошка. Ну, как живешь? Хорошо? Молодец! Ты соскучилась по мне? Я тоже. Давай поговорим. Ты не бойся – нам никто не помешает. Тебе не холодно? Нет. А ты знаешь, я в последнее время мерзну, хоть и тепло. Ну что ты на меня так внимательно смотришь? Я что-то не так сказал? Извини,

бывает. Ты жалеешь меня. Ты славная. Я не знаю, как бы жил без тебя, честное слово. А волосы у тебя пахнут молоком, и они такие пушистые. А ты знаешь, Наташка, у одной девчонки, давно, правда, были такие же пушистые волосы... И я их очень любил гладить. Почему ты молчишь? У тебя плохое настроение? Тебе хочется плакать? Не плачь, пожалуйста, а то и я заплачу. Ты мой самый любимый человек на земле. Ты мне веришь? Верь, пожалуйста. Ну улыбнись... Вот молодец! Ты мне улыбайся всегда, ладно? Как быстро летит время. Ты не обращай внимания на то, что я вздыхаю. С годами все люди часто вздыхают. Ну, хочешь, пойдем на улицу? Знаешь, как хорошо гулять вдвоем!

Ой, Наташка, да ты... Давай сменим пеленку!

КОНДОПОЖСКИЕ «КОСМОНАВТЫ»

Встречаю на днях товарища. Мы с ним в вечерней школе вместе учились. Закурили. Разговорились.

– Ну как жизнь, где работаешь?

– Живу ничего, а работаю шофером. А ты? – спрашивает он.

– Живу тоже ничего, работаю на стройке.

– Работу менять не собираешься?

– Да нет вроде, – пожимаю плечами.

– А я заявление в космонавты отослал, в Звездный городок. Вызова жду...

Я глаза вытаращил, рот раскрыл: в школе вроде нормальным был. А он стоит и этак небрежно зевает.

– Но, – промямлил я, – космонавту образование надо иметь, специальность военного летчика.

– Научат...

– А здоровье у них какое – знаешь? Они там каждый день на разных тренажерах...

– А-а, – презрительно протянул он. – Чихал я на их тренажеры с кабины своего «ЗИЛа». Тренажеры... Видал я по телевизору, как они там тренируются. Батуты там всякие... Ерунда, в общем.

– А ты-то где тренировался? – насмешливо спросил я.

– Я?! – приятель удивленно посмотрел на меня. – На работе! Едешь, к примеру, по улице Комсомольской или в деревню Кондопогу – там тебе в кабине и невесомость, и все остальное... Во всех плоскостях мотаешься. Тебя крутит, в невесомости находишься, а за дорогой смотри. А дорога... Ты бы знал, как она, дорога, меня научила ругаться. Хочешь послушать? Ну как хочешь, – он пожал плечами. – А ты говоришь: тренажеры. Да любого космонавта в наши машины да на наши дороги... Думаешь, выдержали бы? Не выдержали бы! У нас в автобазе все ребята крепкие. А почему? Горсовету спасибо.

– Слушай! А может, того, послать в Звездный городок предложение: дескать, так и так, приезжайте к нам в Кондопогу на тренировки. Сохранность и улучшение тренажеров – дорог, значит, – горсовет гарантирует... А? А может, в «Крокодил»?

– А ему-то зачем? – удивился я.

– Как это зачем? Для всесоюзного читателя. Может, еще кто в космонавты хочет. Ну, пока...

Мы расстались. Я шел по дороге. Мимо меня, навстречу, переваливаясь, как утки, шли машины, и неслись из кабин далеко не лестные эпитеты в адрес работников исполкома горсовета.

Одного я не знаю: икалось ли им...

ВЕРУЮЩИЙ

На лестничной площадке, как и во всем подъезде, было темно и тихо. Дверь квартиры, в которой он по своей вине не был несколько лет, на продолжительные звонки отвечала молчанием. Он позвонил в соседнюю, к старикам, у которых с женой иногда коротал вечер за игрой в лото...

Эти вечера со стариками там, где отбывал наказание, он сам, не зная почему, вспоминал куда чаще, чем все другие – шумные, полные света и музыки. Вспоминал по ночам, когда от работы ныли руки, а от тоски по любимой и воле – сердце... И в письмах к жене он, сам еще не зная толком за что, просил передать старикам привет и самые наилучшие пожелания.

...На мелодичное «тон-тон» слышались знакомые шаркающие шаги, и дверь, к его удивлению, не так, как раньше – нараспашку, приоткрылась на длину цепочки, уронив под ноги узенькую полосу света и показав лицо старухи, маленькое, в тесно облегающем голову платке.

– Здравствуйте, Антонина Александровна, – весело сказал он.

Старуха подслеповато сощурилась, не стесняясь, как все старые люди, окинула с ног до головы взглядом и то ли спросила, то ли подтвердила:

– Возвернулся, значит?

– Вернулся, – шумно выдохнул он. – Галина где, не скажете?

– Галина-то? – она поджала дряблые губы. – А тебе она по какой надобности?

– Как это по какой? – он недоуменно посмотрел на нее. – Да вы что, не узнали меня, что ли? Николай я. Муж Галины.

– Кому? Галина-то другим обзавелась. Му-уж, – она выпятила губы. – Когда туда садился, поди, о жене и не думал. А тут нате-ка, вспомнил... Не жена она тебе больше. Знакомая.

– Да вы что? – пробормотал он, неуверенно рассмеявшись.

– А то. Иди, милый. Новый-то ее встречать пошел. Как бы между вами греха не вышло...

– А тебе-то какая тревога? – резко сказал он.

Но старуха захлопнула дверь. Он оглянулся. Из дверных глазков цедил нездоровый желтый свет. «Что ж старик-то не вышел?» – подумал он, но так, мимоходом.

Достал папиросу, ломая спички, закурил. За одной из дверей раздался веселый смех и разухабистая музыка, верно, самая модная, потому что слышалось: «Это что надо! Где достал?»

Он сжал зубы и сел на ступеньку. Швырнул папиросу и, глядя, как меркнет в темноте оранжевая крапинка, процедил:

– Ладно. Выясним.

В последнем письме, что он получил полтора месяца назад, ни полслова не было о ее настоящей жизни. Правда, оно было сухим, но он не придавал этому большого значения, как и словам товарища, работавшего вместе с ним и с легкой руки которого получил кличку Верующий за то, что верил ей – жене. «Вот и все, что от моей

любви осталось, – горько сказал товарищ, разглядывая кисть руки, на которой было выколото женское имя. – Буковки. А тоже письма писала... Люблю, жду и все такое...»

Он снова закурил.

Этажом выше раздался хлопок двери, ругань, снова звучный хлопок, и все стихло.

Он встал, прислонился плечом к знакомой двери. В какое-то мгновение захотелось вышибить ее и войти в тепло, принадлежащее ему, но он, пересилив себя, только саданул по ней кулаком. Но что был для двери, берегущей тепло, его удар?

Подойдя к одному из глазков, посмотрел на часы. Они равнодушно показывали время сна. «Скоро придут, – подумал он, произвольно сжав кулаки. – Там разберемся».

«С чем? – мелькнула мысль. – С чем разбираться? С правом на женщину, на любовь? Но я же не собака, чтобы за это драться. Ведь если у нее ушла любовь ко мне, то... То все остальное просто ни к чему».

Хлопнула, жадно сберегая тепло подъезда, дверь. Послышался знакомый голос:

– Ты не замерз?

– Нет, – прозвучал в ответ неторопливый, мужской. – Не успел.

– А я замерзла... Я такая мерзлячка, что просто ужас.

– Черт! Опять кто-то свет выключил.

Щелкнул выключатель. На лестничной площадке стало светло.

Он, сам не зная почему, взбежал на один марш. Взбежал на цыпочках, замирая.

– Ключ у тебя?

– Нет.

– Вот он!

Они стояли рядом, касаясь друг друга локтями. На ней было дорожное пальто с меховым воротником, сапожки, которые он всегда обещал купить, но не купил.

Он видел, как тот, новый ее муж, достал ключ, открыл дверь, пропустил ее вперед, и дверь хлопнула, оставив на лестничной площадке запах духов, тех, что он купил и нечаянно разбил когда-то.

Глазок в их двери загорелся бледно-красным светом, словно не спал всю ночь.

– Вот и все, – пробормотал он, криво усмехаясь. – Как говорится, «привет тете»...

Ступеньки охотно показывали дорогу к выходу. На улице было холодно. Воздух такой, что, кажется, крикни, и он рассыплется на мириады мелко позванивающих льдинок.

Он глубоко вздохнул, отошел на несколько шагов от крыльца. Дом спал. Спал, как ребенок, – тихо и глубоко. И лишь одно окно, нестерпимо яркое и четкое, только готовилось ко сну. Занавески не были задернуты, и он хорошо видел, как они, сидя друг против друга, пьют чай. Смотрел и вдруг понял, что как, оказывается, хорошо видно то, что делается на свету, и как трудно увидеть со света то, что делается в темноте.

Он сунул руки в карманы куртки и медленно пошел прочь, чувствуя, что потерял что-то и что-то приобрел, и что вновь приобретенное куда дороже и нужней потерянного.

1982 год

МЕЧТА

– А дядя Гриша из восемнадцатой квартиры щенка купил! – радостно сообщил идущему с работы Лаврентию Бенедиктовичу один из возившихся у велосипеда мальчишек. – Немецкой овчарки! Вот такого...

Лаврентий Бенедиктович посмотрел, какого размера щенка купил сосед, вздохнул и вошел в подъезд.

О щенке он мечтал давно. Мечтал обычно вечером, когда становилось тихо и во дворе, и дома, а жена, сладко посапывая, пускала слюну на подушку.

Заложив руки за голову, тихо улыбаясь, представлял тот день, когда принесет, пускай даже беспородного, маленького, толстенького щенка, у которого будут мокрый нос и глупые доверчивые глаза.

Представлял, как щенок, сначала пугливо, а затем все смелей будет бегать по двору, как будет спешить, падая, на еще неокрепших лапах на его зов, а подбежав, помахивая хвостом, будет смотреть на него...

Лаврентию Бенедиктовичу нравилось, как смотрят собаки. Было в их взгляде что-то такое непонятно-волнующее, доверчивое. Ему всегда казалось, что они хотят что-то сказать, но не могут.

Представлял, как будет идти по городу, держа на поводке сильного, красивого пса, как все будут оглядываться... Но самое главное – он будет спешить домой, зная, что его ждет друг, что квартира не будет казаться такой холодной и гулкой...

Как-то он намекнул об этом жене. Намекнул и пожалел, потому что разговора хватило на месяц: «Собаку?! Да ты что, сдурел под старость лет?! Да лучше свинью держать. От свиньи хоть польза есть...»

Поднявшись на свой этаж, Лаврентий Бенедиктович снял шляпу, приложил ухо к соседской двери и услышал злой голос:

– А ну, на место! Кому говорю! Ах ты...

Затем жалобный визг, обиженное поскуливание.

Лаврентий Бенедиктович вздрогнул, поднял руку, чтобы постучать и сказать, что это подло, что это... Но лишь глубоко вздохнул, зная, что услышит в ответ.

Жена была дома. Она лежала на диване, повязав полотенцем усыпанную бигудями голову.

– А, это ты, – она привстала и с тихим протяжным стоном опустилась обратно.

В квартире пахло духами. Холодным, проникающим до самого сердца светом сверкала хрустальная люстра. Жирно лоснилась полированная мебель.

– Как у тебя дела на работе? – она томно приложила ко лбу ладонь. – Почему ты никогда не рассказываешь мне ни о чем? Почему ты не спросишь, что со мной?

– Что с тобой? – покорно спросил Лаврентий Бенедиктович, сядя на краешек дивана.

– Ах, ты же знаешь...

И он покорно, как, впрочем, и каждый день, выслушивал знакомые жалобы на многочисленные недомогания, с тоской смотрел на входную дверь, за которой плакал щенок.

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗВОДА

Сегодня я развелся с женой...

Все началось с того, что жене на день рождения подарили хрустальный фужер. Знаете, такой длинноногий.

На следующий день после работы она как бы ненароком заметила, что стоять хрустально в обыкновенном посудном шкафу как-то... Одним словом, мы купили сервант: темной полировки, с зеркалами, со стеклянными дверцами с золотистой окантовкой.

Через неделю жена сказала, что фужеру определенно одиноко в серванте, и сначала купила чайный сервиз на 12 персон, а затем столовый на то же количество едоков. Но перестала покупать мне сигареты за 60 копеек, переводя на «Беломор».

А через месяц уже решительно заявила, что стена, у которой стоит сервант, слишком гола, и купила книжный шкаф точно такого же вида. Те несколько десятков книг, что были у нас, не смогли заполнить полки, и она принялась покупать книги – только толстые и обязательно с золотым тиснением.

Я уже курил «Север», и на обед вместо рубля жена стала давать мне по 80 копеек.

Затем у противоположной стены появился дорогой диван, темный полированный журнальный стол, а между сервантом и книжным шкафом занял место цветной телевизор.

Курить я уже «стрелял» на работе, а на обед получал по 50 копеек.

Входя в свою квартиру, я отчего-то начинал чувствовать себя маленьким и каким-то пришибленным. Мимо вещей шел, втянув голову в плечи, прижав руки к бедрам, держа равнение то налево, то направо. А жена окрепшим голосом, как у поднаторевшего на службе старшины, покрикивала:

– Как идешь! Увалень! Это же вещи!..

Узнав, что она подписалась на «Всемирную литературу» и что подумывает купить полированный трехстворчатый шкаф, я подал на развод...

Судьей оказалась женщина. Не помню уже как, но она сумела отговорить меня...

Мы вышли из здания суда и зашагали домой.

– А знаешь, милый, – взяв меня под руку, проворковала жена, – давай купим «стенку»! Знаешь, такую...

Я вырвал руку, судорожно икнул и повернул назад, к зданию суда...

1986 год

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Года два назад я временно работал диспетчером. Выходил всегда во вторую смену. Работа была легкой: заполнить согласно заявке путевки на следующий день, что занимало не больше часа, а все остальное время отвечать на телефонные звонки с линии: кому сварку, кому заправку... Для моего разболевшегося под старость тела работа была в самый раз...

В тот вечер все было, как обычно. Я заполнил путевки и, поругав себя за то, что забыл взять дома книгу, смотрел в окно, за которым шел дождь и были видны огни города...

Телефон зазвонил ближе к полуночи. Я поднял трубку.

– Да?

– Это ты, Сережа? – раздался в трубке робкий девичий голос.

– Вы ошиблись, девушка. Производство это, – ответил я и положил трубку.

Спустя пару минут снова звонок – и тот же тихий голос:

– Это квартира?

– Нет. Вы, девушка, номер неправильно набираете...

– Я правильно набираю...

– Ну, тогда не знаю. Может, телефон неисправен... Вы откуда звоните?

– Из квартиры.

– Попробуйте позвонить по другому, – посоветовал я.

– Хорошо. Извините.

Только я было собрался домой, снова звонок – и тот же голос:

– Это квартира?

– Нет.

– Но я уже звоню из телефона-автомата, – жалобно звучало в трубке.

– Значит, вам дали неправильный номер.

– Он не мог дать неправильный номер! – голос в трубке прозвучал торопливо и испуганно.

– Но почему же? Это часто бывает! – удивился я. – Мог перепутать, забыть...

– Он смотрел в записную книжку...

– Тогда вы перепутали...

– Но у меня записан. Вот..

Я промолчал. Представил, как она стоит в телефонной будке.

– Что же мне делать, посоветуйте, пожалуйста!

– Не знаю, сходите к нему...

– Нет, что вы!

– Ну, тогда посмотрите по справочнику...

– Я смотрела, – потерянно прозвучало в трубке.

– Ну и...

Молчание.

– А кем он вам приходится? – осторожно спросил я.

– Знакомый...

– Ну, ясно, – обронил я.

– Ничего вам не ясно. Как вы так можете? Понимаете... Мы с ним встречались... И я... – В трубке всхлипнули. – Почему он так сделал? Почему? Извините...

Раздался щелчок – и длинные гудки.

Я думал, что она позвонит еще раз. Ждал день, другой, но она так больше и не позвонила.

ЗАБЫЛИ...

Позвонили вечером. Я открыл дверь и увидел старика в зимнем пальто, шапке-ушанке. Лицо у него было красным от холода.

– Здравствуйте. С наступающим Новым годом вас! – негромко сказал он, с трудом шевеля губами.

– Здравствуйте. И вас также, – отозвался я.

– Вы уж извините за беспокойство, – он переступил с ноги на ногу и посмотрел на меня. – К вам случайно не приходила поздравительная открытка на мою фамилию? Востряков моя фамилия, – торопливо добавил он, видя, что я молчу. – Востряков Александр Данилович...

– Ваша? Ко мне? – удивился я.

– Понимаете, – перебил он, – нумерация домов сменилась, и я подумал, что... – он с надеждой смотрел на меня.

– К сожалению, – я развел руками. – Нет...

– Извините, – пробормотал он.

– А вы в каком доме живете? – спросил я, когда он собрался уходить. – Вдруг придет? Я принесу...

– В 16-м, – быстро ответил он, остановившись. – Это у промтоварного магазина.

– Знаю, – я кивнул. Промтоварный магазин находился в самом конце улицы. И полюбопытствовал: – А от кого поздравление ждете?

– Да, знаете, – сказал он, глядя в сторону. – Пенсионер я. В прошлом году на пенсию вышел... Двадцать лет на одном предприятии проработал. Думал, поздравят... Все-таки приятно, когда помнят... Да, видно, забыли уже... Забыли, – он тяжело вздохнул.

...Ни писем, ни телеграммы, ни даже открытки на его фамилию мне так и не приносили...

СТАРЫЙ ПРИЕМНИК

В. П. Судакову

Ночью в пустой квартире заговорил старый приемник. Это было удивительно, тем более удивительно, что хозяева, уезжая на целое лето, отключили его от сети.

Но – щелкнул выключатель, пыльным желтым светом загорелась шкала, зеленый глазок строго осмотрел комнату. Старый приемник откашлялся и заговорил:

– Уважаемые стены! Ваше высочество потолок! Господин шкаф, госпожа оттоманка! Позвольте мне довести до вашего сведения следующее. Да будет вам известно, что я очень стар. Я старше всех вас. Я родился ровно четверть века назад. И сегодня, в день моего рождения, я приготовил для вас небольшой сюрприз. Ровно двадцать пять лет я говорил для людей. Я передавал им голоса великих мира сего, я тешил их слух произведениями бессмертного искусства, я смеялся, плакал, пел, негодовал, любил, кипел вдохновением, я проникался грустью, я умирал, наконец. К прискорбию, мне пришлось передавать и заурядные, а порою и пошлые вещи. И это случалось чаще, чем вы думаете...

Старый приемник вздохнул глубоко и мрачно:

– Да, бывали дни, когда я молил, чтобы во мне перегорел трансформатор – мое сердце. Но, увы, мы не вольны в своих поступках, мы – вещи-рабы. Впрочем, кому нужны самооправдания? Ведь вы понимаете меня... Итак, я работал – иногда с душой, иногда скрепя сердце, порой по двенадцать часов в сутки. И все эти годы я по крохам копил энергию. Она застревала в моих конденсаторах, я ловил ее сопротивлениями, первичными и вторичными обмотками. Зачем я это делал? Очень просто – мне хотелось хоть раз в жизни заговорить своим голосом. И вот этот день, вернее ночь, пришла.

Голос старого приемника стал торжественным:

– Сегодня я угощу вас небывалым концертом. Все лучшие произведения гениев, когда-либо звучавшие на длинных, средних и

коротких волнах, будут мною повторены. Итак, сейчас я начинаю. Но прежде я установлю необходимую громкость. Надо сказать, мой хозяин никогда не мог сделать это правильно.

И старый приемник начал свой необыкновенный концерт. О да, это было нечто изумительное! Комнату наполняли попеременно ликующие, тоскующие, звенящие мужские и женские голоса – они сливались и вновь расходились, говоря о Великой правде жизни – о любви, о ненависти, о смерти, о высокой и вечной радости познания. А потом неземными голосами пели скрипки, прибором набегали фортепианные пассажи, нежно звали виолончели, арфы, и глухо бил барабан, считая шаги судьбы. Гремела военная музыка – летела конница, будоражил кровь перестук кастаньет, в тумане пел английский рожок, и незатейливую свою мелодию выводил гобой... И падали росы, и вставали травы, и свежий ветер странствий веял в лица отважных, а на родине оставались любимые, и они ждали – и была борьба, и было много злого, но все-таки приходила светлая радость, выстраданное счастье. И барабан говорил: такова жизнь.

А утром голос старого приемника ослаб, и концерт закончился. Все слабее и слабее горели лампы – жизнь неотвратимо покидала старый приемник. И вот он замолк. Навсегда.

Молчали стены, молчал его высочество потолок, молчали безгласные вещи. Они ничего не понимали в искусстве, и поступок старого приемника казался им довольно-таки эксцентричным.

Кому это нужно – говорить, когда тебя никто не спрашивал!

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Разговор произошел вечером, после собрания, когда начальник участка попросил его задержаться.

– Да ты подсаживайся ближе к столу, – предложил он, когда они остались одни в красном уголке. – Разговор предстоит долгий, интересный и... – он усмехнулся, – надеюсь, для тебя полезный.

Он говорил громко, по крайней мере, намного громче, чем в кабинете директора, в который они были приглашены несколько дней назад на планерку, где шел разговор о производственной дисциплине.

– Я не глухой, – с вызовом сказал Семен, глядя в сторону.

– Ну, хорошо, – начальник побарабанил пальцами по столу, взглянул на него, неожиданно спросил: – Обидно?

– Не понял, – Семен исподлобья посмотрел на него.

– Все ты прекрасно понял, – усмехнулся тот. – Не поддерживали тебя, хотя, как я знаю, просили тебя как профгруппорга об этом собрании. Разве не так?

Семен не ответил, потому что это было правдой.

– А хочешь, я тебе скажу, почему они все молчали? – он показал рукой в сторону закрытой двери.

– Это интересно.

– Ну, интересного-то, предположим, мало, – начальник усмехнулся. – Но что есть, то есть. А ответ один – никто из них не хотел со мною ссориться.

Семен хмыкнул.

– Не веришь. Что ж, попробую объяснить, – начальник потер подбородок. – Во-первых, каждый из них чувствует за собой вину и неуверенность в том, что не сможет в чем-нибудь оступиться. Прийти на работу с похмелья, опоздать или вообще не выйти. Некоторые из них и сейчас с похмелья. Разве не так?

Семен не ответил.

– По закону я их должен был отстранить от работы. Должен, но я этого не делаю. Почему? Да потому, что если он, вроде тебя, начнет выступать на собрании, я при любой очередной ошибке просто-напросто его уволю по статье. И еще. Некоторые из них совсем не пьют, но работают спустя рукава, а те, кто пришли с похмелья, – работают, как звери...

– А если я об этом сообщу директору или еще кому? – Семен склонил голову к плечу. – Тогда как?

– А никак, – начальник пожал плечами. – Я получу сто рублей штрафа, ну, выговор в придачу, а что будешь делать ты? Тебе же с ними работать. По закону ты поступишь совершенно правильно, но вот в чем вопрос – поймут ли эту твою правильность мужики? Предположим, что они тебе ничего не скажут, но уж и не забудут – это точно. Говорить, доказывать им, что ты поступил правильно, дело бесполезное. Здесь... – начальник постучал пальцами по груди, –

у каждого свое понятие справедливости, честности и так далее. Да! Вот еще почему они не будут со мной ссориться. Каждый из них, насколько ты знаешь, получает разную зарплату. Один – сто сорок, другой – сто восемьдесят, третий – за двести. И не будет тот, кто получает двести, портить отношения со мной из-за того, кто получает сто сорок. Так-то!

Теперь о технике безопасности, которую я нарушаю. Перво-наперво учти, что у меня тоже начальство имеется, и оно с меня требует столько же, сколько и я с вас, если даже не больше. Предположим, директор приказал мне, чтобы до обеда была ликвидирована та или иная неисправность. По технике безопасности, прежде чем приступить к работе, я должен добиться, чтобы построили леса. И я бы рад это сделать, но плотники в это время заняты другой, тоже не менее ответственной работой, и мне их, естественно, не дают. Я иду к директору и говорю ему об этом, а директор мне – ищите и делайте, в противном случае простой пойдет за ваш счет. Что мне остается делать?

– Выходит, – Семен усмехнулся, – за все просчеты, ошибки, плохую организацию труда расплачивается рабочий?

– Все верно. Это давно всем известно, – начальник махнул рукой, улыбнулся: – Занимательные штуки я тебе рассказываю, верно?! – Побарабанил пальцами по столу, вздохнул. – Вся беда в том, что каждый от каждого требует, даже мысленно не прикинув, а возможно ли это сделать в данные сроки.

– Вы ошибаетесь, вы допускаете просчеты, а рабочие все ваши неувязки исправляют, но когда дают премии, то рабочему десятку, а вам по два, а то и три оклада...

– Верно. Но учти, что премии по заводу распределяет директор, а директору – главк, трест или еще кто... Так что... – начальник развел руками.

– Есть выход из всего этого, – хмуро сказал Семен.

– Да? И какой же? – начальник с интересом посмотрел на него.

– Простой. Чтобы заработок администрации зависел от заработка рабочих.

– А что, это мысль, – начальник улыбнулся. – Теперь. Ты верно сказал, что неумение руководить, правильно организовать работу мы прячем за «производственной необходимостью», налагаем

на рабочую совесть. Все верно. Но в таком случае предложи что-нибудь другое! Требовать все могут, и это легче, чем организовывать работу. Согласен? Но вот вы недавно ругали меня за то, что нет полдюймовых вентиляй, нет карболки, сурика, нет газовых ключей. Вы правы, но и моей вины нет. Заявка на все это давно подана, но ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого нет ни на нашем складе, ни на складах объединения. Что мне делать прикажешь? У тебя есть ко мне вопросы?

– Нет. Все ясно.

– А у меня есть. Один. Ты по какому разряду принят?

– По четвертому.

– Завтра я соберу квалификационную комиссию – я имею на это право, и мы устроим тебе экзамены. Ты прекрасно знаешь, что тебе их не сдать. Завалить на экзамене при желании можно кого угодно. И ты у нас получишь третий разряд, а это на двадцать рублей меньше в зарплате. У тебя семья. Так вот. Или ты будешь работать, как все, и я не буду собирать комиссию, или... И тут уж тебе никто не поможет. Никто. Так что давай жить дружно, тихо. Договорились? А завтра утром ты мне скажешь, будешь сдавать экзамены или нет.

Этот разговор произошел вчера вечером, а сейчас утро и надо идти на работу...

НОВЫЙ ДЕНЬ

– Ты почему так рано проснулась?

– Не знаю...

А мама знала. Мама обычно все знают о своих дочерях. Почти все. И мамы их любят. Любят, как повторение самих себя.

– Ну что ты смотришь в окно?

– Так.

– Чего смотреть, если на дворе просто раннее утро?

Молчание.

– Какая ты у меня взрослая стала. Просто даже...

– Мама!

– Да?

– Меня никто не любит.

– Так не бывает, дочка.

– Бывает... Я знаю. Каждую мою подругу в классе кто-нибудь из ребят поздравил, а меня – нет...

– Поздравят и тебя. Вот увидишь... Просто парень, которому ты нравишься, немножко не похож на всех остальных.

Молчание.

Мама верила, что так и будет. Потому что, в общем, все повторяется. Не любить – невозможно. Только женщине надо ждать любовь чуть-чуть дольше, чем мужчине.

– Мама! Уже утро кончается...

– Зато начинается новый день.

– Ты смеешься?

– Нет. Просто я живу... Слышишь, звонят! Да не спеши ты, сумасшедшая!

– Мама! Я открыла дверь, а там никого, а у порога... Вот – тюльпаны! Они такие, такие... Это, наверное, от папы. Да?!

– Если б от папы, дочка...

1989 год

КАКОЙ ОН, НОВЫЙ ГОД?

До встречи Нового года оставалось совсем мало времени, а настроение у Василия Бурнакова было, мягко говоря, отвратительное. Вот уже несколько лет подряд, и именно в это время, они с женой начинали ругаться. Начинала ругань, как обычно, жена. Целый день молчала, но вдруг вспоминала, что ОН, Василий (а она сама?), забыл поздравить с наступающим праздником какую-то дальнюю родственницу, хотя он и понятия не имел, что она существует. И то, что платье на ней плохо сидит, виноват – ОН. А кто же еще! Не будет же она предъявлять претензии к сынишке. У него для этого со временем своя жена будет.

Жена говорит, а мужу что – молчать? Нет уж... Пускай молчат те, кто под женскую дудку пляшет. И Бурнаков, естественно, не мол-

чал. Вот взять, к примеру, предыдущую встречу Нового года. Завелась жена из-за пустяка. Ей, видите ли, не понравилось, как он одет. Ей, понимаете, захотелось увидеть его при всем параде – будто он не дома сидит, а на дипломатический прием собирается. Забыла, говорит, когда тебя видела красивым. «А я – тебя», – молниеносно отреагировал он.

Ну а дальше... Дальше пошло по проверенному сценарию предыдущих лет.

Все бы ничего – дело житейское, привычное, если б он не убедился в том, что примета – «как встретишь Новый год, так его и проживешь» – сбывалась... А это уже было совсем ни к чему. Какая бы ни была жена, а вместе живем. Искать же другую поздновато, да и не хочется.

И Бурнаков сидел на диване, прислушивался к шуму на кухне, где жена что-то готовила, разглядывал новогоднюю открытку: на ней дружно вышагивали Старый год и Новый... К Старому у Бурнакова никаких претензий не было. Какой ни есть – а прожит, слава Богу, вполне прилично, а вот на Новый год он смотрел с желчью.

«Ишь, вышагивает, – зло думал он, всматриваясь в открытку. – А гонору-то... Хоть бы рожицу-то делал попроще... Ни черта еще в жизни не видел, а возомнил о себе, как наш новый начальник. А одет-то! В сапожках... А тут валенок сынишке достать нельзя... В шапочке... Ишь ты! Выпороть бы тебя, как меня отец в детстве порол, живо бы по-другому выглядел...»

Бурнаков вспомнил о сынишке и задумался. Целый день с одним вопросом пристает: «Какой Новый год, да какой Новый год?» А черт его знает, какой. «По крайней мере, не подарок» – хотел ответить, да маленький сын еще не поймет. Хотел отослать к матери – пускай она ответит, но передумал... Решил: «Вырастет – сам узнает...»

Шум в кухне прекратился, и Бурнаков внутренне сжался. «Сейчас начнется, – подумал он, не отводя глаз от двери. – И прямо с порога, наверное. Она по-другому не может. «Ты Марию Павловну поздравил?» – мысленно передразнил он жену. – «Забыл...» – «Я так и знала. Тебе же ничего нельзя поручить...»

К его удивлению, жена появилась на пороге с улыбкой на лице. Он даже потряс головой. То, что она не ругалась, – ерунда. Как она

выглядела – вот что больше ошеломило его. «Черт побери! – лихорадочно подумал он. – Да с ней можно хоть в театр идти... И мужиков, что частенько ко мне заходят, надо отгнать... Мало ли... У них жены тоже ничего выглядят, но моя...»

– Сейчас, – пробормотал он и пошел переодеваться в спальню, где спал сынишка. Впервые за много лет Василий надел выходной костюм. В комнату вернулся, глядя под ноги, тихонько посвистывая, всем своим видом показывая, что дело это для него привычное...

Когда часы пробили двенадцать, жена подняла фужер с шампанским, сказала:

– Будем счастливы!

– Будем! – сказал он, и они поцеловались. Это получилось как-то само по себе и поэтому честно.

– А я теперь знаю, какой Новый год, – раздался голос.

Они оглянулись и увидели сынишку. Он стоял в дверях спальни в трусиках, майке и смотрел на них совсем не сонными глазами.

– Новый год – это когда папа с мамой не ругаются, а целуются...

– Грамотный больно для своего возраста, – проворчал Бурнаков. – А ну спать!

– Пускай посидит, – сказала жена.

– Тебе видней, – согласился он. – Но чтоб только недолго... А то разбалует... Знаю я его... Весь в мать... Вам бы только.. – и замолчал, почувствовав, как жена ерошит ему тщательно причесанные волосы.

1990 год

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВАГОН

Несколько лет назад я ехал в местном поезде по служебным делам. Стояла глубокая осень. В вагоне было прохладно, тихо. Вполнакала светили лампочки.

Напротив меня у окна сидела женщина. Подперев ладонью щеку, она смотрела в окно, к которому льнули темнота и дождь. Немного погодя, тяжело вздохнув и не обращая на меня внимания, она

достала из кармана плаща потрепанный кошелек, из него деньги и стала их тщательно пересчитывать, морща лоб, шевеля губами. Купюры были мелкие. Каждую, положенную на столик, она бережно разглаживала ладонью.

Однообразно постукивали колеса, клонило в сон. Я поднял воротник куртки, устроился поудобнее и не заметил, как задремал.

Меня разбудил мягкий женский голос:

– Вы разрешите?

Я приоткрыл глаза и увидел напротив невысокую женщину в темно-зеленом пальто, красивой косынке, резиновых сапожках.

– Пожалуйста, – с явной неохотой отозвалась моя соседка, пододвигая к себе хозяйственную сумку.

– Спасибо, – женщина присела на край скамьи, взглянула на меня, перевела взгляд на соседку и просто, словно была с ней знакома, проговорила:

– Подругу ходила искать. Обещала мужу, что недолго, а сама... Ноги разболелись. Не поверите, но я уже второй раз отдыхаю. Пока до четырнадцатого вагона дойду... – не договорила, махнула рукой.

– Ну и как, нашли подругу? – равнодушно поинтересовалась соседка, поглядывая в окно.

– К сожалению, нет, – она потеряла ноги. – Наверно, раздумала ехать. Зря только ходила, мужа волноваться заставила...

Соседка усмехнулась:

– Волнуется он, как же! Это мы, дуры, как что – места себе не находим, а мужику... – она махнула рукой.

– Ну что вы! Он у меня не такой!

– Какой это не такой? – соседка насмешливо посмотрела на нее. – Он у тебя что, из другого теста сделан, что ли?

– Ну зачем вы так? Не знаете, а говорите.

– А мне его и знать не обязательно, – пренебрежительно дернула плечами. – Слава Богу, не первый год на земле живу. Ихнего брата видела-перевидела... Волнуется... Держи карман шире! В карты он сейчас дуется или козла забивает... Не веришь?

Женщина не ответила. Смотрела вдоль прохода.

– Давно замужем-то? – помолчав, спросила у нее соседка.

- Да как вам сказать...
- А я со своим охламоном, – перебила соседка, – уже двадцать лет оттрубила... Дети есть?
- Девочка.
- А у меня пятеро, да еще муж в придачу... Чтоб ему пусто было...
- Почему вы о нем так?
- А как же еще! Если у него каждый день глаза залиты... У тебя что, не пьет?
- Нет, – женщина отрицательно качнула головой.
- Совсем?! – соседка удивленно и недоверчиво посмотрела на нее.
- В праздники... Немножко.
- И зарабатывает хорошо?
- Хорошо.
- Везет же некоторым бабам, – завистливо протянула соседка, – а тут... – И, помолчав, спросила: – В город-то зачем едете?
- В гости.
- А я за обновками для своих мальчишек. В нашем поселковом магазине только трусы да лифчики.
- Извините, – попутчица поднялась. – Пойду я... До свидания...
- Всего доброго, – ответила соседка и, когда та ушла, достала из сумки зеркальце и помаду, а я закрыл глаза...

Город встретил меня мелким дождем и ветром. Выйдя на перрон, я видел, как соседка заспешила к выходу, держа в руке сумку.

Поезд тронулся. Натягивая на голову капюшон, я безо всякой мысли посмотрел на проплывающие мимо меня вагоны: одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Четырнадцатого вагона не было. Я не поверил и посмотрел еще раз – не было!

ИЗ РАССКАЗОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

ТАК НЕ БЫВАЕТ...

Встретились однажды три охотника. Сидят. Молчат. Маленькая на троих – призадумалась тут...

– Вот что, – говорит один охотник, – кто сумеет соврать так, чтоб другие сказали «не верим», тому и маленькая.

На том и порешили.

– Иду, значит, я вечером около озера, – начал первый, – и вдруг из-под самых ног утки вылетели. Что делать? Вскинул ружье, прицелился. Трах! И десять штук как не бывало...

Подумали охотники, затылки почесали. Бывает, говорят.

– Шел я раз лесом. Вижу: два зайца по полю скачут в разные стороны. Что делать? Развел стволы, прицелился – трах! Есть, готовы, – рассказал второй.

Подумали охотники, головами повертели. Бывает, говорят, чего на свете не бывает.

Третий охотник начинает:

– Пошли мы раз с братом на охоту. Бродим по лесу. Никого не встретили. Выпить хочется, а бутылка в рюкзаке лежит. Походили-походили, да так и не выпили.

– Не верим! – закричали охотники.

– Ну, раз не верите...

КЛЮЧИК

Я шел по парку. Стоял морозный, солнечный день. Снег искрился, от литых стволов деревьев тянулись тени. Навстречу мне спешили люди. У них были веселые глаза и румяные щеки.

Шел бездумно. Свернув в очередную аллею, я увидел пожилого человека. Он двигался навстречу мне с низко опущенной головой. Пройдя шагов двадцать, он разворачивался и с той же сосредоточенностью, глядя под ноги, шел обратно.

Я прибавил шаг. Поравнялся, спросил:

– Потеряли что?

– Ну да! – расстроенным голосом ответил он, продолжая шагать. Пройдя немного, резко остановился и, чуть приподняв голову, шуря глаза и продолжая внимательно вглядываться в белизну снега, объяснил:

– Ключ от квартиры: маленький такой, от французского замка, с цепочкой. А жена когда еще приедет...

Он медленно снял с головы меховую шапку и растерянно улыбнулся, впервые взглянув на меня.

– Простудитесь, – проговорил я.

– А! – он махнул рукой и, переступив с ноги на ногу, продолжал растерянно и удивленно:

– Понимаете, вышел прогуляться. Минут десять гулял, не больше, домой собрался, а ключа нет. – И раздраженно: – Странно жизнь устроена! Из-за какого-то маленького кусочка мирного металла на-строение испорчено. А у меня инфаркт. В свою собственную квартиру, так сказать, не войдешь, если только дверь не взломаешь. Да!

Мы начали искать ключ вместе. Раз двадцать почти проползли по аллее, прежде чем отыскиали его за ножкой скамейки, и столько же раз проклинали этот злосчастный ключик.

Ругали, понимая, что, к сожалению, никуда нам от него не деться, и что этот мирный, как он сказал, кусочек металла ведет, сам того не ведая, невидимую войну с честностью и доверием. И пока верх – его.

КАК КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ В БАНЮ ХОДИЛ

Надумал раз Кощей Бессмертный в баньку сходить. Кости попарить, грехи смыть. Хотел он было по старой привычке отправиться к Бабе Яге, она всегда баньку по выходным топила, да передумал. Бабкина баня по-черному топится, в ней веничком-то по-настоящему не размахнуться, в предбаннике холодище... Вот и решил он в людскую баню сходить, помыться, так сказать, по-человечески.

Пока он шел, пока баню искал – время за полдень перевалило. Купил Кощей билет, в предбаннике языком пощелкал: «Чистота!» Разделся, и только было в мыльную, как в дверях – парень. Глянул на него Кощей и обомлел: ну, чистый Иван-царевич. Оглядел его, значит, Иван-царевич, поморщился, как от зубной боли, и вежливо так говорит:

– Папаша! Одумайся! Куда ты со своим здоровьем лезешь? Тебе что, жизнь надоела?

Кощей обиделся:

– У меня здоровья на таких, как ты, на сто, а то и на миллион хватит.

Вздыхнул Иван-царевич, затылок почесал, протянул:

– Ладно уж! Что с вами, стариками, сделаешь...

В мыльной – тишина. Выбрал Кощей себе тазик и решил воды налить. За один кран взялся – не работает. За другой – вроде работает, да не открыть. А Иван-царевич стоит, зубы скалит:

– Хлюпик ты, папаша, для этой работы. Дай помогу!

Уперся Иван-царевич руками и ногами, покраснел телом, но открыл. Шарахнула из одного крана холодная вода. Правда, из другого чуть потеплей.

Сиганул Кощей в сторону, костями затряс.

– Дуй-ка ты, папаша, в парилку, – посоветовал царевич. – Погрейся малость!

Взял Кощей веник и трусцой – в парилку. В парилке тепленько так, а на ступеньках, как на трибуне, мужики сидят: на самом верху – кто постарше, внизу – помоложе.

– Забирайся, дед, к нам на верхнюю, – приглашают, – тут хоть и не Ташкент, а жить можно. Да заодно и парку подбрось.

Кинул Кощей в каменку ковшик водицы, а из нее – еле слышный вздох.

– Еще ковшик, и помрет, – вздохнул кто-то. – Ей-богу, помрет. А жила-то четыре часа!

Посмотрел Кощей на мужиков, на веники, что они на коленях держали, на каменку, на чистый кафель и – к выходу...

Говорят, что не дошел Кощей до дому, Баба Яга его подобрала, полгода выхаживала. Чем только мог, поклялся он не ходить в баню городскую.

ПРОДАВЕЦ

Когда я покупаю папиросы, мне вспоминается Светлана, девушка-продавец, которая работала в нашем магазине в ту далекую осень.

Я стал старше, и многое изменилось в моей жизни, но магазин, как и прежде, открывают в восемь утра, а закрывают вечером, и только продавщица, что стоит за прилавком табачного отдела, совсем другая. Я беру пачку папирос и смотрю на нее. Она вопросительно спрашивает:

– Вам еще что-нибудь нужно?

– Нет, – отвечаю я и выхожу из магазина.

Закуриваю и вновь вспоминаю...

Она пришла в наш магазин поздней осенью. Когда по вечерам по-стариковски бубнили дожди, а днем горели свечами березы. Она была очень красивой, и мне казалось, что только я один вижу это.

Я приходил в магазин каждый день, чтоб только увидеть ее. По вечерам незаметно провожал до дому, а вернувшись, ругал себя за то, что не мог подойти, и утешал себя мыслью, что впереди еще много времени. И как-то я все же набрался смелости. Она стояла за прилавком. Я подошел, протянул деньги, попросил пачку папирос и, краснея, пригласил в кино.

– Меня уже пригласили, – сказала она и улыбнулась.

Я вышел из магазина и впервые в жизни закурил и, кажется, никогда не смогу бросить.

МОНОЛОГ

Если позволите, я сперва укажу причины, заставившие меня бросить пить, а уж потом – что из этого на практике вышло. Прошу вас отнестись к моему объяснению серьезно и взглянуть трезвыми глазами.

Поверьте, товарищи, лишь простая человеческая обида заставила меня бросить пить. Посудите сами...

Иду я, к примеру, по улице. Выпивши, но не так чтоб уж очень. На душе, как говорится, птички чирикают. Настроение – на все

сто с прицепом. Весь мир обнять хочется. Взглянул на мир внимательней – и все мое хорошее настроение как рукой сняло. Люди-то вокруг меня пасмурные какие-то. Обидно. Выходит, я как будто лишний. Подхожу к женщине, начинаю объяснять, что жизнь хороша и что жить на этом свете весьма приятно. А она в крик – милицию зовет. Ну разве не обидно? Ты по-человечески, а тебя за эту самую человечность – в милицию. Да что там женщина! На работе друзья-товарищи ругать начали. Правда, премий пока не лишают, дни, часы в табеле ставят. Но разве в этом дело? Смотрят-то как...

Ну, подумаешь, выпил. А попробуй не выпей, если голова в понедельник на сотни кусков разваливается...

А о жене и говорить не хочется. Дело ясное. Что другие недосказали или даже только подумали – она высказывает.

Подумал я, значит, подумал и решил бросить. Хватит людям настроение портить. Сказано – сделано. Не пью день, второй. На третий получку дали. Приношу домой. Всю – до копеечки. Жена считать принялась. Дурная это, скажу, у жен привычка. Считает раз, считает второй. Вижу, в третий раз собирается. Жалко стало. Все, говорю, деньги, до копеечки. Не верит.

– Ты, дорогой, не заболел часом?

– Здоров, – отвечаю, – как бык.

Вижу – не верит.

Прихожу на работу. Бригадир тут как тут. Ходит около меня, носом водит, да и дышит как-то глубже – вроде как зарядку делает.

– Зря, – говорю, – Савельич, носом водишь – бросил я пить, раз и навсегда.

– Горбатого, – говорит, – могила исправит.

Не пью неделю. Сам себя хорошо чувствую. Стихи писать начал. Записную книжку по этой причине купил. А жена совсем на нет сошла. Осунулась, глаза красные. Таблетки глотать начала. И на меня смотрит как-то не так. С укором. Будто что-то не так делаю.

Соседи заходить начали. А мы думали, ты в командировке, говорят. И вроде тоже недовольны.

На днях друзья заскочили. С бутылкой. Не пью, говорю, братцы, бросил. Рты пораскрывали. Среди нас, говорят, такого не бывало,

чтоб от бутылки отказаться. Упрашивать начали. Я – наотрез. Так и не выпил. Друзья обиделись, ушли.

Жену лихорадить начало. В пуховый платок укуталась, а на лице лишь одни глаза видать.

Плакать начала, укорять – дескать, завел я себе другую любовь и так далее. А у меня на душе как-то муторно стало.

Через неделю – еще хуже. Друзья не здороваются. Начальство смотрит косо. Видел кто-то в руках у меня записную книжку. Поговаривать начали, что о недостатках пишу в центральные газеты.

Верите, я бы стерпел все это и не стал бы снова пить, если бы не письмо из милиции, в котором участливо спрашивали о моем здоровье. Это было концом.

Потерять доверие жены, потерять друзей – нет, только не это! Как же я без них жить-то буду? А? Товарищи? Может, пойти да купить за три шестьдесят две? Или не стоит?

ЗАНЮХАННЫЙ

...Дождь неохотно, но сникал и вскоре перестал совсем. Из-за огромной черной, как деготь, тучи выглянула луна. Капля воды, повисшая на самом кончике хвойной иголки, из серой стала бледно-голубой. Наступившая тишина наполнилась тихим шорохом: видно, разгибались прибитые дождем травы.

Я поднял рюкзак, нырнул под нависшие над самой землей еловые лапы, вышел на дорогу и неторопливо зашагал в сторону деревни, где жил мой давний знакомый Степан Лебеда, у которого я и собирался провести выходные дни – порыбачить, побродить по лесу.

Шагалось легко. Пахло дождем. Еле ощутимо льнуло к лицу тепло, сменяясь прохладой. Думая о предстоящей встрече, я как-то незаметно подошел к повороту, за которым, как я уже знал по прежним приездам, будет небольшой мост, а от него до деревни – рукой подать...

Человеческую фигуру на мосту я увидел сразу. Облитая чистым лунным светом, она четко вырисовывалась на фоне луга, раскинувшегося по ту сторону моста. Человек стоял, облокотившись на

перила, глядя в воду. Обернулся он лишь после того, как я ступил на деревянный, со множеством щелей настил моста. Обернулся и испуганно шагнул назад.

– Здравствуйте, – сказал я, опуская на настил рюкзак.

– Здравствуйте, – тихо отозвался незнакомец.

– Рыбачите?

– Нет... Я так... Просто, – пробормотал он, запинаясь.

Я с любопытством посмотрел на него. От моста до деревни было еще не меньше километра, а он – «просто». Я достал папиросы.

– Курите.

Он оглянулся в сторону деревни, робко шагнул и осторожно, кончиками пальцев взял папиросу.

– Спасибо вам большое.

При короткой, но яркой вспышке спички я увидел худощавое лицо, припухлые губы и глаза, взглянувшие на меня так, как смотрит на родителей провинившийся ребенок.

Курили молча. Чуть слышно журчала речка. Далеко впереди, на темной стене леса, оранжевой крапинкой светился рыбацкий костерок.

Я докурил папиросу, бросил окурочок в воду. Коротко и недовольно чмокнув, он белой, медленно стирающейся точкой поплыл в темноту.

– Можно у вас спросить? – негромко произнес он, когда я вскинул рюкзак на плечо.

Я пожал плечами:

– Спрашивайте.

– Вы к кому приехали?

Я сказал.

– А его нет... Уехал он... Вчера вечером... Честное слово.

Я выругался. Знакомых, кроме Степана, в этой деревне у меня не было. Я посмотрел на поворот, на часы. Топать назад в надежде на попутную? Так какая попутная в час ночи!

– Пойдемте ко мне, – тихо предложил он. – Вам у меня хорошо будет... Вот увидите... Пожалуйста.

– А жена? – усмехнулся я. – Привел, скажет, гостя.

Он отвернулся. Затеребил пуговицу на явно великоватом пиджаке, выдавил:

– Один я, – и зачем-то добавил: – Давно уже.

Он шел впереди меня, то и дело оглядываясь. Шел странной походкой, по крайней мере в городе, где большинство людей ходит уверенно и чуточку зло, такой не встречал. В прижатых к бедрам руках, в скользящих, словно прощупывающих дорогу шагах, во втянутой в узкие плечи маленькой голове с оттопыренными ушами была какая-то пугливость и незащищенность, и я был уверен, что раздайся сейчас громкий крик, он непременно сначала замрет, затем закроет голову руками и ринется Бог знает куда с одним желанием бежать и бежать...

Мы прошли мимо обширного луга, на котором памятниками уходящему лету высились стога, мимо небольшого, густо заросшего по берегам травой пруда, мимо покосившейся избы, глянувшей на нас мертвыми глазницами окон, поднялись на пригорок и вошли в деревню.

Деревня спала. Спало и озеро, лежавшее недалеко от изб огромной, матово отсвечивающей пластиной. Ни в одной из изб, кроме одной, стоявшей в конце деревни, света не было. Свет в окнах этой избы был яркий, словно там шло гулянье. Я прислушался, надеясь уловить отголоски веселья, но жадная до звуков тишина жила молчанием.

Мы зашагали по единственной, прижавшейся к самому берегу улице. Мимо маленьких черных бань, ткнувшихся в берег носами лодок со вздутыми, словно у стельной коровы бока, бортами... Впереди пробежал по тишине торопливый стук каблуков и пропал за осторожно скрипнувшей калиткой. Откуда-то из подворотни выбежала собака. Увидев нас, села, почесала за ухом, словно раздумывая, обляять нас или нет, и, видимо, так ничего и не решив, затрусила в темноту.

– Как зовут-то? – спросил я, когда мы прошли больше половины деревни.

– Игнатом... Игнатом меня зовут, – торопливо ответил он, придерживая шаг.

– А кем работаешь?

– Раколов я.

– Кто?!

– Раколов... Работа есть такая... Вы мне не верите?

– Ну почему же... Верю.

Он облегченно вздохнул.

Не знаю почему, но чем ближе мы подходили к избе со светящимися окнами, тем более усиливалась у меня уверенность, что живет в ней именно он.

Поравнявшись с крайней избой, мы повернули налево и по узкой, вихляющей тропинке подошли к калитке. Она была открыта. Игнат остановился. Я удивленно посмотрел на него, на ярко светящиеся окна, спросил:

– Есть кто?

– Нет... Не знаю... Знаете... – отозвался он вздрагивающим шепотом, не сводя глаз с окон.

Двор был огромен. Две широкие полосы света пересекали его. Привычных для деревень огородов не было. У крыльца высилась груда каких-то ящиков. В дальнем углу стояла небольшая сарайка, и все...

«Не двор, а футбольное поле», – подумал я.

Игнат глубоко вздохнул и сказал:

– Пойдемте, пожалуйста.

Дверь в избу была открыта. В сенях вкусно пахло сырыми дровами.

– Раздевайтесь, – тихо сказал он. – Можно я вам помогу?

– Да я уж как-нибудь сам, – улыбнулся я, с любопытством оглядываясь.

Комната была большой, по крайней мере, моя городская двухкомнатная влезла бы запросто, да еще и место осталось бы. Но если моя благодаря ненасытности жены была напичкана мебелью, как арбуз семечками, то в этой – хоть шаром покати: в дальнем левом углу этажерка, собранная из катушек; посередине, немного правей, большая, давно не беленая русская печь; напротив, у окна, стол и два табурета; слева от порога, в углу, облезлая тумбочка, над ней небольшой самодельный шкафчик.

– Нежирно, – протянул я, не в силах сдержать удивления.

– Что вы говорите? – торопливо спросил он, заглядывая мне в глаза.

– Это я так, про себя, – пробормотал я, снимая куртку.

– Чай пить будете?

– Нет, спасибо.

– Как хотите... А вы проходите, садитесь. Я сейчас, вот раздеюсь только, – заторопился он. – Вы, наверно, устали. Спать хотите. А я... – он виновато улыбнулся.

Я с удивлением смотрел, как он снимает пиджак, свитер, фланелевую рубашку.

– Тепло, знаете ли, люблю, – смущенно проговорил он, перехватив мой взгляд.

Аккуратно сложив одежду на табурет, Игнат сказал:

– А спать я вас положу в другую комнату. Вы не против?

Дверь в другую комнату была за печкой. Койка, стул, малюсенький стол у окна и какой-то цветок на широком подоконнике составляли все убранством спальни.

– Белье я вчера менял, – сказал он, расправляя постель. – Вы не беспокойтесь, пожалуйста.

Мне уже порядком надоело его бесконечное «пожалуйста», которое, в избытке произносимое, мне всегда казалось угодничеством.

– Вы знаете, – сказал он, краснея. – Я так рад, что вы ночуете у меня...

– Я тоже... рад, – ответил я, стараясь не улыбнуться.

– Спасибо. Спокойной ночи вам, – он вышел, осторожно притворив дверь.

Я разделся. Щелкнул выключателем. Бледно-голубой свет скользнул в комнату, отпечатав на полу контур окна. Простыня приятно холодила тело. От подушки пахло полем. Я устроился поудобней и закрыл глаза...

Проснулся я под утро. И первое мгновение не мог понять, где нахожусь. Понемногу вспомнились дорога, дождь, встреча на мосту. Я встал, оделся, приоткрыл дверь и увидел Игната. Он спал на полу, подстелив под себя фуфайку, укрывшись брезентовым плащом. Темный комочек перебежал комнату и скрылся под печкой – мышь...

Во дворе было прохладно и тихо. Вдали стелился туман. В лесу, верно, пересчитывая избы, куковала кукушка. Я сел на ступеньку крыльца, закурил. Неожиданно со стороны ящиков послышался

шорох. Я невольно отодвинулся, сначала хотел посмотреть, что в них, но потом передумал: черт его знает, что там...

Я докурил папиросу и вернулся в избу. Игнат сидел на табурете.

– Доброе утро, – сказал он. – Как спалось?

– Отлично.

– Чай поставить?

– Давай, – согласился я. – Только завари покрепче.

– А может, вам раков хочется?

– Раков? Так, значит, у тебя в ящиках раки? – догадался я, вспомнив шорох.

– Раки... Сегодня за ними машина приедет...

Чай пили молча. Игнат пил, уставясь в одну точку, о чем-то задумавшись. Уголки губ у него то поджимались, то растягивались в улыбке, то вздрагивали в непонятной усмешке.

– Жена-то где? – нарушил я затянувшееся молчание. – Умерла?

– Что вы! Как можно, – вздрогнув, испуганно пробормотал он. – Она не умерла.

– Ушла, выгнал?

– Ушла, – потерянно уронил он, глядя в сторону.

– Ругались, пил? – предположил я, зная, что это в большинстве случаев является причиной разводов.

– Нет, – он помотал головой. – Она... Она другого... полюбила, – это было сказано таким голосом, что я подумал, будто он вот-вот заплачет, и у меня пропало всякое желание спрашивать его еще о чем-нибудь.

– Понимаете, – неожиданно заговорил он, когда мы, напившись чаю, сидели на крыльце. – Она правильно сделала, что ушла от меня... А может, и неправильно... Я не знаю, – добавил он после короткого молчания.

Я поперхнулся дымом.

– Нет. Правда. Вы не смейтесь, пожалуйста, – попросил он, тиская ладошки. – Мне мужики говорили, что я тряпка, что мне нужно было женщиной родиться... Что я любить не умею... А я люблю... Вы думаете, почему я вчера на мосту стоял... И свет у меня в избе горел. Вы знаете, когда свет горит, мне всегда кажется, что это она вернулась...

Он замолчал.

Деревня просыпалась. Над избами потянулся вверх голубоватый дымок. Загавкала собака. Слышались сонные голоса, звяканье ведер. Заблестела роса, и выглянувшее солнце, еще пока чуть теплое, окрасило туман в розоватый цвет.

Я покосился на Игната. Он смотрел под ноги.

– И сколько ты с ней прожил? – негромко спросил я.

– Год прожил. Она здесь живет... Я ее каждый день вижу. Больно так мне... Вы бы знали...

– Так уезжай отсюда. Чего мучиться?

Он печально усмехнулся, хотел что-то сказать, но промолчал.

– Она замуж вышла? – догадался я.

– У них уже маленький родился... Девочка... Красивая... Как она.

Я выбросил папиросу, встал:

– Пойду я.

– Скоро машина придет. Подождите. Что ж вы так...

– Да нет. Я пешком.

– Я провожу вас.

– Не стоит. А где она живет?

Он вопросительно посмотрел на меня.

– Ну, жена бывшая.

– А вон, видите свежую заплату на крыше?

Проходя мимо избы, я увидел во дворе женщину. Она не показала мне красивой...

Спустя месяц я получил письмо от Степана: «Мне тут сказали, что ты ночевал у Занюханного, так вот, приказал он нам всем долго жить – повесился...»

Приглашал меня Степан в гости. Но я в эту деревню больше никогда не ездил – не мог.

ЛУННАЯ ДОРОЖКА

Рыбина выскользнула из рук, я бросился за ней, споткнулся о камень и рухнул в воду. Когда выбрался на берег, от единственного коробка спичек и курева осталось одно название. Проклиная жадную до жизни рыбину, сунувшийся под ноги камень, я натянул выжатую одежду, взвалил на плечи рюкзак и, ежась от холода, затопал по узкой, льнувшей почти к самой воде тропинке к далекому огоньку рыбацкого костерка.

Шагал бойко. Темнело. По глади озера к берегу, не отставая от меня ни на шаг, тянулась лунная дорожка. В глубине леса торопливо отстукивал последнюю фразу дня дятел. Тропинка казалась резиновой. Свет костра становится ярче, но не ближе. Я обогнул небольшой мысок и невольно остановился.

Невдалеке, на берегу озера, облитая хилым светом луны, стояла небольшая, забытая, верно, не только людьми, но и Богом деревушка. Избы ее, какие-то скрюченные, отрешенно смотрели пустыми глазницами окон в землю, словно стараясь отыскать на густо заросшей травой дороге свежую колею.

Не в силах избавиться от мысли, что за мной кто-то идет, то и дело оглядываясь, едва не бегом, я почти миновал избы, как впереди неожиданно пробороздил тишину протяжный, сдавленный скрип. Я замер.

Из-за крайней избы вышел человек. Я облегченно вздохнул. Повидимому, он тоже увидел меня, потому что остановился.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Здравствуйте.

Ладонь у него была узкой и мягкой.

– У вас спичек не найдется?

– Найдется.

Он достал два коробка, потряс, переложил спички в один и протянул мне.

– Спасибо.

– Забыли?

– Нет. Искупался.

– Бывает.

Мы замолчали. Со стороны озера послышались размеренные

удары топора. Эхо охотно и жадно ловило их и неслышно прятало где-то в лесу.

– Спасибо, – я поправил рюкзак. – До свидания.

– Пойдемте ко мне, – неожиданно предложил он.

– К вам?! – я посмотрел на избу, в окнах которой отражался свет луны.

– Пока вы костер разложите, пока он разгорится, пока одежду высушите – застынете. Вон туман какой, – он кивнул в сторону озера. – А у меня печь горячая, самовар, оладушки... Ну так как, идете? – и, улыбнувшись, добавил: – А на зорьке я вам местечко покажу. Там окуньки хорошие...

Он шел впереди меня так, словно мерил длину тропинки, что бежала от озера к крыльцу.

В избе было тепло, тихо, пахло пирогами. На столе, у задернутого занавеской окна, нехотя светила керосиновая лампа. Слева от двери в соседнюю комнату, на стене, устало тикали старые ходики, у огромной печи на полу посвистывал самовар.

– Вас как зовут? – спросил он, когда я освободился от рюкзака.

Я сказал.

– Ну а меня Михаилом. Лесник я. Раздевайся. А я поищу, во что переодеться.

Вскоре, переодевшись и разложив на печи мокрую одежду, я помогал накрывать на стол. Накрыв, достал из рюкзака бутылку водки.

– Ну, за встречу, за знакомство! – он поднял рюмку. Я поднял свою. Выпили.

– Хорошо у тебя, – сказал я, – тихо.

– Хорошо, – кивнул он. – Я третий месяц здесь, а привыкнуть не могу. Иной раз проснешься утром и ждешь по привычке, когда трамвай залязгает, а вместо него – шум леса.

Свет лампы освещал его лицо. Оно было некрасивым: тонкие, какие-то нарисованные губы, крупный нос. И только темные, не мужски огромные глаза, да морщинки, что бежали от глаз к вискам, придавали лицу выражение родного, нужного в жизни человека.

– Трамвай?! – удивился я. В нашем городе о трамвае и не думали.

– Из Ленинграда я. Знаешь такой город? – улынулся он.

– Да уж, – я шутливо развел руки. – Знаю вроде.

Он молча наполнил рюмки. Лицо его после выпитого покрылось пятнами.

– А что ж ты из Ленинграда да сюда?

– Долгая история, – неохотно уронил он, глядя в окно. – Долгая, да и... Давай лучше выпьем. Это проще.

Некоторое время сидели молча. Тикали ходики. Где-то в углу скреблась мышь. Он водил вилкой по столу, думал о чем-то.

– Ты не против, если я окно открою? – неожиданно спросил он. – Душно что-то.

В лицо пахнуло влажной прохладой. Язычок пламени в керосиновой лампе шархнулся из стороны в сторону и погас. Безбоязненно влезла в окно ночь.

– Хочешь послушать стихотворение? – тихо спросил он, по-прежнему глядя в окно. – Может, и понравится...

*Он жил один. И счастлив был вполне.
По вечерам, когда близки потемки,
Писал стихи. А выше, на стене,
Висел портрет прекрасной незнакомки.
Но редко воплощается мечта,
И у судьбы – коварная улыбка.
И появилась женщина – не та,
Случайная, но частая ошибка.
Иллюзии разбились. Вот обломки.
Кому они нужны,
Когда рукой ревнивой
Со стены
Был снят портрет прекрасной незнакомки.*

Он читал негромко, задумчиво, с какой-то болезненной ноткой.

– Понравилось? – спросил он, не оборачиваясь.

– Да. А кто автор?

– Я.

– Ты-ы?!

Он невесело рассмеялся и, неожиданно оборвав смех, грустно сказал:

– Я давно пишу. Вернее, писал... А это стихотворение... – он поморщился, махнул рукой.

– У вас и книги есть?

– Откуда? – он вздохнул, усмехнулся чему-то. – А писал неплохо... По крайней мере, друзьям нравилось. А друзья не солгут. А я... Я, как говорила моя жена, неудачник и бездарь. Давай допьем.

Мы выпили. Где-то в лесу раздался надрывный стон, затем ли- той, долго затихающий шум.

– Дерево умерло. Жило и умерло, – задумчиво протянул он. – Наверное, от старости, а может, от нежелания жить, – он повертел рюмку. – Ты спрашивал, почему я из Ленинграда да сюда. Так получилось... Вроде бы все было, и любовь... первая. Вот слушай:

*Огоньки не вечные,
Огоньки.
Мы встречались вечером,
У реки.
У ограды каменной
Вдоль Невы
Клялись в дружбе пламенной
И любви.
Дни мелькнули лисами.
Где вы? Где?
Клятвы были писаны –
На воде.*

– Во-от так, – он вздохнул и нарочито весело сказал: – Женился, да не на той. Знаешь, такая мелочная попалась, завистливая. И все это маленькое, гаденькое, ненужное душу высосало, – он усмехнулся, покачал головой. – До того дошло, что друзей мне стала выбирать.

– Так разошелся бы, – не выдержал я.

– Разошелся... легко сказать. А дети? Вот поднял на ноги и ушел... Деревьям стихи читать... Вчера стихотворение написал. Прочитать?

– Конечно.

– Спасибо тебе, – он положил ладонь на мою руку, – спасибо.

– За что?!

– За то, что сидишь, что слушаешь.

Он закрыл окно, зажег лампу и, глядя куда-то в угол, срывающимся голосом стал читать:

*В миг, когда рябчишка-однолетка,
Вынырнув из гущи ельника,
Пышный и потешный, сел на ветку,
У меня не дрогнула рука.
Никогда он не разыщет пары!..
Теплый и трепещущий комок
Сбросило немислимым ударом
На осенний пожелтевший мох...
Но когда по редким алым листьям
Вверх уполз голубоватый дым,
В том лесу, досель родном и близком,
Я себя почувствовал чужим.*

– Здорово! – не сдержался я.

– Ну уж и здорово, – усмехнулся он. – То, что вроде получилось, не спорю.

Мы попили чаю с оладьями и вернулись в комнату. Он подошел к окну. Я встал рядом. Окно смотрело на озеро, на темной глади лежала лунная дорожка.

– В комнате бы ее расстелить.

– Кого? – не понял я.

– Лунную дорожку... Скоро солнце глаза продерет, – сказал он, помолчав. – Давай собираться. Пойдем окуньков тягать.

...Мы расстались, когда день набрал силу.

– Ну, счастливо тебе, – улыбнулся он, протягивая руку. – Приезжай.

Я приехал через пару месяцев, но его не было. В избе жил другой человек. Прежде чем ответить на мой вопрос, он долго расспрашивал, кто я да что я, затем криво усмехнулся:

– Уехал... А почто мне знать, куда? Он мне не докладывал. Уехал, и все. Одни пустые бутылки остались...

И теперь, если случается увидеть на воде лунную дорожку, я вспоминаю то озеро, деревеньку, стихи и слова: «В комнате бы ее расстелить».



«...Какая она, жизнь, дурная. Самой что ни на есть последней сволочи столько лет отгрохает, что только диву даешься, а хорошему человеку – с гулькин нос».

*Б. Кравченко.
«Поселковый
почтальон»*



«Он смотрит на все не затуманенным или каким-нибудь лукавым взором – он видит все ясно, четко, определенно: это зло, это добро, тут в мире хорошо, тут плохо... Такая у Кравченко натура – добрая и одновременно бескомпромиссная».

*Э. Сафонов.
«Борис Кравченко»*



«У прозы Б. Кравченко легкое дыхание, она поражает своей естественностью, несделанностью, а это несомненный признак настоящей литературы».

И. Смольякова.

«Легкое дыхание доброты»



«...Итак, сажусь за машинку, долго сижу, что-то пишу. Не нравится – вычеркиваю. И вдруг как будто моим пером начинает водить чужая рука, я отключаюсь от всего собственного – слова приходят сами собой. Когда напишу, встану, пойду покурю. Потом посмотрю, что напечатал, и сам удивлюсь, как это так я мог...»

Б. Кравченко. Из интервью





На ветру ЖИЗНИ

КРИТИКА,
ВОСПОМИНАНИЯ

О БОРИСЕ КРАВЧЕНКО

Предисловие к книге «Забытое тепло»

Борис Кравченко нелегко входит в литературу. Давно уже заметил этого уроженца Петрозаводска и нынешнего жителя Кондопоги родной журнал «Север», напечатав несколько коротких его рассказов, — длинно писать Б. Кравченко вообще не может и не хочет.

Прошли годы, и состоялась новая публикация, на этот раз в Москве, в еженедельнике «Литературная Россия», давшем целую подборку рассказов начинающего писателя. Кравченко замечен, он становится участником Всесоюзного совещания молодых писателей, имеет большой успех, его приглашают на телевидение, радио; журнал «Литературная учеба» печатает самый большой из всех его рассказов «Поселковый почтальон». Кравченко уже поверил было, что добрый ветер наполнил его паруса. Ан нет, снова мертвый штиль, паруса обвисли.

Из редакций журналов, сгоряча расхватавших рассказы молодого кондопожского бульдозериста, которого дружно признали «талантливым» маститые руководители семинаров, косяком идут отказы, которые Кравченко в своих горьких и недоуменных письмах ко мне называл странным словом «отлупы». Его упрекали за то, что пишет коротко, просили присылать рассказы страниц на двадцать-тридцать. Получал Борис Кравченко упреки и такого рода: мол, стыдно русскому рабочему человеку писать «как какой-то Хемингуэй». Этот удар едва не оказался нокаутом для молодого писателя с тонкой, еще не успевшей огрубеть в литературных испытаниях кожей...

Б. Кравченко рано начал трудовую жизнь, работал на лесопунктах Карелии, Урала, монтажником на буровых в Тюменской области, водил грузовик, потом стал бульдозеристом. Он приобрел немалый трудовой и жизненный опыт. Он самобытен до мозга костей, пишет лишь о том, что знает по собственному опыту, своими собствен-

ными скупыми, точно поставленными словами. Он очень долго, даже мучительно долго работает над каждым крошечным рассказом, добиваясь целомудренной краткости и полного соответствия слов сути изображаемого. И лаконизм письма, который, кстати, никогда – до возобладания в нашей литературе густой, многословной прозы «деревенщиков» – не считался недостатком, напротив, достоинством: это его собственный, а не заимствованный у кого-либо способ излагать свои мысли и чувства.

Сейчас заметно общее движение молодой русской прозы в сторону лаконизма, лапидарности. Б. Кравченко пришел к этому ранее других. Он избежал пленения знакомыми ему образцами густописи и, рано нащупав свою собственную манеру, стал ее разрабатывать, огорчаясь, но не смущаясь непониманием. Его верность избранному пути была вознаграждена: снова «Север», затем «Литературная Россия» публикуют циклы кравченковских рассказов, и вот уже издательство «Карелия» выпускает первый сборник молодого автора, включающий двадцать пять рассказов. Это настоящее вступление в литературу.

Я верю в будущее короткого советского рассказа, который после долгого перерыва вновь подхватил чеховскую традицию, плодотворную и в изображении сегодняшнего мира. Я верю в писательское будущее Бориса Кравченко, человека одаренного, горячего и, что особенно важно в непосильном деле новеллистики, упрямого труженика.

1981 год

НЕЗАБЫТОЕ ТЕПЛО

Передо мной первая книжка рассказов Бориса Кравченко. Первые книжки молодых писателей выходят нередко, но далеко не каждая может привлечь внимание читателя и тем более критика. Мне же, как прозаику, «первенец» Б. Кравченко особенно интересен.

Впервые я увидел автора на VII Всесоюзном совещании молодых писателей. Он был в моем семинаре. Шло обсуждение рукописей участников совещания. Как всегда, что-то было интересно, что-то вызывало возражение, что-то удручало своей безнадёжностью... Но как бы то ни было, работа протекала спокойно, пока очередь не дошла до обсуждения рассказов Бориса Кравченко, рабочего парня-бульдозериста, живущего в Карелии, в Кондопоге.

Рассказ, к сожалению, у критики не в чести. Может, потому, что куда проще разобраться в пухлом романе или растянутой повести, нежели в коротком, всего пять-шесть машинописных страниц, а то и того менее, рассказе? Я говорю не вообще о рассказе, а о коротком — о настоящем коротком рассказе, когда автор в пять страниц укладывает такое содержание, которого хватило бы и на стостраничную повесть. Своей краткостью, насыщенностью чувством, сюжетной емкостью, яркостью происходящего и четкостью мысли рассказ так действует на читателя, что надолго западает ему в сердце и разум.

Не думаю, чтобы можно было научиться писать короткие рассказы. Это уж, как говорится, от Бога. Вот таким талантом в полной мере обладает Борис Кравченко. И когда на совещании зашла речь о его рассказах, то для всех было очевидно, что на семинаре присутствует оригинальный писатель. Причем не начинающий, а вполне зрелый. Выяснилось, что первый его рассказ был напечатан в журнале «Север», что в дальнейшем несколько рассказов были напечатаны в «Литературной России», но вообще же печататься ему нелегко, и этому причина та, что пишет он о такой жизни, какую видит вокруг себя, о людях, которые рядом с ним. А у них далеко не всегда радостная жизнь. То по своей вине, то из-за черствости другого,

то из-за позднего раскаянья, то тяжело порой складывается судьба у человека. Это Бориса Кравченко волнует, и он пишет об этом, и не просто фиксирует житейский факт, а наполняет сюжет рассказа состраданием к обнаженному человеку и горьким укором тем, кто был равнодушен, невнимателен, бессердечен.

Всех, кто был на семинаре (а было человек двадцать), потряс короткий рассказ о человеке, опустившемся из-за пристрастия к пьянству. Каждый день он дает «представление» возле очереди в городскую баню – за кружку пива кусает локоть своей покалеченной на войне руки. Но вот наступил такой день, когда нет желающих это смотреть. А выпить ему необходимо, и в отчаянии он предлагает свою воинскую медаль, награду за подвиг, рыбакам на блесны. Это было последнее, что он берег как честь. Но, видимо, всему есть мера и предел – сердце не вынесло такой унижительной сделки, и человек умер. Но на этом рассказ не кончается. Приезжает «неотложка». Спрашивают, кто умерший? Как его имя? Никто не знает. Вот это и есть главное в рассказе. Да, человек, в прошлом фронтовик, защитник Родины, опустил. Ужасно! Но еще горше, что никого не нашлось из тех, кто видел его унижение, поговорить с ним, узнать поближе, спросить хотя бы, как его имя.

Там, на совещании, к Борису Кравченко было проявлено доброжелательное внимание. Его пригласили на телевидение, и он выступил по Первой программе. Его пригласили в издательство «Молодая гвардия», и было обещано издать книгу его рассказов. На заключительном заседании совещания было принято решение рекомендовать его в члены Союза писателей, не дожидаясь выхода первой книги, – настолько было очевидно его дарование. Ну, а дальше началось то, что встречается в жизни. Пошли осложнения. Из представленных рассказов добрую половину издательство отклонило. В Союз писателей его честная организация Бориса Кравченко без книги не приняла, хотя к его заявлению были приложены рекомендации известных литераторов. Возвращались из многих журналов, редакций новые рассказы. И не потому, что поспешил, нет, а потому, что рассказы его были «труднопроходимыми». Тут, пожалуй, кто другой, может, и покачнулся бы, но работа на бульдозере, видимо, воспитала в нем нужные качества, кое-чему научила.

По меньшей мере – железному упорству. Еще и еще появляются из-под его пера рассказы. Теперь уже их вполне достаточно для издания книги в издательстве «Молодая гвардия». Печатается новый цикл в журнале «Север». Готовится к печати в петрозаводском издательстве «Карелия» первая книга. И вот она передо мной.

О ней и речь. Название – «Забытое тепло». В ней немногим больше ста страниц небольшого формата. Но в них двадцать пять рассказов. Что опять же утверждает определенное дарование молодого писателя. Борис Кравченко – прирожденный рассказчик. И напрасно он в своих письмах ко мне сетует, что ему неподвластна большая форма. Бог с ней, зато ему покорно подчиняется большой мир в малом жанре.

О чем же рассказы в первой книжке? О людях. Только о них. Разные эти люди, как в жизни, и, как в жизни, одинаковы, со своими болями и радостями, заботами и трудом. Вот открывающий книжку рассказ «Закон стройки» вроде бы и незамысловат. Ну что в самом деле: пришел на стройку паренек, только что окончивший ГПТУ. Дали ему бульдозер. Стал Димка работать. Вот и все. Но сколько тепла излили на него рабочие стройки, принявшие его в свою трудовую семью. Димка устал за день, но и рабочие не скрывают своей усталости. Тут нет никакой бравады. Здесь все искренне, открыто. Здесь действует закон честных трудовых отношений. И не нужно говорить о том, что Димка в первый же день принят в коллектив. Это видно из всех поступков рабочих.

Тема труда естественна в творчестве Бориса Кравченко. Он рано начал трудовую жизнь. Работал на лесопунктах Карелии и на Урале, был монтажником на буровых в Тюменской области, водил грузовики, теперь работает бульдозеристом. Повидал трудовых людей, набрался жизненного и рабочего опыта, и ему есть что сказать. Он знает цену машине. Знает, каким добрым помощником она является в труде человеку, и поэтому совершенно естественно отношение Ефремыча (рассказ «Ефремыч») к своему бульдозеру, на котором он проработал много лет, и его огорчение, когда выясняется, что его старый бульдозер идет на слом, хотя еще пригоден к работе. Даже то, что дают ему новый, Ефремыча не радует. Сюжет, казалось бы, несколько наивный, но в передаче Бориса Кравченко он

звучит правдиво, подкупает своей искренностью. Но больше трогают сердце другие рассказы – о человечности, о том, без чего не может быть жизни на земле.

Крохотный рассказ «Лекарство для мамы». Я не поленился подсчитать, в нем всего двести пятьдесят слов. Но сколько теплоты, сыновней любви к матери и материнской к детям. Редкий дар – на такой малой площадке вместить столько чувства. «Письмо от матери». Мать пишет, чтобы берег себя сынок. «Ведь ты один у меня остался на всем белом свете. Помру я, ежели что с тобой случится». Такие письма приходят одно за другим. Венька, читая их, снисходительно морщится. Случайно от знакомого из деревни узнал, что надо матери помочь. «Зима на носу. Дрова надо привезти, напилить, наколоть. А ей на ее пенсию...» После чего Венька стал подсчитывать свои доходы-расходы. Кино, танцы, сберкнижка, новые брюки, и осталось всего десять рублей от получки. «Смех один матери посылать такую сумму. Засмеют деревенские». И решил отложить, послать с аванса. И тут вспомнил о письме. «Зевая, развернул конверт. На колени мягко упали три рубля». Вот такая неожиданная концовка. И невольно думаешь, не похож ли и я в чем на этого черствого парня? И еще и еще раз поражаешься щедрости материнского сердца. Воистину нет предела его любви и всепрощению.

Быть добрым. Какое это прекрасное свойство характера! В чем только оно не проявляется. Скрыл старик от жены гибель сына на войне, порвал похоронку (рассказ «Встреча на дороге»). И живет старуха надеждами, что сын ее жив, служит в армии за границей, в особых частях, откуда письма не идут. В «Последнем поклоне» Виктор Астафьев так чудесно изобразил отношения бабушки и внука, что, казалось бы, после него никак уже невозможно писать про подобное. Но, если сердце полно любви и сердечной благодарности к близкому человеку, то всегда найдется и повод, и возможности еще и еще рассказать о том же с проникновенной силой. Такие слова и нашел Б. Кравченко в рассказе «Про любовь» («Белый сахар». – *Ред.*). Война. Трудно живет Сани с бабушкой. Сахарку бы достать к чаю, да нет его. И опять теплые душевные чувства, и трогательный конец рассказа, когда становится радостно за хороших людей. Таким же ласково-светлым чувством наполнен и грустный рассказ «Нежность».

Можно о каждом рассказе сказать добрые слова. Но рассказы не только о доброте. Есть и другие, в которых незабываемая боль за совершенную ошибку, за неосторожное резкое слово, за недоверие. Страшен своей жизненной правдой рассказ «А-а-а...». Муж приревновал без особых оснований жену, бросил все и уехал. С горя жена начала пить, встречаться с мужчинами. Но прошло время. Муж одумался, написал письмо, просит прощения, зовет к себе. И она поехала бы. До сих пор его любит. Но поздно – все, что было чистого, светлого, попрано. И только остается протянуть безнадежно-потерянно: «А-а-а».

Да, жизнь – штука серьезная. И относиться к ней надо серьезно. А так легко все испортить. Об этом и о многом другом жизненно важно говорит в своей первой книге Борис Кравченко. Он молод, впереди большая жизнь. И сделать ее значительной зависит теперь только от него. Могут быть и «отлупы» – мало ли робковатых, не очень-то хорошо разбирающихся в литературе работников редакций журналов и издательств, но главное есть – оно в том, что Борис Кравченко талантлив, что его заметили, что вышла первая книга, и за ней будут и вторая, и третья, и десятая, потому что ему есть что сказать, и я полностью согласен с Юрием Нагибиным, когда он говорит в своем предисловии к этой книге: «Я верю в писательское будущее Бориса Кравченко, человека одаренного, горячего и, что особенно важно в непосильном деле новеллистики, упрямого труженика».

(«Нева», №4, 1982 год)

НАПУТНОЕ СЛОВО

*Предисловие к сборнику рассказов
«Такая вот история»*

Этой первой московской книгой Борис Кравченко заканчивает начальный период своего творчества, период, когда молодой прозаик заявил о себе, заявил хорошо, даже с некоторым вызовом, – претендуя в созданных им рассказах на некоторую всеохватность. Она в том, что молодые обычно в начале своего пути отдают благодарные поклоны тем, кто дал им жизнь и язык, эксплуатируют свою биографию (службу в армии, первую любовь, тяжесть и радость физического труда, охоту к перемене мест и т. п.), оставаясь всегда героями своего творчества, и тут даже маска третьего лица не скрывает собственного, – и все это вполне понятно да и нужно для начала как попытка разобраться в себе и примериться, какой тяжести ношу взвалить на себя в дальнейшем писательском пути. Ноша эта – мера нашей ответственности за нравственное состояние современности.

Борис Кравченко с первых рассказов дерзает на обобщения, на оценки, на приговор, не подкрепляя иногда уверенность собственного суда над другими своей выстраданностью. Но тем не менее попытка разобраться в событиях современности – а вся книга глубоко современна – очень похвальна.

Помню Бориса Кравченко по VII Всесоюзному совещанию молодых писателей. Заранее прочтя рукописи «семинаристов» и выделив из них его рукопись, я с тем большим вниманием наблюдал за ним. Выступления его при обсуждениях были точны, иногда чрезмерно беспощадны и категоричны в выводах, но вместе с тем полны уважения к пишущим собратям. И проза Кравченко походит на него, она точная, лаконичная, и вся – от начала до конца – исполнена уважения к человеку.

Как и все молодые, Кравченко нуждался в редакторе. Вообще первые встречи молодого писателя с издательскими работниками часто определяют дальнейшую его судьбу. Кто эти люди? Те ли, что будут переписывать за автора неудачные его предложения и абзацы?

Те ли, что будут перекраивать лицо сборника, подчиняя его своему вкусу? Те ли, что будут выбрасывать наиболее смелые рассказы? И в первом, и во втором, и в третьем случаях происходит губительное: автор развращает мышление, решив, что можно писать кое-как, лишь бы побольше, а что не так – выправят. Автор подчиняется чужому мнению и, наконец, притупляет свою гражданскую позицию.

В идеале должен быть редактор-друг, редактор-советчик, редактор-единомышленник. По сравнению с рукописью в книге улучшилась структура текста, обнаружилась внутренняя логика размещения рассказов с тем, чтобы усилилось впечатление и воздействие писательской силы проникновения в жизнь. Логика же эта в том, что впереди идущие поколения – нынешние «старики» – передают свой духовный и житейский опыт нам, вслед идущим, и очень многое зависит от развития наших способностей перенять этот опыт. Кравченко, и это почувствуют читатели, относится к «старикам» сострадательно, с громадным уважением, и много доброго делает этим для воспитания молодых.

Желается, чтобы Кравченко не отступал от жанра рассказа, разумеется, пробуя силы и в остальных жанрах, но рассказ – это самый традиционный жанр русской прозы, самый трудный. Уходя корнями в рассказы летописей о людях и событиях, он, этот жанр, имеет огромное будущее, в нем в идеале должно быть триединство события, характера и идеи.

В судьбе Кравченко самое прямое участие принимали Юрий Нагибин и Сергей Воронин. Хотелось, чтобы их надежды были оправданы, чтобы добрые напутствия молодой автор принял не как должное, а как аванс, который надо отрабатывать.

Итак, писатель Борис Кравченко вступает в то время своей жизни, когда пора взваливать на себя ответственность за эпоху и происходящее в ней, когда писательская служба медом не кажется, когда литература должна стать не самоцелью, а средством для отстаивания позиции.

Очевидно, что более предисловий к книгам Кравченко не нужно до тех пор, пока не понадобятся иные, многословные, объясняющие его творческий путь, но за это неопределенное время он обязан свою природную одаренность подкрепить освоением культуры, выработкой гражданской позиции, нахождением своего места в литературе.

1982 год

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОРИСУ КРАВЧЕНКО

Дорогой Борис!

Вам, наверное, покажется странным, что я пишу письмо после того, как мы дважды встретились – пусть мимолетно, гонимые не от нас зависевшей спешкой, – сперва по соседству с Вами – в Петрозаводске, потом у меня в Подмоскowie. Но особенно странно, что я пишу Вам открытое письмо, будто у нас нет иного способа обменяться соображениями по интересующим нас вопросам. Мне и самому несколько странно, и смущает мысль: нет ли тут деланности, нарочитости в духе той игры, которой усердно предается телевидение, пытаясь изобразить совершенную непосредственность, неподготовленность, счастливое стечение обстоятельств, вдруг собирающее вместе на эстраде Останкинской студии известного певца, аккомпаниатора, рояль и ноты.

Но ведь нам так и не удалось поговорить по-настоящему – времени и в Петрозаводске, и в Подмоскowie в обрез, а вопросов у Вас скопилось предостаточно, отвечать же наспех, лишь бы что-то наболтать мне не хотелось из-за того чувства ответственности перед Вами и за Вас, которое непонятно кто, когда и почему возложил на меня. Сейчас я уже не помню отчетливо, как началось наше знакомство, долго остававшееся заочным, чисто эпистолярным, в духе Чайковского и госпожи фон Мекк; кажется, Вы мне написали и приложили к письму крошечный рассказ, который меня заинтересовал, и это обстоятельство я от Вас не скрыл. Потом было еще много рассказов и почти так же много писем, в которых все сильнее звучала нотка удивления перед тем, что мое положительное – можно сказать и крепче – отношение к Вашим рассказам никак не разделяют – можно сказать и крепче – рецензенты журналов и газет, куда Вы эти рассказы посылали. Вас же с Вашими рассказами журнально-газетные люди посылали куда дальше Кондопоги с темной деревянной церковью над бледной водой и громадным бумажным комбинатом, где Вы живете и работаете бульдозеристом.

Несовпадение моих и официальных оценок было столь вопиющим, что я испытывал благодарное удивление перед тем доверием, которое Вы – вопреки всему – сохраняли ко мне. При этом у меня ни на миг не возникало сомнения в собственной правоте, но к этому мы еще вернемся. Так вот, мое странное чувство ответственности возникло, наверное, из того, что долгое время я оставался едва ли не единственным человеком в широком мире, которому Ваши рассказы нравились – твердо и безоговорочно, который не учил, не наставлял, не исправлял Вас, а талдычил одно: оставайтесь самим собой, пишите, как пишется, не отступайте от лица, только пишите больше. Я не случайно сказал: в «широком» мире, ибо в «нешироком», в родных Вам местах, сделали раз исключение из правила и опубликовали в журнале «Север» два Ваших маленьких рассказа. Это можно было бы счесть началом признания, хотя бы понимания, но журнал вновь, и надолго, вернулся к тактике «отлупов», как Вы непривычно называете отказы в печатании. Если бы там увидели органическое своеобразие Вашей манеры, Вашу «особость», то естественно было бы продолжать печатать Вас, но журнал вновь смиростивился к Вашим маленьким рассказам (в том числе к лучшему из всех: «Третьему дню пути») лишь после «открытия» Вас в столице – цикл в «Литературной России» и шумный, эфемерный успех на Всесоюзном совещании молодых писателей. Поэтому я не понимаю, что означал давний добрый поступок «Севера», нарушивший на мгновение стройную картину полного неприятия рассказов-миниатюр кондопожского бульдозериста Бориса Кравченко.

Вас удивило, почему я не предупредил заранее о своем приезде в Петрозаводск, находясь же там, не искал возможности сообщить, что буду – пусть мельком – в Кондопоге. Мне хотелось застать Вас врасплох, когда Вы не «прибраны» под начинающего литератора, а находитесь в своем естественном виде: на жестком, трясучем сиденье лязгающего, рычащего, грохочущего бульдозера, мне казалось, я лучше пойму Вас, Вашу жизнь и свойства Вашего характера – отнюдь не простого и не легкого. Но жизнь любит посмеяться над человеческими расчетами: именно в этот рядовой, будний день Вы взяли отгул – плохо чувствовала себя жена, недавно давшая жизнь второй дочери, – и на бульдозере работал другой парень, хороший и

умелый, с острым глазом, но не томящий душу непосильным делом литературы. От него я услышал кое-что о работе бульдозериста, ну, хотя бы: до чего, оказывается, трудно обуть ноги, особенно зимой, чтобы они не мерзли и чувствовали педаль, ведь обувь прямо-таки горит от солярки; и еще – от бульдозера не отделаешься, даже вернувшись домой, – он остается неистребимым запахом солярки, который выбить можно лишь веником в парной, остается тряской во всем теле и гудом в голове. И коли это докучает парню, у которого после работы только и дела, что посмотреть телевизор, сходить в кино или прошвырнуться с друзьями по улицам, то как солоно приходится тому, у кого лишь начинается главное, изматывающее душу занятие: нет страшнее муки – муки слова. Как создать себе ту отрешенность, ту святую тишину, без которой не подчинишь слова, когда в тебе вибрирует каждая жилка, в голове – грохот и лязг, а рядом творится беспокойная жизнь любознательного ребенка, уже зачарованного глазком телевизора, буйная, не признающая стеснения жизнь младенца и замороченная детьми и домом жизнь молодой женщины, естественно претендующей на внимание мужа, а на столе в нетерпеливо разорванных конвертах – очередные и всегда ошеломляющие «отлупы» и мудрые советы: не писать короткой фразой, это не художественно, да и столь короткие рассказы не писать тоже, это не рассказы вовсе, а лишь наброски, и в следующий раз прислать что-нибудь не меньше восемнадцати страниц. Я написал это и вспомнил о Вашей единственной, кажется, попытке изменить себе, поверить, что правы добрые советчики, столь единодушные в своем мнении о Ваших писаниях и точно знающие, где пролегает единственный путь в большую литературу. О том, что из этого вышло, мне рассказывал Ваш земляк, а Вы потом хмуро подтвердили, что так оно и было на самом деле. Промучившись сколько-то дней или недель над длинными фразами, которым надлежало сложиться в длинный рассказ, и работая своим обычным изнурительным методом – сразу на пишущей машинке, до первой описки, после чего лист выбрасывается и вкладывается чистый, и придя в отчаяние, растеряв уже приобретенный, пусть скромный, но прочный литературный навык, Вы запустили в стену своей старой, купленной по случаю, с канцелярской развернутой кареткой пишущей машинкой

«Башкирия». По счастью, машинка выдержала (треснула стена), ибо принадлежала к той выносливой, на века продукции, что и незабвенный автомобиль «Победа», которому нипочем было бы и лобовое столкновение с супертанком «Тигр».

Машинка уцелела, и Вы вернулись к своему привычному делу: выбивать крепкими пальцами, с вьевшейся под ногти рабочей чернотой, короткие фразы, собирающиеся в короткий рассказ.

Тогда, в Петрозаводске, Вы спросили меня – допустимо ли работать Вашим методом. Я сказал, что знаю нескольких писателей, которые сразу печатают на машинке, но никогда не слышал, чтобы при описке, ошибке, недовольстве словом выбрасывали целый лист, обычно ненужное слово либо стирают резинкой, либо забивают буквой. Вы озадачились, и я поспешил добавить, что никаких рецептов не существует, каждый волен работать, как ему вздумается. Я, например, пишу от руки весь текст рассказа, повести, очерка и т. д., потом перепечатаваю сам – каждую страницу минимум дважды, после этого еще раз правлю и лишь тогда отдаю машинистке. Ваш метод смущает меня лишь чудовищным перерасходом бумаги. Человеку, все детство собиравшему бумагоутиль, такая расточительность кажется преступной. Быть может, на Вас влияет соседство – бок о бок – с одним из крупнейших в стране бумажных комбинатов?..

Нельзя не сказать, что есть и другая точка зрения на чисто технический, казалось бы, вопрос литературного производства. Однажды (это было очень давно, вскоре после войны) А. Т. Твардовский увидел у меня на письменном столе открытую пишущую машинку. «Вы что – сразу шлепаете на машинке свои сочинения?» – спросил он с незнакомо брезгливым выражением. Я объяснил, что сперва пишу от руки, затем перепечатаваю. «Ну, то-то! – сказал он с облегчением. – Значит, еще есть надежда». Когда пишешь карандашом или ручкой, каждое слово чувствуешь на ощупь, словно лепишь его. Машинка такого ощущения, разумеется, не дает. Но – вольному воля.

Мы встретились с Вами в Карелии в счастливый час: только что, почти одновременно, два издательства: местное и московское – утвердили в плане Ваши сборники рассказов – разные по содержанию. О подобном может лишь мечтать молодой автор. Это не просто – лед тронулся, это – пошел, пошел всем расколовшимся на

льдины полем. Так шел в пору моего детства можайский лед. Почему именно можайский лед так мощно и торжественно шел – до сих пор не знаю. Но волнующая весть: «Можайский лед пошел!» – выметывала всех жильцов нашей огромной коммунальной квартиры за дверь и гнала под крутой уклон Старосадского переулка к Яузским воротам, а оттуда на Москворецкую набережную – против МОСГЭСа. По дегтярной воде, сшибаясь, обкрашивая друг дружку углы и края, неслись громадные льдины, иные со следами санных полозьев, в желтых пробоинах лошадиной мочи, в кучках навоза, над которыми трудились воробьи, неслись неведомо куда, спешили, и вся толпа на берегу бурлила радостью. Теперь я понимаю, откуда эта радость: коли тронулся толстый, теплоустойчивый можайский лед, значит, и впрямь наступила весна.

Итак, пошел можайский лед. И невольно вспоминалось, чего это стоило Вам, да и мне отчасти...

Здесь, Борис, потребуется небольшое отступление, поскольку мое письмо адресуется, конечно же, не только Вам, но и другим молодым писателям, иначе для чего было бы публиковать его на страницах «Литературной учебы». Вопросы, беспокоящие Вас, занимают и других начинающих – пусть в разной степени и с разной акцентировкой. Когда-то в той же «Литературной учебе» я вызывал к молодым авторам: «Не торопитесь в писатели». Нет ли противоречия между этим призывом и науськиванием Вас на печатание? Нет, ибо это разные вещи – ранняя литературная профессионализация и выход к читателям. Первое грозило мне самому: я рано, не изведав вкуса жизни, начал писать и рано начал печататься; мне не было девятнадцати, когда я получил свой первый гонорар (рассказ, правда, зарубили в стадии верстки), и двадцати, когда другой рассказ появился в «Огоньке». На следующий год у меня уже приняли в «Советском писателе» сборник рассказов – не увидел света из-за войны; в канун двадцатидвухлетия – я был тогда на Волховском фронте – меня заочно приняли в Союз писателей, опередив выход первой книжки «Человек с фронта». Лишь война сняла дурные последствия этой скороспелости. Заветный писательский билет в гладком шоколадном кожаном переплете я получил после Волховского и Воронежского фронтов, контузии, госпиталя, медлен-

ного и неполного выздоровления. А получив, не засел в нижнем буфете ЦДЛ (тогда его просто не было), как это водится сейчас: с наращиванием маститости идет постепенное вознесение в готический зал – через кофейню, пивную и бар. Я вернулся на фронт, правда, не политработником, а военным корреспондентом. После войны я занимался журналистикой, разъезжал по стране, больше по весям, нежели городам, лишь в середине 50-х стал вести жизнь профессионального литератора, официально это называется «работать по договорам с издательствами».

Две книги – это почти неминуемое членство в Союзе писателей. И я не случайно спросил, как представляете Вы себе будущее, когда «свершится величие» – по выражению одного ныне покойного писателя, и Вы сожмете в пальцах краснокожий, нового образца, членский билет СП. «Буду и дальше жить на два фронта, пока силенок хватит. Мне ведь нравится на бульдозере», – без промедления последовал ответ. «Не переберетесь в Петрозаводск?» – «А зачем?» – удивленно блеснул глаз. За годы нашего знакомства я убедился, что Вы не бросаете слов на ветер. В Петрозаводске живут Ваши родители, брат, сестра, никто бы не обвинил Вас в измене Кондопоге, и все же хорошо, что Вы не собираетесь – в ближайшее, по крайней мере, время – расставаться с этим трудовым и растущим городом.

Мне вспомнилось, что года три назад Вы пробовали толкнуться в Литературный институт имени Горького и отскочили от его дверей. Вы хорошо прошли по творчеству, но завалили иностранный язык (можно подумать, что Литвуз готовит переводчиков с немецкого!). «Ну а как же с культурой?» – спросил я. «Вопрос не снят с повестки дня. В институт мне уже поздно, да и смешно – хорош студент с двумя ребятишками! А вот поучиться на Высших литературных курсах – хотелось бы. Ведь я не знаю ни черта, даже читаю мало. А когда читать-то?.. Но мне хочется стать не членом СП, а писателем. Без культуры сейчас – какой писатель?.. Это не вопрос ближайшего будущего, но он передо мной обязательно встанет». Это хорошо и справедливо.

Но вернемся к вопросу о профессионализации. Не стоит рано становиться литературным профессионалом, надо жить, работать, узнавать людей, самому испытывать радость и боль, наращивать

мускулы души, а не превращаться во внешнего наблюдателя мимо текущего бытия. Лишь нахлебавшись жизни, можно прочно прикипеть к письменному столу, не раньше. Тут и доказательства излишни: не дает плодов то дерево, которое не цвело весной. Душевный опыт копится на ветру жизни. Писать надо каждый день, чем бы ты ни занимался, но после работы, после жизни. И, относясь с полным уважением к Вашему, Борис, обычаю: ежевечерне, как бы ни наломался, садиться за старую пишущую машинку, – я не считаю, что это чрезмерный подвиг. А как в дни войны писал на фронте К. Симонов – не только оперативные очерки, но и стихи, и прозу, – прислонившись спиной к глиняной стенке окопа, содрогавшейся от близких разрывов! Помню, под Спасской Полистью, после боя местного значения, когда немецкие танки, за которыми шли автоматчики, прорвались к нашему полковому НП и чудом не отутюжили его гусеницами – в последнее мгновение правый сосед отсек автоматчиков, и танки сразу повернули назад, – Петр Далецкий, ныне покойный, спрятав наган в кобуру и подложив под блокнот командирскую сумку, сел писать роман с того места, на каком остановился до боя. Помню, как писал стихи Павел Шубин, когда бомбили Малую Вишеру, особенно доставалось станции и путям, на которых стоял поезд-типография «Фронтowej правды», а поэт лишь досадливо морщился на помехи. Коли они так могли, то почему бы не поработать и после бульдозера?

Нет ничего ценнее высокого профессионализма. И возражаю я лишь против ранней профессионализации, плохо, если литература до срока становится единственным занятием в жизни. Но приходит время, когда она должна, обязана стать всем, всей жизнью, всей любовью, когда она ни с чем не станет делиться. Но в свой час.

Другое дело – печатание. Есть такая ханжеская точка зрения, будто раннее печатание развращает. К чему, мол, раньше времени идти на суд людской. Но кто может сказать, когда «рано» и когда «не рано»? И дело не только в том, что одни писатели созревают раньше, другие позже, что ранние вещи могут оказаться лучше созданных в пору душевной зрелости, но литература – это разговор с людьми, иначе в ней нет никакого смысла, иначе она уродлива, как любовь без партнера.

Конечно, творчество – это самовыражение. Но самовыражение – не самоцель, а способ выхода к людям, установления контактов с окружающими, с миром, иначе зачем нужно свои мысли и чувства, муки, искания, сомнения, обретения — подлинные и мнимые, все скрытно творящееся внутри предавать бумаге, объективизировать, ведь это можно переварить в себе самом. Писатель невозможен без читателя, как театр без зрителя, музыкант без слушателя и т. д. Любый художник может долго творить в одиночестве – в силу внешних обстоятельств, или в силу повышенной требовательности к себе, или в силу робости, нерешительности, или в результате неприятия его творчества современниками, но в глубине души он всегда мечтает об аудитории, о выходе своего искусства к людям. Иной тешит себя надеждой, что его оценят потомки, но не было, нет и не будет такого, если он не безумец, не маньяк, который согласился бы творить в пустоту. Иные художники готовы ничего не получать за свой труд, другие согласны ограничиваться узким кругом ценителей, но, повторяю, выход «на народ» необходим всем. Даже величайшие из творцов страдали, если их искусство оставалось неизвестным или непонятым (что то же самое) современниками, и никакая высота души не спасала от этих мук.

Нет беды в ранних публикациях. Но позвольте, слышу я возражение, зачем выходить со слабыми, несовершенными произведениями? Вопрос, лишенный смысла. Все профессионалы искусства только этим и занимаются. Если взять критерием совершенство, то кто вообще останется? Гомер, Данте, Петрарка, Шекспир... Стоп! По мнению Л. Толстого, творчество Шекспира не только не совершенно, но нелепо и безобразно. Так что оставим этот критерий. Возьмем за образец зрелость. Останутся классики. Но путь в классики ведет порой сквозь обескураживающую незрелость. Вспомним «Ганса Кюхелгартена», которым начал свой путь великий Гоголь. И может быть, необходим был этот провал, чтобы сразу шагнуть к «Вечерам на хуторе близ Диканьки»? Юный Пушкин был в плену у Байрона, но, не изживи он свой байронизм в «Цыганах», «Кавказском пленнике», не было бы «Медного всадника» и «Капитанской дочки». А Лесков, продиравшийся к своим волшебным сказам сквозь дремучую чашу «отомщевательных» романов?..

Что касается силы и слабости произведений искусства, то эти категории настолько условны, спорны, что не стоит о них говорить. Достаточно вспомнить, что Сезанн почти всю жизнь казался слабым, неодаренным художником не только обывателям, но и своему многомудрому другу Эмилю Золя; что Марселя Пруста, творца новой прозы, сочувствующий и помогавший ему Анатолий Франс считал слабаком и дилетантом и даже не удосужился прочесть «В сторону Свана». «Жизнь так коротка, а Марсель Пруст так длинен», — отшучивался Франс...

Писатель формируется на глазах у читателей, в этом нет ничего ззорного. В переносном смысле слова человек искусства «одевается» на глазах всего света. Никого не удивляет, что выставляются юные художники — ученики академии, школ и мастерских, так заведено спокон века; устраиваются конкурсы юных музыкантов, почему же писатель должен дозревать где-то в неизвестности и одиночестве, в подполье, прежде чем выйти на свет Божий? Это противоестественно. Да он скорее сгниет, чем дозреет, без человеческого внимания. Он закоснеет в своих ошибках, заблуждениях, или преисполнится преувеличенно высокого мнения о себе — удел графоманов, или потеряет всякую веру в себя. Это будет кривое, уродливое растение, вроде тех северных берез, что не могут набрать ни росту, ни прямизны, ни пышной кроны по отсутствию тепла, внимания солнца. Конечно, бывают исключения, но не о них речь. И я приветствую, Борис, Ваше яростное стремление публиковать свои рассказы, тем более что оно не идет в ущерб производительности.

Приходится то и дело делать оговорки, ибо не существует науки о воспитании писателя, и каждое, даже самое невинное и вроде бы бесспорное утверждение можно в два счета опровергнуть, особенно если не искать истину, а тешиться фокусами формальной логики. Подведем итоги: каждый, вступивший на путь литературы, сам определяет для себя, когда ему начинать печататься, это дело его разума, чувства и совести. Все предназначенное к печати и причастное литературе имеет право быть опубликованным. А уж там видно будет, чего оно стоит. Выводы из читательского отношения к своему произведению будет делать сам пишущий. Опять необходи-

ма оговорка: и читательское мнение – не бесспорно, не окончательно, оно может быть пересмотрено в пределах одного поколения, и нет ничего важнее мнения тех, кому ты несешь – доверчиво и бесстыдно – плод своих мук. Реже всего ошибаются, что ни говори, читатели. И судят они шире, щедрее, свободнее, доброжелательнее и умнее, нежели профессиональные критики, рецензенты.

Вы не произвели на меня впечатления человека, испытывающего «глубокое удовлетворение» от мало ожидаемой улыбки судьбы, Вы скорее походили на путника, хоть и наломанного долгой дорогой, но пренебрегшего привалом и упрямо стремящегося дальше вверх, по каменистой тропе. И тени успокоенности не заметил я, похоже, Вы даже дыхания не перевели. И по-прежнему Вас мучает: можно ли так писать, как Вам упрямо пишется, настоящие ли это рассказы, или правы многочисленные советчики, что рассказ начинается где-то в пределах восемнадцати страниц и пишется длинными фразами. Долгопись, идущая от пристального наблюдения жизни, заслуживает всяческого уважения, но такое письмо должно быть органически свойственно автору, вытекать из всей его физиологии, устройства хрусталика глаза, ушного аппарата, нюхала, их повышенной восприимчивости, да и всего мироощущения, а не навязана со стороны как некий хороший литературный тон. В этом случае добротная описательная манера при всей своей внешней солидности, густоте, насыщенности будет лишена какой-либо познавательности и художественной ценности, ибо окажется лишь пародией на углубленное раскрытие сути вещей и явлений. Если человек может писать короче, лаконичнее, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, то на здоровье! Краткость все-таки предпочтительнее долгописи, ну хотя бы потому, что бережет время читателя, – ведь жизнь так коротка, да и нет в сдержанной, суховатой прозе шаманства, она честнее.

И все же вопрос о лаконизме, простоте не так очевиден, как представляется на первый взгляд. И я отнюдь не принадлежу ни по собственной литературной практике, ни по убеждениям к тем писателям, которые считают краткость – каноном. Таким писателем был Михаил Михайлович Зощенко. Он поклонялся пушкинской прозе и считал ее единственным образцом, достойным подражания. В грехе многоре-

чивости он видел источник всякого литературного зла: неясности или затуманенности смысла, фальши, позерства, самолюбования, замаскированной красивыми мнимостями пустоты, и пр., пр. Я говорю о том, что слышал от него сам, когда за год до его смерти испытал короткую радость общения с ним и удостоился известного доверия этого замечательного писателя и человека.

Зощенко не обратил меня в свою веру. Мне думается, что каждый писатель обладает своим собственным лаконизмом. Мне представляется лаконичным Марсель Пруст с его чудовищными, неохватными периодами, ибо там не бывает лишнего, ненужного слова, все необходимо, все работает на смысл. Но бывает, что лаконичная проза иных современных авторов кажется растянутой и болтливой, ибо в ней все не туда, все мимо цели.

М. М. Зощенко овладел пушкинским лаконизмом, хотя использовал его по-своему, его рассказы совершенны. Но совершенны и рассказы Жана Жироду в сборнике «Школа равнодушных», написанные в «антипушкинской» манере – цветасто, избыточно, пышно, даже вычурно, но при этом абсолютно точно, в полном соответствии с намерениями и целями автора и дающие высокую художественную радость. Таким образом, лаконизм сам по себе не может быть достоинством, а велеречие – недостатком. Все зависит от того, достигнута ли художественная цель или нет. Писатель (независимо от размеров дарования) сам определяет, сколько ему надо слов, обязательно лишь одно: органичность стиля – не могу иначе, и все тут! В этом решающем смысле у Вас, Борис, все в порядке: Вы действительно не можете иначе, и не надо Вас заставлять.

Я вовсе не призываю к лаконизму ради лаконизма и простоте ради простоты. Прекрасно, когда проза может быть краткой, сжатой, четкой и выразительной, как надпись на камне, да не всем это дано, но коли уж дано, так радуйся, держись за дарованное тебе счастливое свойство и ни в коем разе не давай сбить себя на многословие. А если не дано, будь верен своему собственному лаконизму: трать на мысль столько слов, сколько тебе надо – пусть и очень много, – но не пытайся прикрыть словообилием пустоту, вот с этим надо решительно бороться. А такая опасность может грозить и тем, кто умеет коротко писать.

Вообще я склонен думать, что в ближайшее время короткий чеховский рассказ если и не возьмет решительно верх над описательным рассказом, то добьется равного с ним признания. В искусстве постоянно происходит обновление форм, стилей, манер, порой полное, порой частичное, последнее – значительно чаще. У нас надолго забыли о чеховском рассказе: действенном, сильном деталью, скупом на описание. Рассказ, царивший все последнее время, развивал и утрировал скорее бунинскую линию, где упор делается на подробное описание, нет ни малейшего стремления выразить общее через деталь, один яркий штрих, сюжет в пренебрежении, много пейзажа и чувство преобладает над мыслью.

Мне бы не хотелось, Борис, чтобы мои заклинания оставались в своем образе породили у Вас обманчивое представление, будто Вы действительно открыли новую, неведомую в литературе форму малой прозы. Вас упрекнули однажды в подражании Хемингуэю, о котором тогда, на заре литературной юности, Вы даже не слышали. У Хемингуэя среди не переведенного на русский язык есть рассказы (сборник «Смерть после полудня») в одну-две страницы, порой сплошь из диалогов, описательная часть сведена практически к нулю. В этой же манере работаете и Вы, при этом, несмотря на внешнее сходство, у Вас – все другое. Речь идет не только о литературном качестве, которое у Вас, естественно, ниже, но о звучании, интонации, жизненном наполнении, всей идейно-художественной сути. Коротенькие рассказы писал замечательный французский писатель Шарль Луи Филипп, о котором Вы наверняка не знаете, – его переводили у нас до войны. Шарль Луи Филипп пишет так: подлежащее – сказуемое, короткий, предельно немногословный диалог – вот и вся новелла, полная терпкого вкуса жизни, изящества и печали. И советский писатель 30-х годов – одаренный Кауричев был верен миниатюре, и ныне действующий Василий Субботин. При желании список можно и увеличить. Так что Вы не изобретатель новой литературной формы, хотя сами нашли ее, без подсказки со стороны, а может, это она нашла Вас, кто знает, как все происходит в таинственном мире творчества. Во всяком случае, форма миниатюры, предельно сжатого рассказа органически близка Вам. Но не держитесь за нее искусственно, лишь потому, что она Вам подда-

ется. В литературе и вообще не следует цепляться за то, чем прочно владеешь. Когда-то А. Твардовский советовал мне сокращаться по части пейзажа. Было это после того, как он напечатал «Зимний дуб» – рассказ пейзажный и сразу получивший признание. У Вас, кстати, пейзажа почти нет, и Бог с ним, перекормлен пейзажем наш читатель, ему бы натюрморта побольше. Равно не слушайте Вы советов рецензентов, что не хватает внешности Ваших героев. Я, например, всегда знаю, как они выглядят, хотя Вы действительно крайне скупы на приметы внешности. Но то, чего мало для всесоюзного розыска, вполне достаточно для литературы. Если писатель отчетливо видит своего героя, он невольно заставляет его так себя вести, так двигаться, так говорить и даже так молчать, что читатель сам дорисует его облик. В этом магия настоящей литературы.

У Вас есть рассказы – их уже порядочно набралось, – где ни убавить, ни прибавить, каждое слово на месте и каждое нужно. Наверное, закономерно неудачи подстерегают Вас там, где Вы пытаетесь идти вширь, а не вглубь. Литература – это та область человеческой деятельности, где количество не переходит в качество. Но случаются у Вас срывы и на главном направлении – в коротком рассказе. Это неизбежно, ничего страшного тут нет. Ни один писатель в мире не удерживался постоянно на уровне своих высших достижений.

Даже у таких несравненных мастеров, как Чехов и Бунин, есть рассказы сильнее и слабее. У молодого писателя колебание уровня – в порядке вещей. Но в том роде литературы, который избрали Вы, проколы особенно заметны. В большом, густо написанном рассказе, а уж в повести подавно, можно вылезти за счет хорошего, игристого слова: звучная музыка прикроет – пусть частично – нищету или скудость содержания. В Вашей обнаженной, сквозной, как березняк без подсадки, прозе все на виду, и если нет сильной мысли, сильного чувства, словом, настоящего содержания, то рассказ не стоит и копейки. Он пуст и гол. Самоконтроль особенно нужен Вам на стадии замысла, внутреннего формирования рассказа; не следует поддаваться самообману обещающего, но туманного, смутного замысла, а убедиться серьезным размышлением в его значительности, ценности. У Вас слишком трудоемкий способ писать, чтобы растрачивать его на недодуманное, не ставшее в душе

неотвратимым велением. А между тем я порой чувствовал, что тот или иной рассказ Вы могли бы и не писать. Все же, положив руку на сердце, лучше писать в корзину, чем поджидать озарения свыше. Ведь и насчет озарения можно промахнуться. Писать надо каждый день, я уже говорил об этом и никогда не устану повторять. Оставим вдохновение для поэтов, мы, прозаики, — люди серьезные, наш удел — каждодневный изнурительный труд.

Вы расспрашивали меня о писательском режиме. Выше я сказал то, в чем до конца убежден. Все остальное — от лукавого. Ваше бытие организовано профессией. Это, конечно, мешает писательскому труду, отбирает силы, но одновременно помогает выстроить день. Знаете, как трудно распорядиться временем, когда оно все принадлежит Вам? Вот тут-то и начинают лететь впустую часы, дни, недели. Кажется, что времени так много и не беда, если пропадет один-другой рабочий день. Тут требуется колоссальная внутренняя дисциплина, не всем доступное насилие над собой. Знаменитый итальянский драматург Альфиери привязывал себя к креслу, чтобы оставаться за письменным столом, а не упорхнуть к знакомой даме. Наши молодые прозаики не столь склонны к галантным похождениям, но их чуткое ухо и в бесконечной дали улавливает вакхическую песнь, и тут надо не привязывать, а приковывать себя к рабочему месту.

Пребывание в какой-то профессии благотворно для молодого писателя не только тем, что оно держит личность в сборе, заставляет дорожить каждой свободной минутой для творчества, — профессия формирует отношение к миру, людям, делает твердые мировоззренческие устои, четкое отношение к окружающему. Вас упрекали, что Вы мало используете в рассказах опыт собственной трудовой жизни. У Вас, если мне не изменяет память, бульдозер грохочет всего в двух или трех рассказах. Есть писатели, которые, придя в литературу из какой-нибудь профессии, замучивают до полного изнеможения материал своей производственной деятельности, но создают литературу спекулятивную по духу. А вот мелиоратор и электрик Андрей Платонов не так уж много произведений посвятил напрямую той работе, которую делал с выдающимся успехом, хотя такие произведения — высокоталантливые и значительные — у него

есть, но подспудно инженерский опыт пронизывает все написанное Платоновым, определяя его отношение к духовным и материальным ценностям жизни, к природе и технике, к положению человека между этими основными началами современного бытия. Вот что должна дать Вам рабочая профессия, а не рассказы о трудовых подвигах на бульдозере.

Недавно, отвечая обстоятельно и с запалом на анкету «Литературной России» о положении дел в запущенном новеллистическом хозяйстве нашей литературы, Виктор Астафьев обрушился на молодых писателей, толкающих в редакции не рассказы, а этюды. Причем слово «этюд» В. Астафьев произносит с подчеркнутым презрением. Привыкнув серьезно относиться к тому, что пишет Астафьев, а равно и прикидывать к Вашей литературной практике все, что говорят о молодых рассказчиках, я несколько всполошился. Мне подумалось, хотя оснований для этого нет, что, обрушиваясь на «этюдистов», он метит в Вас. При желании многие Ваши рассказы можно счесть этюдами, хотя сам я так не считаю, по-моему, это законченные произведения, каждая миниатюра – цельный, заверченный в себе микромир. Но так ли уж убийственно само слово «этюд»? Это первоначальный набросок с натуры произведения или его части. До чего же все непросто в искусстве! Нередко первоначальные наброски не только обретают самостоятельное значение, но и превосходят законченную картину. Самый знаменитый – и трагический – пример: полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Этюды, которые он делал в Италии – пейзажные и портретные, – создали ему по справедливости славу великого художника, а законченное полотно, при всем мастерстве и высоких намерениях, разочаровало. И дело не только в том, что не удалось главное – фигура приближающегося к толпе из глубины пейзажа Спасителя (она не стала эмоциональным центром картины), что не выстроилась композиция, но и фигуры переднего плана странно одеревенели, а лица утратили ту жизненность, которая чаровала в набросках, и все огромное полотно, стоившее художнику чуть не целой жизни, оказалось малоодухотворенным. А. Иванов понимал это и мучительно переживал неудачу. Вот так бывает с этюдами и законченными произведениями. Кстати, слово «этюд» вполне приложимо к ряду рассказов Чехова; писал этюды

и Пришвин, а пейзажные зарисовки Юрия Куранова – разве это не настоящая литература? Было бы талантливо, искрилось бы жизнью, несло бы печать личности, остальное – не столь важно.

Наверное, хорошо и правильно, когда молодые выбирают груз себе по плечу, хуже – когда они сразу хватаются за роман. Все равно получится непропеченное тесто: сырое, тяжелое, трудно переваримое. Но, положив руку на сердце, я совпадаю с В. Астафьевым в главном: лишь произведение, обладающее завершенной формой, дает полное удовлетворение художнику. Тогда оно отделяется от своего создателя для самостоятельной жизни, и ты становишься подобен Творцу. Это – не в назидание Вам, Борис, ибо Вы, как правило, стремитесь к завершенной форме.

Забрасывая меня вопросами о режиме писательского бытия, Вы спросили о том, что наверняка вызовет ухмылку, хотя тут не веселиться, а плакать надо бы: как прозаик должен относиться к спиртному?

Великую русскую литературу создали трезвые люди. Пили лишь полуталанты, несчастные, деклассированные люди, вроде Левитова. Это распространяется и на мировую литературу. Из больших писателей пил всерьез один Ганс Фаллада; кошмар владевшего им порока он описал в душераздирающем романе «Пьяница» и покончил самоубийством. Присватанный Вам в учителя Хемингуэй, так много сделавший для того, чтобы его считали пьяницей, мог бы у нас возглавить общество трезвости. В своих автобиографических произведениях он глушит виски стаканами. Но «стакан виски» вмещает всего тридцать пять граммов алкогольного напитка, остальное – вода и лед. Сверхдоза загулявшего Папы Хема – это наши двести – двести пятьдесят граммов. Помните, пьянство – конец всему. Время, когда прозаик мог как-то существовать в литературе и даже сделать имя на одном нутре, подобно Левитову, минуло безвозвратно. Сегодняшняя проза требует не только таланта, жизненного опыта, но и мыслящего разума, и культуры. Завтрашняя литература, в которой Вам жить, потребует еще больших усилий мысли и растворения в культуре. В литературе ближайшего будущего чисто «нутряному» прозаику нечего будет делать.

И последнее – насчет того, что Вы мало читаете. Я не уверен, что писателю надо читать чересчур много, такая всеядность скорее

вредит, чем помогает пишущему человеку. Это — для заведовавших барышень, чтобы заполнить пустоту. Читать надо с отбором, можно обойтись сравнительно небольшим количеством первоклассных книг, но читать их не глазами, а сердцем и серым веществом мозга.

В Пушкинском доме в Ленинграде хранится альбом одного гимназиста, куда И. А. Гончаров написал свои соображения о том, как и что читать. Я не помню дословно его рекомендаций, но примерно это выглядит так: в детстве не возбраняется читать книжки для детей, в расцвете дней лучше ничего не читать, а просто жить, в пору житейского становления надо читать деловые бумаги, в поздней зрелости можно прочесть несколько самых необходимых книг, с наступлением старости читать только Священное писание, в одряхлении вернуться к детским книжкам, в близости исхода опять ничего не читать, лишь вспоминать прочитанное прежде. При внешней шутовскости этих советов тут есть серьезная, важная мысль: пустое занятие — читать для развлечения, для заполнения времени, лучше меньше — да глубже. На этом я кончаю свое письмо.

(Не чужое ремесло. Москва. «Современник». 1983)

ОТЦЫ И ДЕТИ*

(история любви-ненависти)

Я... его ученик.
Я ему обязан моим перерождением...
(И. С. Тургенев. *Отцы и дети*)

Запомни: литературу почти никто не любит
и никто, за редким исключением, не понимает...
(Из письма Юрия Нагибина Борису Кравченко)

Человек Нагибина?

1

Рассказы молодого прозаика Бориса Кравченко возвращали автору как местные, так и московские издания с одним приговором: «этюдная болезнь». Да, на первый взгляд, инструментарий начинающего писателя был скуден: подлежащее, сказуемое, диалог – вот, пожалуй, и все. Борис считал, что «фраза должна быть равна мысли», и это был тот закон, который он устанавливал для себя, но молодого прозаика судили по другим, чужим законам. И вдруг – Нагибин и его, признанного мастера новеллистики, мета: «Это настоящая литература...»:

«В лицо пахло влажной прохладой и запахом цветущей сирени. И он вспомнил. Вспомнил сразу. В ушах вновь зазвучала тихая печальная мелодия, и перед мысленным взором предстала юная девушка, которую он когда-то любил и которая любила его. Он не женился на ней только потому, что она была хроменькой.

Вспомнил теплый летний вечер и их двоих, рядышком сидящих на берегу узкой тихой речки. Вспомнил имя: Шура, Шурочка Петухова. Вспомнил волосы любимой – пушистые, пахнущие сиренью, ее губы – они тоже пахли сиренью...

* Печатается в сокращении.

И грустный голос:

– Ты знаешь, я так люблю эту мелодию...

Ее лицо, такое печальное, и слова:

– Не надо меня целовать... Мне так хочется плакать...»

Как случилось, что мэтр, которому со всей страны приходили сотни рукописей и которые вряд ли он читал, из всей горы выхватил именно рассказ Кравченко, остается загадкой за семью печатями. Молодой писатель, естественно, был бесконечно благодарен Нагибину и считал его своим крестным отцом в литературе. Вот как он вспоминал первую очную встречу с мэтром:

– ...Пришел в Дом литераторов, как условились, он в углу сидит, за столиком, я его сразу узнал. По телевизору показывают – вроде мощный такой, а на самом деле – маленький, только голова большая. Подзывает меня кивком, приглашает за стол. Я: так, мол, и так, денег у меня на рестораны нет. Он отмахнулся, взял вина, шампиньоны в горшочках, икры черной. Я смотрю, как он ест, и стараюсь так же. А он икру отодвинул, не притронувшись. И тут я не выдержал: «Как икру едят?» – спрашиваю. Он говорит: «За границей ее уписывают ложками...» Ну, я и стал уписывать ложкой...

Да, Борис умел сочинять рассказы про некоего провинциала, впервые приехавшего в столицу и прикинувшемуся на всякий случай наивнячком, Ваней-простотой: сирому да убогому каждый ведь рад помочь.

– ...Я ему и скажи: «Вот вы говорите, нравятся вам мои рассказы, а вы помогите опубликоваться...» Он: «Шанс есть, попробуем...» Поехали на другой день в Союз писателей, подходим там к одной даме. Он ей: «Нужно сделать этому парню вызов на совещание. Если его не будет, то и я не буду вести семинар...» С этого совещания и началось... Я вошел тогда в десятку лучших....

Но помнится и другое – искреннее недоумение Бориса, с каким он показывал публикацию Нагибина о себе в «Литучебе». Слова «*С въевшейся под ногти рабочей чернотой*» – задели его до глубины души. Он тут же стал разглядывать свои руки: они были небольшие, красивой формы, с аккуратными крепкими пальцами и тщательно обработанными ногтями (будучи человеком исключи-

тельной физической опрятности, с благоговением относясь к писательскому ремеслу, он не мог бы позволить себе с «чернотой» садиться за машинку).

Я тогда пыталась объяснить и себе, и Борису, что этой «деталью» мэтр, возможно, на подсознательном уровне пытался вызвать сострадание к рабочему парню, который к тому же и «пишет», то есть занимается чем-то из ряда вон выходящим для «человека от сохи». Борис, покусывая нижнюю губу, усмехался, и было ясно, что он себя за «простого», «нутрянного» не считает и готов с ними, «господами», поспорить. «Три дня в пути» – этот всего трехстраничный рассказ, который впоследствии мэтр назовет «шедевром», – придавал ему уверенность в себе.

«Они ехали третьи сутки. «Айкон, – сказал непослушным от долгого молчания голосом тот, что сидел позади. – Бывает, что люди твоего племени убивают своих?..»

2

В то время мы задумали совместную книгу – что-то вроде диалога мужчины и женщины, игра в «Он» и «Она». Принесли заявку в издательство, но тогда больше в цене была производственная тема, и сочувствующая нам редактор посоветовала обратиться за напутствием к Нагибину. Борис, подумав, сказал: «Не стоит. Лучше к Воронину*... Он, как и мы, из простых, а Нагибин – аристократ...»

Вот так я узнала, что при всем почитании Нагибина и гордости этим знакомством Борис любит больше Сергея Воронина, в человеческом плане ощущает его более близким себе, а Нагибина внутренне опасается, считает чужаком.

* Воронин Сергей Алексеевич – русский советский писатель, родился в 1913 году в Ярославской обл. В 1931 г. окончил школу ФЗУ в Ленинграде. После окончания Горного института работал в изыскательских партиях. В 1945–1947 гг. был литсотрудником газеты «Смена», позднее – заведующим корреспондентским пунктом «Литературной газеты» в Ленинграде. С 1957 г. – главный редактор журнала «Нева». Автор более шестидесяти книг, признанный мастер малой формы – рассказа. В 1979 г. на VII Всесоюзном совещании молодых писателей С. А. Воронин руководил семинаром, участником которого был и Б. Кравченко, позже поддерживал с ним переписку. *Прим. авт.*

К стыду своему, я тогда ничего из Воронина не читала. А прочитав, навсегда была покорена страстной, емкой фразой мастера, его наполненным энергией, напряжением скрытой драмы диалогом. Поняла, откуда эти вечные вопросы Бориса, которые он пытался разрешить в своих рассказах: «Почему на любовь не отвечают любовью?», «Почему «уважаю», а не «люблю»?», «Почему жениться на любимой – значит потерять любовь?» На одной из страниц романа Воронина «Две жизни» пахло «Забытым теплом»* Бориса Кравченко. Героя романа, геолога-изыскателя, тревожил тот же вопрос, что и Бориса: зачем искусство и литература человеку?

«...Если рабочие построили зимовку, то я хочу, чтоб в ней было тепло. Того же я хочу и от литературы. Тепла моему сердцу...»

Да, Мастер благословил бы нас, тоска по единственной, потерянной когда-то любви – это была и его тема. Но после «Чигирь-кандры», «Сорок девятого километра», «Вдали от тайги» и особенно «На трассе бросового хода» просить рекомендацию было невозможно: не вызрели наши рассказы, да, кажется, и мы сами. Вроде бы о том же самом писали, а средств не хватало – пунктирно, скудно, зажато... Не удавалось в маленьком рассказе передать трагедию большого чувства, как это умел Воронин. А может, нам не дано было так любить и так переживать, как писатель? Не дана эта мощнейшая энергетика, эта твердость и крепость характера, которые он передает и своим героям?

Обаяние языка, стиля мастера, его правды, в которую верилось безоговорочно, было так велико, что я где-то раскаялась в своем «потайном» восторженном письме Нагибину по поводу его «Терпения», опубликованном в одном из журналов-толстушек. Я не прочитала тогда, а залпом, со слезами на глазах проглотила эту повесть, где узнавала то, чему и сама была свидетелем, что застала на Богояре-Валааме: интернат для престарелых, безногого, отталкивающегося от земли деревянными утюжками... Хотя нет-нет да и возникало ощущение фальшивой нотки (особенно в отношениях «отцов и детей»), но я старалась этого не замечать. Главное для меня было – он, инвалид, его история, его судьба, то, что он смотрит на

* «Забытое тепло» – первая книга рассказов Бориса Кравченко (Петрозаводск, «Карелия», 1981).

мир не на уровне моих ста шестидесяти четырех сантиметров, а на уровне своих шестидесяти...

Наверное, если бы не Воронин, я не осмелилась бы откровенно высказаться и о рассказах Бориса. В ответ слышала: «Кто ты такая, чтобы... Да ты...» – и вошедший в «десятку лучших» четко обозначил мою роль в нашем тандеме: «Ты, там, запятые расставь, где надо... И насчет грамматики...» (за плечами у Бориса была всего лишь вечерняя школа и ПТУ).

Ответить в том же духе у меня не получалось – голоса не хватало, но я решила прекратить наши в общем-то поверхностные, как мне казалось тогда, отношения. Борис моего молчания не понял: «Ты чего, а? Ну подумаешь, слово сказал... Так ведь не со зла же...»

Он на удивление был похож на моего прежде времени ушедшего брата – и этой вспыльчивостью, резкостью суждений и быстрой отходчивостью, сострадательностью. А еще стремлением во всем дойти до сути, детской верой в возможность какой-то высшей справедливости... «Брат» – потому и простила – и в этот раз, и в другой. Не был бы «брат», возможно, и не возникла бы идея совместной книги.

Кем же в таком случае был Борис для Нагибина, что объединяло их? Ведь разница между ними бросалась в глаза тотчас: в сравнении со своим покровителем Борис был начисто лишен присущего тому лоска и шика человека «высшего света». Он был «мужиком» и в новом костюме, сидевшем на нем мешковато, словно бы не по росту (да ведь и выбора не было: что завезли в местный универмаг, то и ладно), и по этой неприятной для окружающих прямоте рабоче-крестьянского взгляда, и по жидкости культурного слоя. Но больше всего их разводил сам стиль письма:

«Все, кроме шахмат, представлялось соблазнительным, и Алексей Петрович Скворцов прикидывал вслух сравнительные достоинства каждого мероприятия, ероша свои мягкие, но упругие волосы, которые, растрепанные и перепутанные его худыми пальцами, как-то сами разбирались между собой и аккуратно ложились седыми волнами по сторонам прямого пробора на маленькой аристократической голове, когда заметил, что Анна выпала из общения, забыла о его существовании, вступив в тайный и бессмысленный сговор с

ночью и темной маслянистой водой за окном, с которого сдернули занавеску» (Юрий Нагибин. Терпение. Из кн.: Река Гераклита. Рассказы и повесть. М.: Современник, 1984, С. 70).

О стиле Б. Кравченко можно было сказать знаменитой фразой: «прост как правда».

«Вокзал. Лето. В зале ожидания сидят рыбаки. «Жрать охота, – говорит один из них...» (Борис Кравченко. На вокзале. Из кн.: Такая вот история. М.: Молодая гвардия, 1982, С.42).

Для Бориса была важна интонация, звучание первой фразы: чуть сфальшивил – весь рассказ в корзину. Для Нагибина, естественно, – тоже. Но как-то он сделал поразительное для мэтра такого уровня признание, говоря о редакции собственных интервью: «Для меня на первом месте не интонация, а содержание. На Западе такую форму интервью не признают. Беседа должна сохраняться в неприбранном, непричесанном виде, во всей своей первозданности...» (Юрий Нагибин. Время жить. М.: Современник, 1987, С. 396).

Но воистину: противоположности притягиваются. Иначе отчего Нагибин возился с этим в общем-то чужим ему человеком, при своей-то занятости находил время для писем ему, пробивал его рассказы в издательства и журналы... Что, не было других начинающих, которые писали не хуже, а лучше, и даже много лучше Бориса? Конечно же, были. Но мэтр выбрал этого. Кто же их поймет, аристократов? Чтобы добраться «до дна» души хотя бы одного из них, нужно столько соли съесть – и всухую, и «вмокрую»...

Среди тех, кто не понимал «аристократа» и его заинтересованно-го отношения к рабочему парню, был и московский писатель Владимир Крупин:

«В случае с Борисом Кравченко не нужно было, может быть, Юрию Нагибину так сильно хвалить Бориса в «Литературной учебе». Похвала убивает. Молодым полезнее кнут, нежели пряник. Полезнее испытание на выживаемость, нежели режим благопритствования...» («Жил в Кондопоге писатель», С. 31).

Кажется, Крупина раздражало то обстоятельство, что Кравченко делают такой суперзвездой именно потому, что он – буддозерист, что – из глубинки. Не был бы, и шумихи бы не поднимали. Крупин как бы дал понять, что «на этом поле» он не играет: для него

прежде всего важны профессиональные качества, которых молодому прозаику, на его взгляд, пока не доставало. И потому – «кнут».

Но, возможно, эти строки были рождены не только взыскательностью Крупина, а и... элементарной ревностью. В своей второй книге «Такая вот история», вышедшей в Москве в 1982 году, Кравченко после предисловия Владимира Крупина буквально на следующей странице сообщает, что книгу посвящает Юрию Нагибину. А ведь на Всесоюзном совещании молодых писателей одним из руководителей семинара, в котором занимался Борис, был Крупин. Именно его попросил Борис дать «Напутное слово» к московской книжке. Так что с посвящением (не вообще, а именно в данной книге) Кравченко допустил явную промашку. Но он о таких тонкостях писательских взаимоотношений, неписаных литературных законов, по которым после предисловия одного писателя не помещают посвящения другому, тогда не знал, за что и был наказан. Вот что пишет Ю. М. Нагибин в своем дневнике от 15 декабря 1982 г.:

«Получил письмо от Кравченко. Его провалила приемная комиссия в СП РСФСР... Счет: 17 «против», 3 «за» – случай почти небывалый. Как и обычно, почти никто из членов комиссии его не читал, и такой дружный отпор! Конечно, били в меня, за что им ненавидеть жалкого рабочего парня? Какая жестокость, какая низость – вот лицо сегодняшней литературы...»

Чего больше в этих строках – оскорбленного самолюбия или искреннего переживания за своего протеже? Кажется, все-таки первого. Иначе не прозвучало бы это – «жалкого...» И уже в контексте всего сказанного понимаешь: Кравченко стал в какой-то мере разменной монетой в отношениях между столичными мэтрами. В то время ведь еще было модно – из рабочих – в писатели. Тогда писателей еще продолжали по-горьковски «делать»: министерство литературы и по совместительству – идеологии нуждалось в преданных кадрах, желательно с рабоче-крестьянской жилкой. Борис преданности не выказал. Более того: явно показал свою неспособность держать нос по ветру, разбираться в тонкостях закулисы.

Он тяжело переживал провал, а точнее, преподанный «урок», по которому далеко не всегда – «быть» или не «быть» – решал уровень таланта. Чаще решали отношения, связи. Молодой прозаик, как вы-

яснилось, связался не с тем человеком, и именно за это, а вовсе не за «профнепригодность» и получил «отлуп».

Но Борис не желал участвовать в чужих играх, отвечать за чужие сшибки. Не смягчая выражений, а именно так, как передал ему «знакомый писатель», он сообщает в письме мэтру: мол, провалили «из ненависти к вам». А ведь, кажется, мог бы и пощадить своего наставника и покровителя, не посылать эту пилюлю чужой ненависти. Не пощадил. То ли недодумал – помешала «рабоче-крестьянская прямота», то ли обида пересилила: если бы не Нагибин, мог бы быть уже полноправным членом СП, а его турнули, как последнего, у кого ни книжек, ни публикаций.

Масла в огонь подлила реплика все того же Крупина: «Не приняли по первым двум книжечкам в Союз писателей, ну и что? Какая мировая трагедия?» («ЛГ», 1986. 27 мая).

Это уже звучало как откровенная издевка. Особенно насчет «мировой трагедии». И особенно, когда у тебя самого все благополучно – в смысле квартиры, изданий, гонораров, медицинской, материальной и прочей помощи от Литфонда. Ведь ради этой помощи в Союз и вступали, и ничего в том постыдного не было: писателю ведь тоже есть-пить надо. Кравченко этого лишили на неизвестное количество лет, и, значит, прощай новая квартира, прощай свободное творчество, прощай лучшая жизнь семьи! Снова впрягаться в лямку, продолжать существование неимущего пролетария, кому изредка позволяется приобщиться к жизни небожителей:

– Мама родная! Ну и дачка у него! (это после визита к Нагибину. – *Г. А.*). Две машины – на одной жена ездит, на другой он сам. Шофер... Ты знаешь, сколько у него стоит день? Моя месячная зарплата! Библиотека... Киплинг весь, представляешь – Киплинг! (тогда книга вообще была в дефиците, а мастер «малой формы» Киплинг – дефицит в квадрате. – *Г. А.*). Он меня винами угощал, я таких не то что сроду не пробовал – не видел! Думал, стопочку выпью и – ни-ни. Куда там! Короче, крепко захмелел, на остановку автобусную иду, еле ноги переставляю. Вдруг нагоняет меня машина, окликают: «Вы человек Нагибина? Садитесь, подвезу...» – «Еще чего! – разозлился я. – Я сам по себе...»

После посещения мэтра и знакомства со столичной жизнью у Бориса стали особенно часты перепады настроения, которые он пытался по русской (да и по финско-французской, наверное) традиции гасить в вине. Как-то, выпив, он кричал: «Я хочу жить сейчас, сейчас, понимаешь! А не в каком-то светлом будущем... Хочу иметь машину, нормальную квартиру, дачу...»

Но ничего этого Кравченко не светило. У молодого писателя не было элементарных условий для литературной работы: столик в проходной комнате; детишки вьются; жена хозяйничает. А за стеной сосед включил маг на полную громкость: надо ли объяснять, какой толщины стены в наших хрущобах и как тебя трясет от невозможности сосредоточиться...

.....
Впрочем, о своих обидах Борис в рассказах не писал. Душевные излияния типа профилактически-лечебной исповеди были ему чужды. Для него личное было как бы за кадром, хотя, разумеется, и личное перерабатывалось, вовлекалось в процесс, но опосредованно:

«Конец работы пришел как избавление. Димка погнал бульдозер к бочке. Ехать через всю стройку было далеко, и он поехал в объезд по разбитой за день десятками машин дороге. До бочки оставалось рукой подать, когда бульдозер, словно упершись во что-то непреодолимое, остановился, двигатель стал глохнуть. Димка, холодея, выключил скорость, прыгнул в жадно чавкающую грязь, посмотрел и замер. Первая гусеница сошла со всех катков внутрь. «Самое наихреновое дело», – говорили старые механизаторы... Димка залез в кабину, попробовал подать назад, но двигатель глох. Развернуться левой гусеницей он побоялся – было темно... Димка вылез из-под бульдозера, кое-как нашел в грязи булыжник и чуть не плача принялся садить им по вылезшему из гусеницы пальцу... Булыжник был холодный от грязи, скользкий в руке...» («Закон стройки»).

«Закон стройки», закон рабочего братства – отнюдь не тот, что литературного и номенклатурного сообщества, и Борис с горечью

все больше в этом убеждался. Он думал, что писательство – служение, а оказалось – дело (нынче говорят – бизнес), и очень выгодное дело, благодаря которому райская жизнь может наступить не на небе, не «после», что обещали отечественные классики, а на грешной почве, и что важно: здесь и сейчас.

.....

На подсознательном, «голосе крови» и держится нерв рассказов и повестей рабочего Бориса Кравченко и аристократа Юрия Нагибина. Именно это и заставляет нас сопереживать авторам и их героям, несмотря ни на что и вопреки всему.

Теперь-то уже ясно, что у обоих «странный» любовь, хотя и по-разному «странный». Борис, для кого его род, как и у большинства из нас, советских, рабоче-крестьянского происхождения, обрывался на бабушках и дедушках, не испытывал по этому поводу комплексов и экзистенциальных переживаний. И не только из-за «недостаточной развитости» интеллектуально-чувственного аппарата, но скорее потому, что свой род Борис воспринимал не как отдельный род, вроде родов Михалковых, Кончаловских, Оболенских..., а как весь русский народ, в гуще которого молодой писатель жил. Но в том «литературно-киношном мире», куда он попал, это было равносильно тому, как если бы рода не было вовсе. Отсюда обостренная, без полутонов, черно-белая любовь к стране-страдалице, которая для Кравченко прежде всего страна простых людей, работаг. К истине: «Время все-таки выдавит правду жизни из любой лжи...» – эти слова Бориса вынесены на обложку книги «Жил в Кондопоге писатель».

В силу обстоятельств, давленности нуждой, недостаточной энергетики ему так по-настоящему и не удалось раскрыться. Он ушел в мир иной на подступах к человеческой, писательской зрелости, оставив после себя много недосказанного, в том числе и последний вопрос к учителю: «А может, интуиция выше любви – может, она и есть любовь?»

.....

И все же... Если дешифровать по Фрейдю тексты Нагибина, перевести бессознательное (скрытое) в сознательное (открытое), замещая видимое потайным, то получится: *писатель то, что ненавидел, одновременно и любил.*

Он любил-ненавидел своих возлюбленных, мать, отчима, народ, среди которого жил, и также своего неназванного и нежеланного сына из этого черного почвенного народа. Для «нелюбимого и нежеланного» он сделал то, что не всякий родной отец сделает для «любимого и желанного». Дать семя-сперму — кому ума недоставало. Но дать слово-Путь — для этого требуется осознанное желание, длительное усилие и терпение. Я почти уверена, что без помощи Нагибина в том мире, куда попал Кравченко, ему было бы не выжить (ведь даже Мастер не выдержал: «Я впервые попал в мир литературы, ...вспоминаю о нем с ужасом...», — что уж говорить об учениках).

Думаю, что Кравченко помог не столько «кнут» (жизнь и так не баловала Бориса. Ранняя смерть матери, интернат, школа жизни по городам и весям: вальщик леса и шофер на Урале, монтажник на буровых Тюмени, бульдозерист и кочегар в Кондопоге...), сколько внимание и поддержка людей, поверивших в его призвание. Это скромный литературный сотрудник кондопожской «районки» Станислав Уманец, ленинградский писатель Сергей Воронин. И, конечно, Юрий Нагибин.

Судьбе было угодно, чтобы «блудный отец» вернулся к своему сыну — «из-за того чувства ответственности, которое непонятно кто, когда и почему возложил на меня», — писал он в одной из своих книг. Не случись этого возвращения, возможно, мы бы и не держали сегодня в руках книги самобытного русского автора Бориса Кравченко, на одной из которых — «Такая вот история» — посвящение «отцу»: «Юрию Марковичу Нагибину с благодарностью».

(«Север», №11–12, 2006 год)

Галина АКБУЛАНОВА

ОТЦЫ и дети

(история любви-ненависти)

«Отец» – «белая кость», представитель
дворянского рода, известный московский писатель
Юрий Напильный (1820-1904)

«Сыны» — «гиревы кости», генерал русских песчаных аэриров из ныне печально прославившейся горюды Кондополы¹.
Борис Крайченко (1945-1990): В истории их отношении
странно милое, и первое то, что «коты» и «дети» здесь
словно бы поменялись местами: «коты» — ниспровергатель
якобы и все, мизантроп; «сыны» — традиционалист,
хранитель вечных ценностей.

«Сейчас приметно общее движение молодой русской прозы в сторону лаконизма, лапидарности. Б. Кравченко пришел к этому ранее других... Я верю в писательское будущее Бориса Кравченко, человека одаренного, горячего и, что особенно важно в непосильном деле новеллистики, упрямого труженика».

Ю. Нагибин

«Он самобытен до мозга костей, пишет лишь о том, что знает по собственному опыту, своими собственными скупыми, точно поставленными словами. Очень долго, даже мучительно долго работает над каждым крошечным рассказом, добиваясь целомудренной краткости и полного соответствия слов сути изображаемого».

Ю. Нагибин.

«О Борисе Кравченко»





«Борис Кравченко –
прирожденный рассказчик...
Ему покорно подчиняется
большой мир в малом жанре».

С. Воронин.

«Незабытое тепло»

«Помню Бориса Кравченко
по VII Всесоюзному совещанию
молодых писателей... Выступления
его при обсуждениях были точны,
иногда чрезмерно беспощадны и
категоричны в выводах, но вместе
с тем полны уважения к пишущим
собратьям. И проза Кравченко
походит на него – исполнена
уважения к человеку».

В. Крупин.

«Напутное слово»



«Смысл жизни — жить!»

Б. Кравченко. Из дневника

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Бориса Кравченко нет с нами уже много лет, но время не умаляет, а только подчеркивает весомость сделанного им. Поистине – большое видится на расстоянии.

Судьба уготовила ему невиданный творческий взлет, поддержку мэтров российской литературы. Рабочему пареньку из провинциального города пророчили блестящее будущее. Писатель Сергей Воронин предрекал: «Главное есть – оно в том, что Борис Кравченко талантлив, что его заметили, что вышла первая книга, и за ней будут и вторая, и третья, и десятая, потому что ему есть что сказать».

В восьмидесятые годы одна за другой выходят четыре книги Б. Кравченко, в 1987 году он становится членом Союза писателей страны. Признание, успех. Но он по-прежнему много и упорно работает, оттачивая каждое слово, добиваясь максимальной выразительности. «Мне хочется втиснуть в малый объем многое...». «Надумал написать несколько маленьких рассказов о стройке. Рассказы должны быть таинственны, необычны. Главное – найти тональность, первые две-три фразы...». «Надо написать так, как я чувствую, без невольных правил (мною выдуманных) – о чувствах, движениях человека. Написать так, как Толстой не писал. Я замахнулся! Пускай – неодолимое...пускай, но попытаться можно. Для чего и живем!» (из записных книжек Бориса Кравченко).

Природная одаренность, оригинальная, только ему присущая манера письма, поразительная работоспособность и упорство, стремление учиться – у него были все данные, чтобы стать профессиональным писателем. Но жизнь обрывается на полпути в сорок пять лет...

Пятую книгу делали уже без него – «Письмо» вышло посмертно. Спустя десять лет, в 2005 году, был издан сборник «Жил в Кондопоге писатель» – о жизни и творчестве Б. Е. Кравченко. Это итог большой поисково-исследовательской работы сотрудников Кондопожской библиотеки и прежде всего заведующей информационно-библиографическим отделом, кандидата филологических наук Натальи Урванцевой. Собранный богатейший материал позволил в год 60-летия писателя провести Кравченковские чтения, которые стали заметным явлением в культурной жизни Кондопоги. К творчеству земляка вновь появился живой интерес. Особенно удивили и порадовали дети. Школьники двадцать первого века записывались в библиотеках в очередь за книгами Кравченко как за бестселлерами.

Этот читательский бум знаком современникам Бориса. Люди с нетерпением ждали выхода свежих номеров местных газет, в которых регулярно публиковались рассказы Кравченко. И читали их взахлеб! Кондопожане всех возрастов до сих пор вспоминают об этом.

«Открытая дверь» – книга со счастливым седьмым номером. Задумывали ее первоначально как сборник рассказов Бориса Кравченко из периодической печати, не вошедших в его книги. Наталья Урванцева изучила картотеки в Национальной и своей библиотеках, подняла архивы в семье Кравченко, перелистала горы подшивок газет и журналов с начала семидесятых годов. Результат этой кропотливой многомесячной работы – сердцевина книги раздел «Родничок». Испить из него вновь и вновь – будто вернуться в юность, мир светлых ожиданий.

А как оставить за бортом лучшее из того, что создано писателем? И книга прирастает разделом «Время». В нем рассказы из сборников, получившие высокую оценку и доброжелательные отзывы известных писателей, литературоведов, журналистов. Юрий Нагибин, Сергей Воронин, Владимир Крупин – главные люди в творческой

судьбе Бориса Кравченко. Их статьи помещены в разделе «На ветру жизни». И сегодня они актуальны, могут служить ориентиром, напутным словом тем, кто решил посвятить свою жизнь литературному делу, журналистике.

Издание книги – многотрудный процесс. Сотрудники «Новой Кондопоги» помогли в выпуске сборника «Жил в Кондопоге писатель». Мои коллеги – работники газеты «Авангард» сделали все от них зависящее, чтобы появилась эта книга. Борис Кравченко много лет был автором наших газет, и до сих пор мы возвращаемся к его произведениям, от которых веет чистотой и искренностью, огромной любовью к людям.

Первым наставником и редактором Б. Кравченко был кондопожский журналист, поэт Станислав Уманец. В беседе с Мариной Бошаковой (Крузман) на Карельском телевидении в 1995 году он поведал об одной из последних встреч с Борисом уже в больнице, незадолго до смерти. «Он и там оставался писателем – рассказал мне сюжет своего нового рассказа. Живет один человек, любит смотреть в окно. Заметил как-то, что в доме напротив солнце попадает в одну из квартир всего на несколько минут. Он поинтересовался, кто там живет. Ему сказали, что живет больной человек, который очень обижается, что солнца в его квартире практически нет. И тогда герой рассказа приносит домой зеркало, присоединяет его к часовому механизму для того, чтобы отраженный солнечный луч всегда останавливался на этом окне. «Пойдет?» – поинтересовался Борис. «Пойдет, очень хорошо», – ответил я».

Нам повезло: этот солнечный луч заглянул и в наши души. И не отраженным светом, а прямым, живым и трепетным. Навсегда.

Новая книга «Открытая дверь» – как открытое сердце. Входите, не заперто...

Анна ТАРАСЕНКО

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. И. Макаров. Поддержать талант</i>	5
<i>М. В. Тарасов. О Борисе Кравченко</i>	6

ВРЕМЯ

Избранные рассказы

Закон стройки	9
Мирон	13
Стажер	27
Ефремыч	30
Третий день пути	34
Объяснительная	37
Поселковый почтальон	40
Лопушонок	56
Рейс	70
Люба	79
Нежность	81
Время	85
Лекарство для мамы	90
Письмо от матери	92
Доброта	93
Белая ночь	96
Право решать	99
Комендант базара	105
Сморчок	110
Сделка	113
Лицензия	115
Проталинка	117
Счет за одиночество	119
День рождения	122
Полынья	125
Белый сахар	126
У пристани	132
Старик	133

РОДНИЧОК

Из рассказов, опубликованных в периодике

<i>Н. Г. Урванцева. Любовь к человеку</i>	141
Почему тучка плачет	142
Волны	143
Звезда	143
Утес	143
Роса	144
Счастье	144
Чик и Чирик	145
Звезда путеводная	145
Вдвоем	146
Несостоявшаяся уха	146
Деревенский детектив	148
Спор	151
В день рождения	152
Третий в семье	153
Поздний звонок	155
В пути	156
За шишками	158
Фальшь	160
Алый мир	162
Теплинка	164
Девушка	164
Ветви на газонах	165
Счастливый билет	165
Первая телеграмма	166
Красивая	167
Новое пальто	168
В новом микрорайоне	169
Письмо	170
Художник	171
И зажглась звезда!	172

Ложный вызов	173
Чудак	174
Игра	175
Чем богаты	176
Не по адресу	179
На заре, на зореньке	180
Лесные картинки	183
Сосна и ручей	183
Мухомор	183
Ожерелье	183
Птицы	184
Поганки	184
Двое	184
Грустная история	187
«Пятерка» за урок	189
Родничок	192
Женщина	198
Кольцо	200
Мелодия осени	201
Ромашка	202
Пари	203
Девчонки	205
Разговор двоих	207
Кондопожские «космонавты»	207
Верующий	208
Мечта	211
История одного развода	213
Телефонный звонок	214
Забыли	216
Старый приемник	217
Прописные истины	218
Новый день	221
Какой он, Новый год?	222
Четырнадцатый вагон	224

Так не бывает.....	227
Ключик.....	227
Как Кощей Бессмертный в баню ходил	228
Продавец	230
Монолог	230
Занюханный.....	232
Лунная дорожка.....	239

НА ВЕТРУ ЖИЗНИ

Критика, воспоминания

<i>Ю. Нагибин. О Борисе Кравченко</i>	
Предисловие к книге «Забытое тепло» (1981).....	249
<i>С. Воронин. Незабытое тепло (1982)</i>	251
<i>В. Крупин. Напутное слово</i>	
Предисловие к сборнику рассказов Б. Кравченко	
«Такая вот история» (1982).....	256
<i>Ю. Нагибин. Открытое письмо</i>	
Борису Кравченко (1983)	258
<i>Г. Акбулатова. Отцы и дети</i>	
(история любви-ненависти) (2006)	275
<i>А. А. Тарасенко. Вместо послесловия</i>	289

Кравченко Борис Евгеньевич

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

Редактор

А. А. Тарасенко

Консультант

М. В. Тарасов

Составители

А. А. Тарасенко, Н. Г. Урванцева

Художник

Н. В. Трухин

Фото

В. В. Шевцов, В. В. Ермолин

и из домашнего архива семьи Кравченко

Корректоры

А. А. Тарасенко, Л. В. Кочеганова, С. В. Семенова

Набор

М. В. Скоробогатова, Н. В. Вихрова

Подписано в печать 09.11.2007 г.

Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 17,20. Тираж 1000 экз. Заказ № 1221.

Издательство «Verso». 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а.

Отпечатано в типографии «Verso» КРОО ФТИ.